

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

К ЧИТАТЕЛЮ

Еще не так давно (а может быть, даже и совсем не «давно») мы не только с снисходительностью, но даже с крайним равнодушием взирали на гражданские и нравственные убеждения людей, с которыми нам приходилось идти бок о бок в обществе. Нам сдавалось, что убеждения составляют нечто постороннее, сложившееся силою внешних обстоятельств, силою фатализма, и отнюдь не причастное личной жизненной работе каждого из нас. Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее. Если требовалось определить признаки известного явления, сделать оценку известного поступка, мы, без излишних хлопот, посылали эту покладистую совесть в тот темный архив, в котором хранилась попорченная крысами и побитая моллю мудрость веков, и без труда отыскивали на пожелтевших столбцах ее все, что было нужно для удовлетворения неприхотливых наших потреб.

Там, в этом мрачном хранилище наших жизненных воззрений, лежали всегда готовые к нашим услугам связки старых дел, надписи на которых гласили: убеждения дворянские, убеждения мещанские, убеждения холопские. Кодекс мудрости, общежития и приличий, кодекс условной нравственности, условной истины и условной справедливости был весь тут налицо: стоило только заглянуть в него, и мы наверно знали, как следует поступить нам в данном случае, как следует вести себя вообще. Таким образом, мы узнавали, что дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и т. п., и не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку Аришку на борзого щенка; что крестьянину полагалось неприличным брить бороду, пить чай и ходить в сапогах, и не полагалось неприличным пропонттировать сотню верст пешком с письмом от Матрены Ивановны к Авдотье Васильевне, в котором Матрена Ивановна усерднейше поздравляет свою приятельницу с днем ангела и извещает, что она, слава богу, здорова.

В эти недавние, счастливые времена мы знакомились друг с другом, заводили дружеские связи, женились и посягали по соображениям, совершенно не имеющим никакого дела до убеждений. То есть, коли хотите, они и были, эти убеждения, но то были убеждения затылка, убеждения брюшной полости, но отнюдь не убеждения мысли. Тот, например, кто пил водку зорную и закусывал маринованным грибочком, тот улыбался и подмигивал, и вообще чувствовал себя особенно радостно лишь при виде человека, который тоже предпочитал зорную всяким другим настойкам и тоже закусывал грибочком. Между этими двумя индивидуумами была живая связь, существовала возможность обмена мыслей и чувств. Тот, кто играл в ералаш по три копейки, подыскивал себе в общество таких именно людей, которые также играли в ералаш и также по три копейки, и на приверженцев преферанса смотрел хотя и не неприязненно, но и без сердечного участия. И все убеждения заключались тут в том, что один играл рискованно, другой подсиристо, один от туза-короля сам-шест начинал ходить с маленькой, другой же прямо лупил с туза и короля.

Даже в том безвестном, но крепко сплоченном духовными узами меньшинстве людей мыслящих, на котором с любовью отдыхает взор исследователя явлений нашей общественной жизни, в тех немногочисленных кружках, которые в самые безотраднейшие эпохи истории, несмотря на существующую окрест слякоть и темень, все-таки прорываются там и сям, как зеленеющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего, в тех кружках, где необходимость нравственного убеждения, как внутреннего смысла всей жизни, признается за бесспорную истину, где члены относятся друг к другу, с точки зрения убеждений, с крайней строгостью и взыскательностью, – даже там существовала какая-то патриархальная снисходительность в суждениях о лицах, стоящих вне жизни и условий кружка и пользующихся каким-нибудь значением на поприще общественной деятельности.

Говоря об NN, мы не давали себе труда исследовать, какого разряда принцип вносит в общество деятельность этого человека, но справлялись единственно о том, добрый ли он малый или злец. И если он оказывался добрым, то мы приходили в восторг, а если еще при этом он пускал нам в нос фразу, вроде того, что «нельзя, господа, не сочувствовать тому честному направлению, которое характеризует деятельность нынешнего молодого поколения», то мы готовы были вылизать его всего, от головы до пяток.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Следствием такой патриархальной простоты нравов было то, что многие люди, очень нелепые, пошли чуть не за гениев, многие речи, очень глупые, стали чуть не на ряду с изречениями мудрости. Попробовал бы кто-нибудь из «наших» отпустить такую штуку, что «нельзя, дескать, не сочувствовать» и т. д. – всякий из zde-сидящих зажал бы ему уста, сказавши: «Охота вам, почтеннейший друг, предаваться такому дремучему празднословию!» – но так как этим празднословием занялся NN, существо в некотором смысле неразумное, существо, с трудом выговаривающее папа и мама, то в его устах самый позыв к праздноловию, более или менее человеческому, более или менее не изукрашенному обычными ингредиентами нашего древнего красноречия, уже казался поступком, который мы спешили запечатлеть в наших благодарных умах, где мы тщательно собирали лепестки для будущих венков героям наших сердечных вождений.

И мы, члены этого строгого и взыскательного, члены этого поистине нравственного меньшинства, до такой степени искренно восторгались убогими нашими героями, что потребность лизаться упорно засела в нас даже по сю пору, когда, по-видимому, нет уже и побудительных причин ни для лизания, ни для телячьих восторгов.

Ошибка горькая и обильная последствиями самого тлетворного свойства, ибо она отнимала у наших убеждений ту бесповоротную крепость и силу, без которой немислимо никакое деятельное влияние на общество, ибо она была причиной бесчисленных стачек с неправдою, безобразием ходячей общественной нравственности, ибо она успокаивала нас в той пассивной роли наблюдателей-сводников, которую мы сами себе навязали.

Но вместе с тем ошибка и не необъяснимая. В самом деле, к чему прилепиться, как распознать истину от лжи, при существовании всеобщей, почти эпидемической путаницы понятий и представлений? И как не примкнуть, например, к NN, который, по крайней мере, умеет конфузиться и краснеть, тогда как рядом с ним какой-нибудь MM нахально несет свою плоскодонную морду, безнаказанно ставя ее поперек всему благородно мыслящему? Мысль человеческая с трудом выносит одиночество, а чувство и вовсе не терпит его. Это свойство человеческой природы, эта общительность человека сообщают нечто роковое всей его деятельности, вынуждая его, независимо от него самого, признавать за добро то, что в сущности представляет собой лишь меньшую сумму зла. Сквозник-Дмухановский не только во сне, но и наяву видел кругом себя только свиные рыла: что мудреного, что он и Хлестакова признал за человека? Наши публицисты так долго видели то же самое, что видел и вышеупомянутый градоначальник: что мудреного, что в настоящее время они с остервенением приглашают сограждан лобзать даже в таких случаях, когда, по совести, следовало бы приглашать их плевать.

Скажут, быть может: «Зачем же члены этого добродетельного, этого взыскательного меньшинства не поищут образцов гражданской доблести среди самих себя, зачем они вторгаются в ту сферу, где властвуют свиные рыла?» Ответ на это простой: затем, что мысль человеческая никак не может признать кружка за мир. Как бы ни были для нас милы и симпатичны люди кружка, как бы хорошо ни чувствовали мы себя среди их, все-таки мы не можем совершенно обрезать те нити, которые привязывают нас к миру, все-таки мы сознаем, что дело, настоящее дело, не в кружке, а вне его, и именно в той темной области, в которой живут и действуют Сквозники-Дмухановские.

Но в особенности мудрено было не ошибиться в выборе героев в последнее время. Россияне так изолгались в какие-нибудь пять лет времени, что решительно ничего нельзя понять в этой всеобщей хлестаковщине. В публичных местах нет отбоя от либералов всевозможных шерстей, и только слишком чуткое и привычное ухо за шумихою пустозвонных фраз может подметить старинную заскорузлость воззрений и какое-то лукавое, чуть сдерживаемое приурочивание вопросов общих, исторических к пошленьким интересам скотного двора своей собственной жизни.

Едете ли вы, например, по железной дороге – присмотритесь, сделайте милость, к тому, что крутом вас делается, прислушайтесь к тому, что говорится в вагонах. И речи, и морды – все, кажется, протестует! И протестует в каком-то плюхо-просящем, минорном тоне, как будто так и сует всем и каждому и в нос, и в рот, и в глаза, что я, дескать, сам по себе ничего, я червь, я слякоть, я клоп постельный, а вот отечество-то за что страдает!

Вы входите в вагон и садитесь на избранное вами место; перед вами располагается почтенный старец, украшенный усами и словно чувствующий себя неловко в новом партикулярном платье, которое на нем надето. Идет общая суматоха, всегда

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сопряженная с первоначальным прилаживанием и усаживанием; какая-то дама, вся бледная и расстроенная, чуть-чуть не каждому пассажиру готова пожаловаться, что ее Grégoire опять-таки потерял свой mouchoir de poche; [1] какой-то господин с крестом на шее застенчиво уверяет своего знакомого, что он вообще орденов не носит, но в дорогу всегда надевает крест, потому что у нас без этого нельзя. Проходят еще несколько почтенных старцев, также с усами и также в новых партикулярных платьях.

– Как, и вы тоже! – восклицает ваш сосед, ловя за руку одного из проходящих усачей.

– На травяное продовольствие! – отвечает проходящий и, уныло усмехнувшись, отправляется далее.

Но вот поезд трогается. Быстро пролетает перед глазами пассажиров всякая чушь и гиль: паршивые лесочки, чахлые лужочки, чуть дышащие ручеечки. Соседа вашего заметно начинает коробить.

– Ну, посмотрите! что ж это за пейзаж такой! – обращается он к вам с каким-то желчным озлоблением.

Вслушайтесь в его голос, и вы без труда поймете, что в этом голосе есть трещина и что в этой трещине засела кровная обида.

– Ну, на кой черт поезд стоит здесь десять минут! – ораторствует усач на одной из промежуточных станций, – за границей на обед только пять минут дают; нет, видно, далеко еще нам до них!

И вплоть до самых Ушаков не умолкают бунтовские речи усатого соседа, и только великолепная вилла либерального fermier [2] Василия Александровича Кокорева на минуту смягчит его непреклонное сердце и заставит раздвинуться густо разросшиеся брови.

Для вас этот усач – явление совершенно новое. Обращаясь к воспоминаниям прожитых лет, вы отыскиваете в них образцы усачей совершенно особого рода, усачей с клубами пены у рта, усачей не внимающих и не рассуждающих, усачей, снабженных волчьей пастью и употребляющих лисий хвост лишь в виду материальной, грубой силы, которая одна имела привилегию смирять их бешенство. И вот сердце ваше начинает мало-помалу мякнуть и расползаться; вы с любопытством и даже с приятным изумлением прислушиваетесь к бунтовским речам соседа и находите, что они... тово... так себе... ничего! Вы не замечаете их нелепости и пустоты, вы оставляете без исследования даже ту трещину в голосе, о которой говорено выше: до того вас поражает новость положения и неожиданность встречи с старцем, который чем-то недоволен, который почему-то ругается, но ругается без прежних раскатистых переливов, в которых так и слышалось нахальство и сознание ничем не сокрушимой силы.

«Эге! – думаете вы, – вот оно что! вот даже в какие каменоломни пустили свои корни либеральные тенденции века!»

И вследствие этого рассуждения начинаете смотреть на вашего соседа если не с любовью, то непременно с отеческою снисходительностью. Смею, однако ж, уверить вас, что вы горько ошибаетесь, и что каменоломни все-таки остаются каменоломнями, несмотря ни на какие тенденции века.

Представьте себе, что в то самое время, как вы услаждаете слух либеральными речами соседа, в вагоне, сверх чаяния, отыскивается такой шутник, прозорливый знаток надтреснутых голосов и сердец человеческих, который находит для себя забавным высвистать мнимого либерала. Вот он полегоньку подкрадывается к нему, вот он шепчет ему на ухо:

– А знаете ли, Иван Антоныч, сейчас получено известие, что князь Петр Мартыныч предлагает вам занять место начальника таможенного округа?

Господи! каким пиковым вальсом вывертывается вдруг Иван Антоныч из своего либерализма! какие муравы, какие водопады внезапно начинают вертеться в глазах его! И не придет ему даже в голову, что полученное известие – пуф, что в вагоне, и в особенности «сейчас», невозможно было даже получить его!

– Вот и нас, стариков, вспомнили! вот и нас, старых слуг, не забыли! – восклицает он с каким-то детским смехом, внезапно переходя из либерализма ругательного в либерализм хвалительный.

Положительно заверяю вас, что если бы был простор и поднес ему Василий Александрыч рюмочку, он охотно пустился бы вприсядку.

А в другом углу вагона завязывается между тем иного сорта либеральный разговор. Женоподобный, укутанный пледами господин, как дважды два – четыре, доказывает сидящему с ним рядом путешественнику-французу, что мы отупели и что причину этого отупения следует искать в непомерном преобладании бюрократии и в несносной страсти к регламентации.

– Vous croyez donc que si l'on donnait plus d'essor à la libre initiative des roméschiks?..[3] – спрашивает француз, который желает показать, что он отлично-хорошо умеет все понимать à demi-mot.[4]

– Voilà![5] – отвечает женоподобный господин.

– Monsieur est donc pour le système du self-government?[6] – продолжает француз.

– Voilà, – отвечает женоподобный господин и горделиво оглядывает нищих духом, сидящих в отделении вагона.

А нищие духом разевают рты от умиления и начинают подозревать, что между ними сидит, по малой мере, сам знаменитый публицист и защитник свободы Владимир Ржевский, путешествующий инкогнито в скромном образе господина Юматова (Юпитер в образе лебедя).

Вы, конечно, не разделяете мнения нищих духом; быть может, вы даже находите, что идея о помещичьем self-government[7] вовсе не так смела и нова, как кажется с первого взгляда, ибо она достаточно проявила свои достоинства в продолжение нескольких столетий. Но благодущие, при пособии сравнительного метода и некоторых исторических воспоминаний, опять-таки берет верх над всеми соображениями. Вы не слышали до сих пор, чтоб слово «self-government» произносилось где-нибудь вне вашего кружка; и вдруг оно произносится громогласно, и где же? в вагоне! и кем же? каким-то золотушным отпрыском наших древних псарей-богатырей! Вы готовы вообразить себя в Икарии, где беспечально ходят нагие люди и непринужденно выбрасывают из себя всякий вздор, который взбредет им в голову; вы отнюдь не хотите верить, что находитесь в любезном отечестве, где ходят все люди одетые и где законами общежития дозволяется изрекать только умные речи. Вас это трогает; в порыве умиления вы не замечаете, что, в сущности, вас поражает здесь не дело, а только звук; что точно так же смякло бы ваше сердце, если бы кто-нибудь из этих посторонних для вас людей вдруг произнес имя родной Заманиловки, где протекло ваше безмятежное детство, и напомнил вам старую няню Ионовну, тешившую вас сказочками про Бабу-ягу-костяную-ногу, про козляточек-маляточек... Что за славная, что за благодатная картина встала бы вдруг в душе вашей! Каким теплом, какою яркостью лучей и красок охватило бы все ваше существо! И с какою любовью взглянули бы вы на этого незнакомца, который, сам того не ведая, ударил по самой чувствительной струне вашего сердца, который заставил вас еще и еще раз произнести: «О моя юность! о моя свежесть!»

Милостивый государь! слово, столь глубоко вас тронувшее, имеет в настоящем случае именно то самое значение, какое имело бы нечаянное упоминание родной Заманиловки. Вся разница заключается только в том, что чувствительность, проявляемая по поводу Заманиловки, весьма невинна и ни к чему не обязывает, а чувствительность, проявляемая по поводу произнесенного в упор хвастливого словечка, весьма непохвальна, ибо, кроме неопрятности, производимой глазами и носом, ведет к затмению и страшной путанице.

Я знаю, вы утешаете себя мыслью, что еще немножко, еще одну капельку – и золотушный юноша сам собой станет на ту прямую дорогу, которая так складно рисуется в вашем воображении. Ан нет, он гораздо дальше от этой прямой дороги, нежели его предки, псари-богатыри. Те просто ломили себе вперед, как ломит вперед Михайло Иваныч Топтыгин, пролагая пути сообщения сквозь чащу лесную, а золотушный юноша вперед не ломит, столетних сосен не валит, а злобствует тихим

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru манером, как прилично человеку благовоспитанному, то есть показывая кукиш в кармане. Тех можно было попросту гнуть в бараний рог, тех можно было взять за плечи и поставить на прямую дорогу, если они добровольно на нее не становились, а с золотушным юношей так поступить нельзя. Он уж понахватался кой-чего, он уж развратил свою мысль десятком-двумя забористого свойства словечек; он уже покрылся известного рода слизью, по милости которой схватить его без перчаток дело весьма затруднительное и щекотливое.

Нет, вы поразмыслите хорошенько да подивитесь природе-матери, которая допускает, что в одной и той же голове помещаются рядом такие понятия, как self-government и la libre initiative des poméschiks![8]

Но вот и в третьем углу засели либералы, и в третьем углу ведется живая и многозначительная беседа.

– А что вы скажете о нашей дорогой новорожденной? ведь просто, батюшка, сердце не нарадуется! – говорит очень чистенький, с виду весьма похожий на мышиноного жеребчика старичок, бойко поглядывая по сторонам и как бы заявляя всем и каждому: «Не смотрите, дескать, что наружность у нас тихонькая, и мы тоже не прочь войти в задор... Как же-с!»

Вы знаете, что на языке наших мышинных жеребчиков под именем «дорогой новорожденной» следует разуместь гласность и что гласность в настоящее время составляет ту милую болячку сердца, о которой все говорят дрожащими от радостного волнения голосами, но вместе с тем заметно перекосивши рыло на сторону.

– Удивительно! – отвечает другой такой же бодренький, румянький старичок, – мы вчера читаем с Петром Иванычем да только глаза себе протираем!

– А помните ли, прежде-то! Получишь, бывало, книжку журнала: либо тебе «труфель» подносят, либо «Двумя словами о происхождении славян» потчуют... Просто, можно сказать, засоряющая зрение литература была!

– Недавно я, Степан Сергеич, статью господина Юматова в одной газете прочитал, – просто так-таки и говорит: облагородить, говорит, все это нужно, джентри английскую завести нужно; силу, говорит, силу нам дайте да гордости маленько прибавьте, а мы уж проберем сзади прибор любезному отечеству!

– Неужто так и написано?

– Именно так, Степан Сергеич! и даже как бы вы думали, даже не в Петербурге и не в Москве писано, а так в каком-то Сердобске – уму непостижимо!

– Из рыбарей...

– Именно из рыбарей-с! и что же-с? книжки тоже почитывают... Гнейста там... Так-таки прямо и говорит: я, говорит, Гнейста читал; жаль, говорит, что не все его прочитали...

– Н-да; а ведь главное, что утешительно, Федор Алексеич, это то, что ведь всякую штуку на свой манер обрабатывают!

– Да уж насчет чего другого, а насчет смётки это именно, что против русского другому не выйти. Возьмем, например, хоть простого плотника...

Начинаются рассказы о плотниках, строящих самоучкой великолепные дворцы, перекидывающих по глазомеру диковинные мосты и проч. Известно, что анекдоты подобного рода еще в великом ходу в обширной Российской империи и что они составляют тот незабываемый фундамент, на котором мышинные жеребчики создают славу и надежды России.

– Утешительно это, Федор Алексеич! как себе хотите, а утешительно!

– Как же-с! как же-с! вот и господин Юматов: Гнейст-то Гнейстом, однако и об советниках губернских правлений упомянул: это, говорит, не джентри, потому что без сапог к нам приходят, а вот предводители и заседатели – те джентри, потому что в сапогах ходят, хоть и нет у них ни силы, ни гордости...

– Смекалка, значит, есть: про чужое читаем, а свое тоже примечаем!

«Добрые люди! – рассуждаете вы мысленно, – и до ваших мозгов коснулся луч света! и ваши сердца растворились жаждою гласности и свободы! Хоть уморительно, хоть через пень-колоду, а все же вы рассуждаете, все же в головах ваших копошится какое-то вожделение! Да, и это уж шаг вперед!» Но, в сущности, этого шага вперед нет, и вы очень неосновательно думаете, что в старых, местами продырявленных мехах может заключаться новое вино. Я думаю даже, что добродетельное ваше рассуждение без ущерба для истины может быть заменено следующим: «Глупые люди! и до ваших мозгов коснулась эпидемия болтовни! и вы получили способность извергать из себя целые потоки слов, лишившихся, по милости вашей, смысла и значения!» и проч. и проч. На мой взгляд, вы были бы правы. Подумайте, что такое, в самом деле, эти люди, на которых вы взираете с такою отеческою заботливостью! Ведь это те самые, которые еще вчера хихикали и радовались, видя, как красноречий буй-тур Рыков трескает по зубам благоговейно взирающих на него обывателей («строгонек, но часть свою в порядке держит!» – говорили они); это те самые, которые еще вчера с умилением и неизреченною душевною сладостью беседовали о том, как известный магик и чревовещатель Удар-Ерыгин уследил что-то такое, грозящее общественному спокойствию (то самое, что они теперь так сладостно приветствуют под именем давно желанного новористинным насадителем конфузаожденного), как он все это искусно накрыл, раздул по мере сил своих и преподнес кому следует; ведь это те самые, которые и завтра будут кланяться какому угодно тельцу, и даже не из выгод, а только потому, что «не нами заведено, не нами и кончится». Ведь это не люди, а дрянные людишки, у которых можно позаимствоваться огнем для сигары, но в смысл речей которых вслушиваться не только бесполезно, но даже вредно, по той простой причине, что занятие подобного рода вливает в существование человека отраву праздности и чревоугодничества.

Я предполагаю, что весь этот умственный маскарад, вся эта путаница понятий и представлений происходит оттого, что мы вступаем, так сказать, в эпоху конфуза. Я не могу сообщить положительных сведений насчет того, каким образом и откуда занесено к нам это новое в русской жизни явление. Известно, что мы прежде не только совсем никогда не конфузились, но, напротив того, с самою любезною откровенностью приступали ко всякого рода задачам. Знаменитая русская поговорка: «тяп да ляп – и карабь» столь долго служила основанием нашей общественной и политической деятельности, что нынешний конфуз составляет явление несомненно новое и невольно обращающее на себя внимание. Вот все, что можно сказать положительного насчет происхождения конфуза; затем, что касается до деталей, то, несмотря на всю новизну этого явления, несмотря на то что оно пришло к нам, так сказать, на наших же глазах, история его, благодаря запутанности сопровождавших ее обстоятельств, уже представляется весьма темною. Мне, например, всегда казалось, что истинным насадителем конфуза был почтенный наш писатель И. С. Тургенев, который еще в сороковых годах предрекал его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровского уезда, но, с другой стороны, некоторые достойные полного вероятия помещики положительно и даже под оболочкою тайны (известно, что секретные сведения всегда вернее несекретных) удостоверяют, что первый, бросивший семена стыдливости в сердца россиян, был император французов Людовик-Наполеон. Предоставляю читателю рассудить между этими двумя мнениями; я же нахожу для себя удобнее обратиться к самому явлению. Откуда бы ни происходил наш конфуз, но несомненно, что мы сконфузились и оплошали почти поголовно. Конфуз проник всюду; конфуз в сердцах помещиков, конфуз в соображениях почтенного купечества, конфуз в литературе и журналистике, конфуз в умах администраторов. Последние сконфузились сугубо – и за себя, и за других. Они почему-то сообразили, что все бремя эпохи конфуза лежит на их плечах и что, следовательно, им предстоит учетверить свою собственную конфузливость, дабы укрепить корни этого невиданного у нас растения в сердцах прочих людей. Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов, и оба из кожи лезут, чтоб предьявить кому следует, что они ничего, что они и сами способны сконфузиться настолько, насколько начальство прикажет.

Величественный Зубатов! ты, который до сих пор представлял собой римлянина Катона, расхаживающего в вицмундире по каменистому полю глуповской администрации! ты, который все подчищал и подмывал, в твердом уповании, что смоешь, наконец, самую жизнь и будешь себе гулять один-одинешенек по травке-муравке среди животных и птиц домашних! Что с тобой сделалось? Куда

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
девался твой «delenda Carthago», [9] переведенный по-русски: «в бараний рог согну»?

Боже! и он застыдился, и вследствие того помолодел и помилел! Все подпрыгивает, все «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха», не то что прежде: «го-го-го» да «ге-ге-ге»! Все провиниться боится, все циркуляры пишет: «Бери, дескать, пример с меня, с меня, ангела кротости! взяток ни-ни! в зубы – ниже-ни! а с откупщиком амуриться – сохрани тебя боже!» О крутых мерах исполнительности и думать забыл. Когда ему докладывают, что такой-то исправник не соскочил с колокольни, не утонул в стакане воды, не пролез сквозь ушко иглиное, он не ржет, как озаренный: «Под суд! под суд его!» – а кротко замечает: «Ах, любезный! надо еще справиться: может быть, у него свои резоны есть!» Когда ему объясняют, что такой-то Замухрышкин целый уезд грабит, он предварительно полюбопытствует, сколько у него детей, и, получивши сведение, что шестеро, молвит: «Oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien des crimes!» [10] – причем непременно погладит по головке своего Колю.

За это все Замухрышкины в один голос величают его ангелом, а корреспонденты «Московских ведомостей» «нашим справедливым и благодушным начальником». Просители тоже от него без ума. Всем-то пообещает, всех-то утешит, а если и откажет кому, то так откажет, что от удовольствия растеряться можно. Только и слышишь: «Ах, как мне жаль!» да «Зачем вы не пожаловали ко мне раньше!» Стон стоит в Глупове по случаю учтвого обращения.

– И не видывали мы, сударь! – говорит обыватель Анемподист Федотыч, – и не видывали такого! Бывало, начальник-то позовет: «А ну-те, говорит, чистопсовые! а знаете ли, говорит, что вас всех прав состояния лишить велено?» Так мы, сударь, так, бывало, все ходуном и ходим перед ним! А этот просто даже и на начальника не похож! на стул это сажает, папироску подает: «Расскажите, говорит, какая у вас статистика!»

Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатов! ты ли это? Если это ты, то помни, что конфуз входит пудами, а выходит золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакие человеческие усилия не в силах возвратить к прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что, если вновь когда-нибудь приказано будет не конфузиться? Что, если вновь приказано будет по десяти раз в день утопать в стакане воды и по сту раз соскакивать с колокольни? Дрожать за тебя или нет? Воспрянешь ты, или... но нет, меня объемлет ужас при одном предположении... нет, я не сказал, я даже не предполагал ничего подобного!

И ты, дитя моего сердца, ты, любострастный магик и чревовещатель Удар-Ерыгин! Ты, подсмотревший у Апфельбаума (даже не у Германа) несколько дешевых фокусов и удивлявший ими добродушных соотечественников во время артистических путешествий твоих по глуповским палестинам, – и ты повесил голову, и ты о чем-то задумался! Я, который вижу насквозь твою душу, я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инстинкты чревоугодничества с требованиями конфуза. Я знаю, что ты увидел грош в кармане твоего ближнего и что тебя терзает мысль, каким бы образом так устроить, чтоб выкрасть его. Как сделать, чтоб добрые люди не догадались, что ты занимаешься воровским ремеслом? Как устроить, чтоб добрые люди, даже и догадавшись, все-таки продолжали относиться к тебе, как к человеку честному? И вот ты замышляешь какой-то новый, неслыханный фокус, но – увы! кроме глотания ножей, ничего изобрести не можешь, потому что и в этом искусстве ты не пошел дальше Апфельбаума, и в этом искусстве ты еще не научился давать представления без помощи стола, накрытого сукном, под которым сидит душка Разбитной, сей нелicensed холоп и блюдолиз всех Чебылкиных, Зубатовых и Удар-Ерыгиных, и подает тебе, по востребованию, жареных голубей.

Да; усилия твои тщетны, ибо зеленое сукно, которым накрыт был стол, велено сдернуть. Разбитного застали врасплох под столом в то самое время, как он, весь потный от духоты, совсем было состряпал в шляпе яичницу. Двугривенный, бывший у тебя в руках, так и остался двугривенным и не превратился ни в апельсин, ни в полуимпериял... Тебе не воспрещается делать фокусы, но делай их без сукна, глотай шпаги начистоту!

А так как ты еще недостаточно искусен для этого, так как ты трус и боишься подавиться, то очевидно, что грош, виденный тобой в кармане ближнего, там и останется. Да, ты сам сознаешь, что останется, ты до такой степени сознаешь это, что даже скрепя сердце решаешься бросить мысль о благоприобретении его.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Признаюсь тебе, меня очень радует такое самоотвержение с твоей стороны; я с любопытством наблюдаю, как ты приучаешься к твоей новой роли, как ты по старой привычке все еще лебезишь около чужих карманов, как ты похотливо расширяешь ноздри, заглядывая в них, и как в то же время не смеешь простереть подергиваемую воровской судорогой руку, чтоб стяжать чужое достояние. Друг! ты до такой степени мило все это делаешь, что добросердечные глуповцы серьезно начинают беспокоиться, уж не хочешь ли ты подарить им самим по двугривенному из твоей собственной «неистошмой» шкатулки (помнишь ли фокус, который показывал ты в Крутогорске, под названием: «Неистошмая шкатулка, или Крутогорские откупщики – основатели женских гимназий»?). Истинно говорю тебе, что это самый отчаянный фокус из всех, которые ты когда-либо показывал в течение твоей многотрудной жизни, и что еще долго после тебя твои многочисленные последователи будут показывать его почтеннейшей публике, под названием: «Укрощенная страсть к мошенничеству, или Конфуз – руководитель администрации».

Но если Зубатовы и Удар-Ерыгины восчувствовали и помилели, то каким образом должен действовать сам господин Конфузов? Очевидно, он должен источать бесконечные источники слез умиления при виде тех задатков самостоятельности, которые успели проявить в последнее время россияне; очевидно, он должен восторженно размакать и с каждой минутой все более и более обращаться в сырость под знойными лучами гласности!

Поборники конфуза – а их не мало, и большая часть принадлежит к тому достойному меньшинству, о котором говорено выше, – удостоверяют, что преобладание в жизни этого элемента все-таки лучше, нежели господство нахальства и грубой физической силы. Когда в отношении к жизни, говорят они, примешивается некоторое чувство стыдливости, то само собой разумеется, что и самое развитие жизни происходит беспрепятственнее, нежели в то время, когда от неуклюжих прикосновений к ней остаются лишь следы грязных медвежьих лап.

В этом силлогизме есть, однако ж, страшная недомолвка. Во-первых, мы принимаем на веру, что наш конфуз есть конфуз действительный, конфуз разумный, что в нем заключается сознательная попытка к освобождению жизни от одуряющего попечительства различных неприятных ее развитию начал. Но мы ошибаемся. Наш конфуз – временный; наш конфуз, в переводе на русский язык, означает неумение. Мы конфузимся, так сказать, скрепя сердце; мы конфузимся и в то же время помышляем: «Ах, как бы я тебя жамкнул, кабы только умел!» От этого в нашем конфузе нет ни последовательности, ни добросовестности; завтра же, если мы «изыщем средства», мы жамкнем, и жамкнем с тем ужасающим прожорством, с каким принимается за сытный обед человек, много дней удовлетворявший свой аппетит одними черными сухарями. Во-вторых, конфуз, проводя, в сущности, те же принципы, которые проводило и древнее нахальство, дает им более мягкие формы, и при помощи красивой внешности совершенно заслоняет от глаз посторонних наблюдателей ничтожество и даже гнусность своего содержания. Силе можно ответить силою же; глупости и пустословию отвечать нечем. Отношения делаются натянутыми и безнравственными. Чувствуешь, что жизненные явления мельчают, что и умы и сердца изолгались до крайности, что в воздухе словно дым столбом стоит от вранья, сознаешь, что между либеральным враньем и либеральным делом лежит целая пропасть, чувствуешь и сознаешь все это и за всем тем, как бы колдовством каким, приходишь к оправданию вранья, приходишь к убеждению, что это вранье есть истина минуты, придумываешь какую-то «переходную» эпоху, в которую будто бы дозволяется безнаказанно нести чушь и на которую, без зазрения совести, сваливаешь всякую современную нечистоту, всякое современное безобразие!..

Согласитесь: ну не страшная ли это недомолвка, и не лучше ли, не безопаснее ли для самого дела к лжи относиться как к лжи, а не придумывать различных оправдательных ухищрений, которые могут только продлить зловерное торжество ее?

Итак, противодействовать вранью, обличать его несостоятельность отнюдь еще не значит противодействовать стремлениям к самостоятельности и независимости действий. Если и у действительного либерализма есть свои характеристические оттенки, делающие проявления его крайне разнообразными и имеющими между собой мало общих точек соприкосновения, то тем большая неизмеримость расстояния легла между либерализмом, рассматриваемым как результат целой жизненной работы, и либерализмом, не уходящим вглубь далее окончательностей языка. Если, чтоб действовать сознательно в том или другом смысле, необходимо прежде всего опознаться в многообразии убеждений, необходимо уяснить себе истинное их значение, то тем более необходимо уметь различать убеждения искренние от

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru убеждений, вызванных прихотью минуты и большим или меньшим желудочным засорением. Скажу более: чем сильнее и настоятельнее сказывается уму и сердцу чувство уважения к первым, тем живее сознается в то же время необходимость отрицания последних. Да, именно отрицания, упорного, беспощадного отрицания, потому что эти бессмысленные фиоритуры либерализма, которыми, как древле кашею, наполнены в настоящее время рты россиян, мешают расслушать простой и честный мотив его.

Заглянем, например, в нашу текущую литературу, – что за зрелище представляется очам нашим! Увы! это уж не то доброе старое время, когда ратовали исключительно наши кондовые, наши цеховые мастера! Увы! даже Корытниковы, даже «Проезжие» и «Прохожие», несмотря на недавность их появления, – и те перестают производить впечатление и составляют уже скромное меньшинство! Увы! литературная нива обмирщилась, литературная нива сделалась простым выгоном, на котором властительно выступают Ноздревы, Черто-пхановы и Пеночкины! Ноздрев! ты ли это, топ cher?[11] Если это ты, то почему ты смотришь таким Лафайетом? Или у нас нынче масленица, а об масленице тебе неловко оставаться самим собою? Или, по местным обстоятельствам, тебе выгоднее быть Лафайетом, нежели прежним сорвиголовым Ноздревым?

Каждый час, каждая минута вызывают новые требования, ведут за собой новых деятелей. Еще вчера Глупов был полон хвалебных гимнов, а нынче он уж грубит, он почти ругается! Давно ли кн. Черкасский торжественно защищал розгу, а нынче... розга, где ты? По крайней мере, Ноздрев не только отвергает пользу ее, но даже стыдится и краснеет при одном воспоминании, что это орудие составляло когда-то одно из самых существенных определений глуповской гражданственности.

Все «рыбари», которые доселе занимались сокрушением зубов и челюстей человеческих, покинули это занятие из опасения получить сдачи. Но занятие было выгодно, ибо, с помощью его, приобреталось право преобладания в так называемом обществе. Без него чувствовалась тоска и одиночество; без него земля исчезала под ногами, права попирались и видимо истаивали. Как быть? Где, в каком ином принципе искать основания к сохранению драгоценного права? Рыбари недоумевали, потому что до сих пор они спокойно отдыхали себе под тенью своих смоковниц (так называли они навозные кучи своих скотных дворов), и даже снов никаких не видели. К счастью, на выручку подоспел граф Монталамбер, который, в русском извлечении, победоносным образом доказал, что унывать и недоумевать не следует. «Воззрите на Англию, – сказал он нашим рыбарям, – ведь и вы те же лорды, и вы та же джентри, только без гордости и силы: старайтесь же добыть и то и другое, и все пойдет как по маслу!» Шутка сказать, однако ж: добыть гордость и силу! Где их возьмешь? Ведь их не добудешь ни бранью ямскою, ни зубосокрушением! Ведь гордость и сила составляют продукт истории, а где она? Но рыбари, раз решившись, не задумались и над этими вопросами. «Черт с ней, с историей! – сказали они друг другу, – обходились же без нее наши отцы – коллежские ассессоры, наши отцы – татарские выходцы, наши отцы-эмигранты; обойдемся как-нибудь и мы!» И, не откладывая дела в долгий ящик, отчасти пустили шип по-змеиному, отчасти защелкали по-соловьиному.

И вот отчего, в настоящую минуту, нет того болота на всем пространстве глуповских палестин, в котором не слышалось бы щелканья соловья-либерала.

Увлечения мысли, равно как и движения страсти, действуют на людей весьма разнообразно. Одних доводят они до отчаяния и крайнего упадка нравственных сил – картина скорбная, но не внушающая, однако ж, ни отвращения, ни даже непрошеного сожаления к пациенту, а, напротив того, почти всегда возбуждающая искреннюю симпатию к нему. Ибо в сегодняшнем истощении еще чувствуется вчерашняя сила, ибо и самое разрушение имеет здесь горький и полный мучительных указаний смысл. В других борьба, посредством которой мысль искупляет будущее торжество свое, производит не атонию[12] сил, а общее их возбуждение, доходящее до героизма. Мысль, сделавшаяся страстной, мысль, доведенная до энтузиазма, – вот та вулканическая сила, которая из сокровенных недр толпы выбрасывает исторических деятелей, вот та неистощимая струя, которая, капля по капле, неотступно долбит камни невежества и предрассудков. В-третьих, наконец, всякое волнение душевное разрешается лишь прыщами и подозрительною кожей сыпью.

Все эти рекламы либерализма, о которых шла речь выше, не больше как прыщи, посредством которых разрешилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочие. Я не говорю, чтоб прыщи были бесполезны, я даже не отрицаю законности

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru их существование, но вместе с тем не могу не скорбеть душой, когда меня уверяют, что дело так и должно кончиться одними прыщами и что прыщи составляют венец истории. История, думаю я, должна привести к просветлению человеческого образа, а не к посрамлению его, и с этой точки зрения необычайное изобилие кожного сыпи и упорная ее устойчивость не только не радуют меня, но, напротив того, до глубины души огорчают. Я положительным образом протестую против претензии прыщей на право бесконечного господства в жизни и против того безнравственного девиза, с которым они являются в мир и в силу которого абсолютная истина жизни представляется опасною и недостижимой химерой, а вместо ее предлагается в руководство другая истина, заключающаяся в более или менее проворном эскамотировании[13] одной лжи посредством другой.

При этом я прибегаю к сравнению и спрашиваю себя: если я свой старый синий камзол окрашу в зеленый цвет, изменится ли оттого непрочность самой ткани? если я, относительно затхлого, отжившего принципа, ограничусь только перенесением его с одного лица на другое, изменится ли оттого вредоносная сущность его? Не только не изменится, но я не получу даже удовольствия обмануть самого себя, ибо в первом случае я тотчас же убежусь, что невинная моя забота повлекла за собой лишь трату денег на окраску негодного платья, а во втором – результатом моих усилий может быть даже болезненное сотрясение.

Очевидно, следовательно, что прыщи не обладают теми условиями, с которыми сопрягается мысль о господстве над истиной. Их существование законно и даже необходимо, но оно обуславливается большим или меньшим накоплением худосочия. Следовательно, для нас, собственно, весь вопрос приводится к тому, какую именно сумму исторического худосочия благоприобрели мы до настоящей минуты возрождения, с тем чтоб на основании этого данного определить время, когда начнут подсыхать прыщи. К сожалению, мы не привели еще в известность первого и потому не можем отвечать вполне удовлетворительно и на второе.

Однако признаки подсыхания начинают уже сказываться. История не останавливает своего хода и не задерживается прыщами. События следуют одни за другими с быстротою молнии и мгновенно засушивают волдыри самые злокачественные. То, что вчера было лишь смутной надеждой, нынче является уже фактом совершившимся, является победою жизни над смертью. Вчерашний либерализм сегодня оказывается уже отсталостью. Наступает день расчета, настает пора общего покаяния.

Если вчера позволительно было ораторствовать и заявлять о сочувствии, если вчера уместно было толковать о необходимости возрождения, то тем более уместно и позволительно нынче окончательно рассчитаться с прежнею жизнью, рассчитаться не только окончательностью языка, но и самым делом. Но, во всяком случае, не только уместно, а даже совершенно необходимо объясняться с полною откровенностью, без утайки и удержания, и, говоря об чем-нибудь языком утвердительно, не произносить в то же время мысленно частицы не.

Ибо как ни любезно прошедшее, как ни привлекательно приволье дней минувших, но оно невозвратимо.

Да, милостивые государи! оно невозвратимо, и я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет ваши сердца при этой мысли. Вы уязвлены сугубо: не только в вашей нелепой претензии остановить жизнь, но и в вашем самолюбии. Вы пели и щелкали, все в чаянии, что от вашего щелканья туман в болоте поднимется, – однако туман не поднялся. Вы прикидывались свободолюбцами, все в чаянии, что распушенность мысли и обилие словоизвержения отведут глаза, – однако глаза не отведены. Мысль обмирщилась, семя брошено, и, как ни хлопочите вы, оно фаталистически должно пройти все фазисы своего развития. Конечно, оно может дать плод и сторицею, и может уродиться сам-друг, но все-таки желанный плод будет – это верно. Это другое зерно скудного урожая также падет на землю и также даст плод. Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Вы видите, что жизнь ускользнула у вас промеж пальцев, что вы, бывшие до сих пор в самом центре жизненного круга, внезапно, как бы колдовством каким, очутились вне его. Вы ли не пели жизни дифирамбов, вы ли не обращались к ней льстивыми голосами, вы ли не угрожали ей распадением, если она не примет вас в руководители, вы ли, наконец, не доносили, не клеветали на нее! И вот, однако ж, не помогли ни дифирамбы, ни угрозы: равнодушно катятся себе да катятся волны жизни, и с каждым часом, с каждой минутой откатываются от вас все далее и далее

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru к далеким берегам того беспредельного океана будущего, который вы не хотели и не умели исследовать. Истинно вам говорю, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Вы припоминаете ваше прошлое и сравниваете с ним пустыню настоящего – это первая причина скорби.

Вы припоминаете ваши недавние, еще не остывшие попытки обмануть жизнь; вы чувствуете, с невольной краской на лице, что на время сделались ренегатами и, что больнее всего, ренегатами неудавшимися; что вы бесполезно посрамили свои мозги сочувствием к каким-то новым идеям, к каким-то новым началам жизни, – это вторая причина скорби.

Вы сознаете, что вас никто не уважает, что об вас даже не скорбят, ибо для всех стала ясна арлекинская пестрота вашей одежды. Вам нельзя помянуть добром ваше прошлое, а от будущего отказались вы сами; прошлое не принимает вас, потому что дверь в него заперта наплывом новой жизни и вашим собственным ренегатством; будущее не принимает вас, потому что таков уж закон истории, что сор и нечистота фаталистически отметаются ею в царство теней, – это третья причина скорби.

Одним словом, рассчитывая по пальцам и принимая в соображение, что дважды два, как ни вертись, все будут составлять четыре, а не пять, вы приходите к тому убеждению, что для вас остается одно только приличное убежище: смерть, – это четвертая причина скорби.

Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Но вместе с тем я столько же хорошо понимаю и те ругательства, которыми полны ваши души. Горечь их так велика, что вы уже не в силах таить их, не в силах долее выдержать вашу роль. «Умрем, но напакостим!» – восклицаешь ты, автор золотушных фельетонов-реклам, – ты, идол Ноздревых и Чертопхановых! «Ни полпальца! ни четверть шага! – вторит взбудораженный тобой юный англоман Сеня Бирюков, – *car il faut, á la fin, que nous ayons le courage de notre opinion!*» – «*Ayons le courage de notre opinion!*»[14] – поют хором полосатые, выдохшиеся потомки Буеракиных и Оболдуй-Таракановых.

Сеня, мой милый Сеня! я согласен, что это своего рода гражданское мужество; но ежели ты думаешь, что тебе первому принадлежит честь открытия его, то горько ошибаешься.

Не знаю, как в твоих палестинах, а в моем родном городе Глупове такого рода гражданское мужество давно уж в ходу. Мы только не отдавали ему надлежащей справедливости и даже не выводили из него тех великих реклам к будущему, какие выводили славянофилы из всероссийского смирения и послушливости, но оно существует – это верно. Да не может быть, чтоб и в твоих палестинах оно не водилось, это гражданское мужество. Стоит только, не краснея за себя, потревожить свои воспоминания, а геройского хлама, наверное, найдется в них весьма достаточно.

Сколько раз, например, колотил ты своего Петрушку за то, что он спит на твоей шубе, покуда ты до упаду отплясываешь с дочерьми Матрены Ивановны или с племянницами Анфисы Петровны, – а он и до сих пор продолжает высыпаться на той же шубе... Это ли не гражданское мужество?

Сколько раз ты сек свою маленькую курчавую сучку Джипси за то, что она связывается с разными неблагообразными дворовыми валетками и барбосками, – а она и до сих пор связывается... Это ли не *courage de son opinion*?

Сколько раз ты посылал в часть поваренка Никитку за то, что в твоём супе поочередно появляются то таракан, то мочалка, а таракан и мочалка и до сих пор продолжают составлять неизбежную приправу твоего *dîner de garçon*[15]... – это ли не доблесть беспримерная, доблесть неслыханная, доходящая до аскетизма, до горькой насмешки над собственной спиной ее обладателя?

Следовательно, и в этом деле ты и твои единомышленники: Гриша, Сережа и Коля – являетесь не новаторами, а лишь слепыми подражателями Петрушки, Никитки и Джипси, с тою только разницей, что вас, за ваше гражданское мужество, не будут

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ни колотить, ни сечь, ни посылать в часть.

Тем не менее откровенность ваша, друзья мои, мне нравится. Во-первых, она отнюдь никому не вредит; во-вторых, веселее как-то смотреть на вас теперь, когда вы начистоту ругаетесь, нежели в то время, когда вы подольщались, грустили и кланчили, и выпрашивали себе копейку; и в-третьих, я не могу не держать в памяти и того, что вы находитесь накануне смерти, а в таком интересном положении всякая дикость к лицу. Спросите у меня стакан воды со льдом, спросите у меня буженины с чесноком, спросите клюквы, спросите грибов – я охотно дам вам всего этого, ибо знаю, что воздержание не подарит вам ни одной лишней минуты, а удовлетворение прихоти утешит вас, и вы отойдете в царство теней с улыбкою, а не с искривленным ртом и стиснутыми зубами.

Итак, в минуту расчета, в минуту отпущения грехов, пестрая риза ложного либерализма упала сама собою, фраза значительно похудела и утратила свою одутловатость, реклама стушеввалась... Очень приятно!

И, боже, как просто, как бесхитростно совершилась эта внезапная перемена диверсии! Почти механически. Мы не дали себе труда даже оговориться, мы даже не почтили публику соблюдением самых простых приличий, обыкновенно употребляемых при подобного рода метаморфозах. Что за дело до того, что нас уличат в двоегласии; что за дело до того, что нас назовут бесстыдниками! Чувствуя и ценя только боль физическую, мы не гонимся за выражениями, не гонимся даже за толчками, памятуя правило пресловутого Расплюева, что жаловаться следует тогда только, когда хватят, что называется, до бесчувствия.

Но эта бесхитростность, эта казацкая способность обращаться бесцеремонно с самыми деликатными предметами имеют и свою полезную сторону. По крайней мере, мы, люди меньшинства, которые с такою сердечною тревогой внимали либеральным упражнением ревнителей тьмы; мы, которые сгоряча поверили, что каменоломни раскаиваются и изъявляют искреннее желание сделаться цветущими и благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали мирт и лавр в венки героев, снисходительно улыбавшихся нашей юношеской горячности, – мы убедились наконец, что не от гробов повапленных предстоит ждать слова жизни, что не на них должны покоиться наши упования.

Эти упования, эти надежды должны быть обращены нами к нам самим. В наших собственных убеждениях, в жизненности наших собственных сил должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни в чем ином.

Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже безрелигиозность, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем.

Повторяю: мы, люди глуповского мира, слишком повадливы, слишком покладисты. Мы во всякой среде легко уживаемся, со всяким явлением миримся почти без сопротивления. И потому из нас можно лепить всякую фигуру, и даже без больших издержек: стоит только по голове погладить. Удивительная способность таять и обращаться в сырьё умерщвляет в нас всякую инициативу, всякую попытку к самостоятельности. И ведь не то горько, что мы таем, а то, что мы таем искренно, что мы при этом кривляемся и хихикаем, что мы чувствуем себя столь же счастливыми, сколько счастливыми чувствовали себя наши достославные предки, когда их трепали по плечу их добрые начальники... И вот плоды: роковая случайность, как господствующая стихия в жизни, неприличный сумбур в понятиях и представлениях и полное отсутствие серьезности в обращении с предметами...

От всего этого добра нас может спасти только упоминаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До тех пор, пока мы не скажем себе, что тот, кто идет не с нами, идет против нас, до тех пор, пока мы будем направо и налево раздавать роignées de main[16] встречному и поперечному, более принимая в соображение покроя жилета, нежели покроя мысли, до тех пор мы будем слабы, мы будем нелепы, мы будем презренны, до тех пор наше слово будет подобно пisku кулика-поручейника, назойливо, но бесследно раздающемуся над пустынными берегами реки.

Да, только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях!
Да, только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса!

Итак, вот к какому пришли мы результату, любезный сын Глупова!

Но, договорившись до такого заключения, я чувствую, что сердце мое поражено смущением. В самом деле, положим, что мы освободились от всяких глуповских обязательств, что в глазах наших уж нет героев, что руки и умы у нас развязаны, что мысль наша не робеет и не ползает в прахе перед авторитетами – что ж дальше?

Ведь, наверное, мы из того с тобой хлопочем и бьемся, читатель, что у нас есть в запасе какая-нибудь жизненная мысль, что у нас имеются в виду какие-то новые жизненные основы, которыми мы хотели бы заменить прежние, пораженные ржавчиной пружины, еще и донныне заставляющие действовать старый глуповский механизм. А если все это есть, то неужто же сидеть нам в скромном безмолвии над нашими сокровищами, неужто ж прятать нам их для себя и для приятелей? Нет, не сидеть и не прятать, – это ясно, во-первых, потому, что было бы бессмысленно обладать сокровищем и в то же время с умыслом уничтожать его ценность, а во-вторых, потому, что, если б и хотели мы смиренно сидеть – не усидим ни за что в свете! Друг! у мысли есть сила особенная, которая так и подталкивает человека вперед да вперед, так и шепчет ему в ухо: «Расскажи да расскажи!»

Итак, мы будем, мы обязаны действовать. Отлично!

Где же, в какой среде будем мы проводить нашу мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей деятельности не в пространстве и времени, а все в том же милом Глупове, где нынче так сладко свищут соловьи-либералы, что ты никогда и никуда не уйдешь от Глупова, что он будет преследовать тебя по пятам, доколе не загонит в земные пропасти, что он до тех пор будет всасываться тебе в кровь, покуда не доведет ее до разложения?

Если ты это памятуешь, то должен также знать, что хотя Глупов и бесспорно хороший город, но вместе с тем город, любящий жить в мире с действительностью и откровенно, даже почти неприлично трусящий при малейшем намеке на разлад с нею. Мы, люди старого глуповского закала, любим, чтоб во «всем этом» было легкое, постепенное и неторопливое вперед поступание, и притом чтоб поступание это существовало преимущественно в наших общественных диалогах и только самую чуточку переходило в практику. Ибо под практикой мы разумеем только самую настоящую, действительную практику, а не химеры. Мы охотно, например, жертвуем каким-нибудь фестончиком, мы охотно побеседуем между собой насчет разных этих усовершенствований, мы даже не прочь шепнуть друг другу на ушко *que la position n'est plus tenable*[17] («совсем-таки мелких денег достать нельзя – просто смерть!»), но чтоб в соображения наши входили какие-нибудь этакие абстрактности – от этого упаси нас боже! и главное, без скандала, *mon cher*, без скандала! Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит мир и благоволение в сердца людей. *Mon cher!* мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями: я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющим из уст ваших; но оставьте же меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии, не тормозите, не огорчайте меня, не отрывайте меня так насильственно и грубо от раковины, в которой я с таким удобством обмял себе место! Пусть, слушая вас, я буду воображать себя в театре – на это я согласен; но чтоб я признал за вами право втискивать и меня в число хористов – это уж извините! Внимая вам, я мысленно созерцаю процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы – все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы, и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле; но не могу же я... не могу же я... согласитесь, что ведь я не могу?

Такова наша глуповская политика, такова наша глуповская философия. И если ты не хочешь действовать в пустоте, если ты желаешь, чтоб мы, глуповцы, внимали тебе, ты должен подделаться под нашу масть, ты должен признать нас всецело с нашею политикой и нашею философией.

И таким образом для твоей деятельности представляется два пути: или ты решишься сам притвориться глуповцем, с тем, чтоб сначала приучить нас к музыке речей, а потом, неожиданным движением руки и не давши нам, так сказать, опомниться, вдруг снять с нас дурацкий колпак; или же прямо пойдешь напролом, прямо схватишься за кисточку колпака и будешь тянуть его прочь с головы.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Если ты последуешь первому пути – ты пропал! Во-первых, люди, деятельность которых основана на уступках и нравственном сводничестве, не уважаются. Это ничего, что сами глуповцы первейшие сводники в мире и что не пропадают же они от этого: разве они уважают друг друга? да разве они и нуждаются в уважении? разве знают они, что такое уважение? Они живут – и больше ничего. А для тебя уважение нужно, ибо ты имеешь претензию снять дурацкий колпак, ибо, не приобретя уважения, ты не «притворишься» глуповцем, а сделаешься им действительно. Во-вторых, мы, глуповцы, хотя и простодушный народ, но имеем чутье острое и цепкое. Мы как раз поднюхаем, что ты не впрямь глуповец, а только прикидываешься им. А поднюхавши, мы скажем друг другу: «Эге! да он мошенник! да к тому же, слава богу, и трус!» И ведь натешимся же мы в ту пору над тобой! Мы вышлем на тебя Зубатова, который, заметив в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами глуповского этикета, подступит к самому твоему лицу и тоном, не терпящим отговорок, потребует, чтоб ты сделал «хи-хи!». (И сделаешь, mon cher! и получишь тебя люди бывали – и те «хи-хи!» дельвали!). Мы вышлем на тебя Удар-Ерыгина, который, видя, что ты принял образ жалкой, отощавшей кошки, робко пробирающейся по стене, чтоб стащить со стола кусок мяса, подстержет тебя и ловко ошпарит горячими помоями! А мы-то будем надрывать от смеху! а мы-то будем взапуски швырять в тебя, кто камешком, а кто и поленцем, в то время как ты, весь в язвах, будешь, подпрыгивая от боли, удаляться от нас в пустыню!

Если ты пойдешь вторым путем – ты пропал сугубо. Представь себе в самом деле, какая комическая может выйти из этого штука! С одной стороны – ты, глуповский реформатор, со всем энтузиазмом убеждения, со всею непреклонностью мысли и действия; с другой стороны – мы, добродушные глуповские граждане, с нашим «потихоньку да полегоньку», с нашим «поспешись да людей насмешишь», мы, воспитанные на административных фокусах Удар-Ерыгина... а? как бы ты думал, разве мы не заключаем тебя?

Заклюем. Это как свят бог – заключаем. Ишь ведь чего захотел: снять с нас дурацкий колпак! Да знаешь ли ты, что колпак этот не столько внешнее украшение, сколько таинственный продукт нашего внутреннего существа? Да чуешь ли ты, что колпак этот не снимается, а соскабливается, и что соскоблить его с нас не иначе можно, как выскоблив предварительно самую жизнь нашу? Ишь ты начальник какой нашелся! Ишь ты пророк какой выискался!

И много острых и исполненных праведного негодования слов пошлем мы тебе навстречу – и выживем-таки тебя, синьор! Если ты с первого же раза не убедишься, если ты с первого раза не бежишь с поля, мы выживем тебя постепенными мерами, мы исподволь лишим тебя огня и воды, мы будем выдергивать из-под тебя стул в то время, как ты будешь садиться, мы будем внезапно открывать траппы[18] под твоими ногами, мы будем подсыпать песку в твоё кушанье...

Одним словом, нехитростными, вполне глуповскими, но вместе с тем и вполне действительными мерами изведем-таки тебя! Достанет ли всего твоего ума, чтоб противостоять страшной силе нашей глупости? Достанет ли всего твоего героизма, чтоб посвятить твою жизнь на предугадывание тех остроумных сюрпризов, которые наше глуповское досужество будет изготавливать тебе на каждом шагу?

Но ты, быть может, усумнишься в истине моих слов; быть может, ты возразишь, что не все же глуповское общество предано умственному распутству, что и в этом обществе, вероятно, найдутся элементы свежие, не подкупленные прошедшим, которых явная выгода будет заключаться в том, чтоб внять твоему голосу и поддержать его.

На это скажу тебе: я со всяким тщанием изучал Глупов, и хотя в нем действительно имеются указываемые тобой элементы, тем не менее свежесть их весьма и весьма сомнительна. Друг! ведь и над ними прошла история, ведь и они не вчера рожденные, а тоже позатаскавшиеся в пыли веков, и притом так сильно позатаскавшиеся, что эта вековая пыль, что этот навоз вековой сделались существенную частью их самих и едва ли не извратили их внутреннего смысла. Порасскажу тебе, что знаю, о наших глуповских «элементах».

Два сорта есть глуповцев: глуповцы старшие, кушающие сладко, почивающие мягко, щеголяющие в полосатых одеждах и носящие разнообразные имена и фамилии, и, наконец, глуповцы меньшие, известные под общим названием «Иванушек».

Первых ты знаешь – это народ отпетый. Это те самые, которые так занозисто

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru шумаркают в вагонах, которые, в сущности, ничего никогда не чувствовали, ничему никогда не сочувствовали, ни о чем не мыслили, которые не жили, а, так сказать, ели жизнь, как нечто съедобное, как сочный, еще дымящийся кровью кусок говядины. Глупов кишит ими, этими поборниками материализма, видящими в материализме только удовлетворение требованиям человеческой похоти. Посмотри на всех этих полосатых, выдохшихся и выродившихся потомков Буеракиных и Оболдуй-Таракановых (а быть может, и их куаферов), посмотри на этих румяных, плечистых и кремнистоголовых представителей славяно-куаферской нашей производительности, и суди сам, может ли проникнуть какая-нибудь мысль сквозь эту плотную каменную обшивку?

Други! приятели! Сеня Бирюков, Бернгард Форбрихер! Федя Козелков! обнимем друг друга и прольем слезы умиления!

Прежде всего, полюбуемся друг на друга! Да, мы всё те же, какими были восемь лет тому назад, когда все вместе, шумною толпой, оставили школьную скамью! да, мы не изменили своим убеждениям, мы каждый день по два раза меняли на себе белье, мы не позволяли себе донашивать разорванные или потускневшие перчатки, мы остались верными требованиям и правилам хорошего тона!

Потом помянем воспитателей, охранителей нашей юности! Помянем и профессоров, хотя – помнишь, Сеня? – профессор истории и ставил тебе единицу за то, что ты никогда не мог различить Геродота от Гомера («черт их знает! оба на г... начинаются!» – объяснял ты нам в свое оправдание, и как мы помирали со смеху при этом!).

Помянем Луизу белолонную, помянем Бертю чернобровую, помянем Мину светлокудрую, этих истинных, действительных наставниц нашей юности!

Но не забудем и Бертоня, у которого мы научились прекраснейшим манерам и обольстительному *сomme il faut!*[19]

Выпьем, друзья, выпьем!

И потом отправимся... «туда»!

Однако, стой, Сеня! Я не хочу, чтоб ты меня как-нибудь «там» осрамил: дай-ко я проэкзаменую тебя, не забыл ли ты что из наук, которые нам преподавались?

– А позвольте, милостивый государь, узнать, кто нынче первый портной в Петербурге?

– Лет десять тому назад первым портным почитался Сарра, но вскоре пальму первенства перенял у него Шармер. Платье Шармера легко и удобно; человек, одетый этим портным, нередко впадает в недоумение, действительно ли он одет. Впрочем, в последнее время многие указывают на Дюмигрона, как на достойного соперника Шармеру.

– Вепе.[20] А позвольте узнать, где можно приобрести в Петербурге лучшее мужское белье?

– Все у Лепретра, все у того же несравненного Лепретра, или, лучше сказать, у достойного преемника его гения, Левека. Некоторые указывают на Дюбюра, но, по мнению моему, это парадокс. Рубашки последнего отстают от груди, скоро вытягиваются сверху и вообще так плохи, что могут быть носимы только людьми среднего рода.

– Charmant![21] Но так как человек не может существовать без сапогов...

– Понимаю вашу заботливость. В этом отношении Эммерман может вполне удовлетворить вас, хотя нельзя не сознаться, что место старого Пэля до сих пор остается еще незанятым.

– Bravo! Но я хотел бы съесть что-нибудь... легонькое этакое что-нибудь...

– Идите к Мартену – vous y trouverez d'excellentes choses![22] Можете прибегнуть также к Донону или к Шотану, но при этом не забудьте погрустить о тех, которые обязываются утолять свой голод у Палкина и Еремеева!

– Shame! Shame![23] – восклицают хором Бернгард Форбрихер и Федя Козелков.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Bravissimo! [24] Я вижу, Сеня, что ты не изменил науке, да и наука не изменила тебе! Идем же с миром и вкусим от уготованных нам сладостей!

Вот тебе старший наш Глупов. Надеюсь, что ты с первого же слова поймешь, что тут ни на Сеню, ни на Федю, ни на Бернгарда рассчитывать нечего. Но если ты настолько наивен, что будешь упорствовать в своих видах на нас, то предупреждаю тебя: будь осторожен, ибо мы как раз на тебя и пожалуемся!

В самом деле, сообрази хорошенько: ведь мы счастливы, счастливы настолько, насколько мыслительная наша сила способна понимать идею счастья, а счастливому человеку что нужно? Счастливому человеку нужно, чтоб его оставили в покое, чтоб его не развлекали ни мысли горькие, ни картины печальные, чтоб весь он мог сосредоточиться в законном наслаждении принадлежащим ему счастьем. Счастливый человек не любит даже, чтоб, во время его прогулки, ему попадался нищий, и для ограждения себя от подобной неприятности он или велит убрать назойливого нищего куда следует, или же торопливо сует ему в руку гривенник, и потом целый час улыбается, наслаждаясь мыслью, что сделал одним счастливецом на свете больше. С какой же стати ты заявляешь претензию на наше внимание, ты, который хочешь потревожить спокойное, роковое течение нашей жизни, ты, который ищешь, чтоб жизнь поступилась в твою пользу частью или даже и всем своим историческим достоянием! Mon cher! если хочешь, вот тебе целый полтинник, но не приставай к нам, не вынуждай, чтоб мы велели куда-нибудь тебя убрать!

Что касается до Иванушек, то прежде всего я должен сделать общее, но весьма справедливое замечание. Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, а будущее сулит только чищение сапогов и ношение подносов («Смотри, подлец! не урони подноса: морда отвечать будет!» – кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться).

Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокоились. Они не смотрят ни вверх, ни по сторонам, а все в землю и в землю, справедливо рассуждая, что смотреть по сторонам и парить под облаками – дело не ихнее, а Сени Бирюкова, которому на это и крылья даны... И знаешь ли что? я полагаю, что они даже очень рады тому, что у них выработалась под ногами такая солидная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они не только освобождаются от тех бесчисленных и горьких тревог, исход которых если не совсем безнадежен, то, во всяком случае, крайне сомнителен, но вместе с тем приобретают для себя всегда готовую и даже весьма приличную отговорку.

Спроси у глуповца: отчего ты не развит, груб и невежествен? Он ответит тебе: а оттого, что тятка и мамка смолоду мало секли. Спроси еще: отчего ты имеешь лишь слабое понятие о человеческом достоинстве? отчего так охотно лезешь целовать в плечико добрых благодетелей? и пр. и пр. Он ответит: а вот у нас Сила Терентьич есть – так тот онамеднись, как его выстегали, еще в ноги поклонился, в благодарность за науку!

В самом деле, что мы за выскочки такие, чтоб учить других! Мы находимся на исторической почве – и знать ничего не хотим. И как ты там ни ломайся, как ты там ни глумись, а глуповец все-таки останется прав, спокоен и доволен... потому что он объяснился, и объяснение это вполне снимает гнет с его совести.

Другое дело, если ты примешься поплотнее, если ты спросишь глуповца, зачем же он не соскочит с этой неудобной исторической почвы? О, в таком случае... в таком случае он несколько сконфузится и покраснеет, и... все-таки постарается свернуть на историческую почву.

А впрочем, он и объясняться-то с тобой не станет! Наш Иванушка вряд ли даже сознает, что под ним есть какая-то историческая почва. Мне кажется, что он просто-напросто носит эту почву с собой, как часть своего собственного существа и даже не подозревает, чтоб тут настояла надобность в чем-то оправдываться, что-то объяснять.

По этому поводу считаю не лишним рассказать тебе некоторый глуповский анекдот.

Однажды весной, в самое половодье, подъезжал я к родному моему Глупову. День был

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru базарный, и та часть реки Большой Глуповицы, где была устроена паромная пристань, была буквально усыпана народом. Требовался порядок; а если требовался порядок, то, натурально, ощущалась потребность и в начальстве. Оно и было тут налицо, и на этот раз заблагорассудило распорядиться так, чтоб ни одна из плывущих по реке барок и лодок отнюдь не осмеливалась переплывать за паромный ход, покуда не свалит весь народ. Сказано – сделано; барки и лодки остановились и оцепенели, как очарованные. Однако одна лодка соскучилась; к величайшему своему несчастью, она обладала способностью анализа и на этом основании решила, что рассуждение начальства неудовлетворительно и что, покуда машина нагружается, сотни лодок могут очутиться по другую сторону паромного хода. Но начальство немедленно подняло гвалт и откомандировало своего дантиста для преследования и наказания ослушника. До сих пор все в порядке вещей, и я, конечно, не остановился бы на таком общеизвестном и общепонятном факте, если бы рядом с формальным его проявлением не раскрывался и внутренний его смысл, высказавшийся как в положении, принятом преследуемым, так и в отношении к нему толпы, теснившейся на пароме.

Преследуемый, как только завидел дантиста, не пустился наутек, как можно было бы ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности.

А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! хорошень его!» – неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» – вторила она мерному хлопанию кулаков. Только один нашелся честный старик, который не вытерпел и прошептал: «Разбойники!» – но и тот, заметив, что я расслышал невольный его вздох, как-то изменился в лице и стал робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома.

Разберем этот факт логически.

Ни слова о действии паромного начальства: оно поступило здесь... как бы потемнее выразиться?... ну, да поступило по соображению с обстоятельствами дела и идею собственного своего величия...

Исследованию нашему подлежат собственно два предмета: положение преследуемого и отношение толпы к происшествию.

Для чего преследуемый не пошел наутек, для чего он сложил весла? – для того, что он фаталист, что он видит вдали силу и вперед убежден, что от силы не скрыть ему своего тела нигде. Почему он фаталист, почему он верит в вечное, неотразимое торжество силы, он сам этого не объясняет себе, но он чувствует паническое ошеломление при одном появлении силы, но он, как кролик при виде боа, сидит недвижим и как бы очарован до тех пор, пока чудовище не поглотит его.

Однако и он вздумал же однажды протестовать и, несмотря на запрещение, все-таки переплыл по ту сторону паромного хода. Что означает этот факт? А то, и только то, что ему не безызвестно из практики, что не всегда же сила дерется, но иногда и улыбается, что иногда она благодушна и согласна удовольствоваться тем, что обругает непотребно, но до зубов не коснется. Вот на эту-то приятную случайность, на эту-то возможность улыбки он и рассчитывал.

Но для чего же он дает своему телу наклонное положение, и притом такое, чтоб голова, то есть именно та часть тела, которая всего более представляет шансов для смертного боя, была по возможности защищена? Неужели смерть не составляет для него высшего блага? Неужели и он еще дорожит жизнью? Нет, он не дорожит ею с разумной точки зрения, то есть не видит в ней блага, одному ему принадлежащего, блага, которым никто посторонний не имеет права располагать по своему произволу; но он дорожит ею инстинктивно, дорожит, потому что жил вчера, живет нынче, надо же и завтра жить. Он трус и не пойдет открыто навстречу смерти, но встретит смерть равнодушно, когда она сама придет к нему, откуда бы и почему бы она ни пришла (время ли тут справляться, когда умирать надо!), и еще равнодушнее, или, лучше сказать, ходчее, натуральнее встретит, если она придет к нему как логическое последствие целого ряда фактов, каковы, например, побои. Возьмем хотя настоящий случай: здесь преследуемый укрывает от ударов свою голову, но почему? – потому, и только потому, что он еще не знает, потребует ли она. Потребуйся

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
эта голова – ничего, он и ее вытащит и будет только охать да взывать к батюшкам и матушкам, но защищаться не станет ни под каким видом – слишком учтив! И выйдет тут умертвие – и больше ничего!

От преследуемого перейдем к толпе.

Скажите, бога ради, благосклонный читатель, отчего ее не прорвало при виде этой гнусной расправы с одним из своей среды? Ужели она не доросла, по крайней мере, до того сознания, что нельзя же наказывать не только смертным, но и никаким боем, и не только такое преступление, как, например, нарушение бессмысленного приказа паромного унтер-офицера, но и всякое другое преступление, хотя бы оно было во сто раз тяжелее, хотя бы отданное приказание было не бессмысленно и отдал его не унтер-офицер, а сам Удар-Ерыгин? Положа руку на сердце, я полагаю, что именно оттого ее и не прорвало, что она не доросла даже до этого понятия. Опять-таки повторю: такого рода понятие доступно вам, любезные читатели, вам, которые занимались самоусовершенствованием в тиши кабинета, в сообществе книжек или сочувственных вам людей, под условием взаимного обмена мыслей и чувств, но недоступно грубой толпе, которая из-за куска насущного хлеба потела и выбивалась из сил, вскидывая вилами навоз на телеги и потом раскидывая его по полям.

Но, сверх того, толпа имеет ту же непреклонную веру в роковую неизбежность силы, как и сам преследуемый. Она живет не под влиянием умозрений, но под влиянием действия эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту.

Один утешительный факт – это старик, который вздохнул: «Разбойники!» Но нет, и он безобразен. Как он подло стусевался, как только заметил, что вздох его кем-то расслушан! как робко, с каким наивно-гнусным видом стал он и подмигивать, и подсмеиваться, и тишком-тишком пробираться на другую сторону парома, чтоб не обвинили его в христианском сочувствии к ближнему! Положим, что в его понятиях я был одним из тех, против которых он осмелился протестовать – что ж из этого? Или протестовать можно только втихомолку? Или уж такая печать роковая положена, в силу которой самое праведное негодование разрешается лишь кукишем в кармане?

Вот тебе младший наш Глупов, вот тебе наш Иванушка!

По этому случаю мне вспомнился другой анекдот, рассказанный мне когда-то некоторым глуповским старожилом. «Жили да были в нашем Глупове два соседа: Иван богатый да Иван бедный. Много было добра всякого у Ивана богатого, а еще больше было у него зависти; у Ивана же бедного только и богатства было, что лошадь пегая. Вот только и полюбись Ивану богатому этот пегашко; пристал к соседу: продай да продай своего живота. Однако Иван бедный заупрямился: не размыслил, стало быть, поначалу, что если сильному да богатому чего захочется, так уж, значит, так тому и быть. «Ладно же, – говорит Иван богатый, – не хочешь за деньги отдать – отдашь даром; не хочешь честью разделаться – разделаешься бесчестьем!» И возненавидел он его, сударь мой, пуще ворога лютого и стал с тех пор наше общество на него напущать. Соберемся, бывало, на сходку – сборщика или там добросовестного выбирать – кого выбрать? «А чего ж лучше Ивана бедного?» – говорит Иван богатый. «Катай Ивана бедного!» – вопят глуповцы. Случится ли воровство по соседству (уж и лихи наши глуповцы воровать!) – на кого подозрение положить? «Уж это бесприменно Иван бедный украл! – говорит Иван богатый, – потому он человек неимущий, и, кроме его, некому промеж нас этим ремеслом заниматься!» Одно слово: тошно стало жить Ивану бедному; прежде был он неимущим, а теперь и вовсе разорился. Выйдет, бывало, за ворота, лохматый да испитой, глазами вперед упрется, словно сам дивуется, как это еще жизнь в нем держится. Наши глуповские ребята про все это знали и очень Ивана бедного жалели. И сколько раз жалеючи ему говаривали: «Поди ты, Ванюшка, к своему ворогу: простит он, это верно – простит!» Однако он все еще крепился; скажет, бывало, советчикам: «Подлецы вы!» – и отойдет прочь. Хорошо. Вот только пала однажды к нам весть о рекрутчине; собралась это сходка, и, натурально, прежде всех за недоимщиков принялись. Горланил больше Иван богатый. «Эти недоимщики, говорит, всему нашему обществу поношение: от Ивана-то бедного, поди, лет за пять уплаты никакой нет!» Стали судить да рядить и приговорили Ивана бедного, как гражданина нерадивого и порочного, отдать в солдаты без очереди. Узнал это наш Ванюшка, словно с колокольни прыгнул. Прибежал это на сходку: и прощения-то просит, и обзывает-то непотребно; однако ребята наши на своем стали: «отдать да отдать Ивана в солдаты!» – твердят. А у Ивана жена в истопленной избе голосом голосит, у Ивана малые дети верезгом верезжат... Смирился-с. Не только пегашку Ивану богатому на двор свел, а, сказывают, даже не мало в ногах у него убивался. И вот, сударь,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru живет теперь наш Иван припеваючи, и стал он даже Иванычем. Иван-то богатый за смиренность не токма что продерзость его прежнюю простил, а даже заместо благодетеля ему сделался... Ан и выходит, что ласковое-то теля две матки сосет, а гордому-то да строптивому и одна сосать не дает»...

Ан и выходит... выходит, что ли, достойный сын Глупова?

А может быть, ты скажешь мне, что при таких условиях жить невозможно. «Невозможно» – это не совсем так, а что, «противно» жить – это верно.

.

Вот, однако ж, до чего мы договорились с тобой. Мне стало грустно, да и читателю, быть может, не совсем весело. А между тем мне не хочется оставлять читателя в мрачном расположении духа, мне хочется во что бы то ни стало развеселить его.

И в самом деле, из-за чего тебе мучиться, благосклонный мой читатель! И без того слишком одолевают тебя мелочи и дразги жизни, мелочи и дразги действительные, дающие себя знать и пощипываниями, и покалываниями, чтоб к ним прибавлять еще дразги воображаемые, какие-то дразги будущего. Ты берешь книгу в руки, чтоб развлечься, чтоб отогнать от себя жизненный кошмар, который так аккуратно давит тебя, а тебя потчуют новыми кошмарами, тебя приглашают о чем-то побеспокоиться, над чем-то задуматься, а пожалуй и помучиться...

Итак, будем смеяться.

Передо мной вереницей проходят мимо мои отставные герои: фейеры, живновские, Чебылкины, Порфирии Петровичи – то-то смешные люди... Ха-ха!

Передо мной проходит Аринушка, но уже без сумы, потому что ее украл фейер, чтоб воспользоваться объедком пирога, который кинула в нее рука нищелюбивого купца Хрептюгина... Ха-ха!

Передо мной проходит скитник, бежавший от мира прелестного в пустыни и расседины земные и мирно оканчивающий свой подвиг в остроге... Ха-ха!

Передо мной проходит мой глубокомысленный критик, который обвиняет меня в том, что я вывожу наружу плутни станových (как будто я что-нибудь вывожу, как будто я кого-нибудь обличаю, или обрываю, или упрекаю, или бью по щекам, а не просто описываю и изображаю... о, милый Глупов!), а не вывожу наружу плутней повыше... Ха-ха!

Передо мной проходит моя собственная персона, возражающая вышеупомянутым критикам: «Кто же вам мешает, друзья, прикидывать, сравнивать и прилагать? дерзайте, дети, дерзайте!»... Ха-ха!

Глупов! милый Глупов! отчего надрывается сердце, отчего болит душа при одном упоминении твоего имени? Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, приковывающее мою судьбу к твоей, или ты подбросил в питье мое зелье, которое безвозвратно приворожило меня к тебе? Кажется, и не пригож ты, и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета да убожество, да дикость, да насилие... плюнул бы и пошел прочь! Ан нет, все сердца к тебе несутся, все уста поют хвалу твою! Странная какая-то творится тут штука: подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего – тошнит: чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя – плачешь: чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою!

Отчего же несутся к тебе сердца? отчего же уста сами собой так складываются, что поют хвалу твою? А оттого, милый Глупов, что мы все, сколько нас ни есть, мы все плоть от плоти твоей, кость от костей твоих. Всех-то ты прикормил, всех-то ты воспитал, всех-то ты напоил от многообильных вод реки Большой Глуповицы, – как же нам не любить тебя? Это нужды нет, что иногда словно тошнит: тошнота-то, милый человек, ведь своя родная, прирожденная, так сказать, тошнота! Ну, потошнит-потошнит, да и пройдет! Это нужды нет, что временем словно обухом по голове тебя треснет: обух-то ведь свой, глуповский обух, тот самый обух, который действует по пословице: «кого люблю, того и бью», – бери же его благоговейно в руки и целуй! Свое и бьет как-то не больно, и смердит не совсем чтоб

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неестественно! А все оттого, милый ты человек, что любовьность везде в-очию присутствует, что и сечем-то мы не зря, а тоже приговариваем: «Не груби, не балуй, сударь, сиди смирно, будь послушлив!»

Многим это не нравится; многие предпочли бы, пожалуй, чтоб было поменьше любовьности да побольше расчетливости в действовании обухом; для многих обух даже вовсе не составляет прелести... Дивлюсь развращенности вкусов и не возражаю! Но не могу, однако ж, умолчать, что я, с своей стороны, признаю мой Глупов всецело, со всеми его особенностями и даже с его собственным запахом. Какой же это был бы Глупов, спрашиваю я, если бы обитателей его не тошнило, если бы они не были слегка пришибены? И были ли бы мы, сыны Глупова, так безмятежно благополучны, так отвратительно счастливы, если бы нам предлагали какие-то «проклятые» вопросы, если бы нас заставляли делать сочинения на темы вроде: «восход солнца в Глупове» или «сила любви к Глупову»?

И какие могли бы мы дать ответы на вопросы, кроме того, что «ответов, по тщательному розыску, в городе Глупове не оказалось», или: «ответы были, но в пожар, случившийся в таком-то году, сгорели». А сочинения? Возьмем для примера хоть тему «восход солнца» – что такое восход солнца? Мы не знаем, восходит ли солнце и как восходит в городах Умнове и Буянове, а в Глупове это тот самый момент, когда, по преимуществу, сгущаются в жилых покоях ночные звуки – и больше ничего. Коли хотите, это определение голо и как-то пахуче просто, но зато оно наглядно и точно, но зато тут ни одной черты нельзя ни убавить, ни прибавить. Об чем же тут сочинять? Или опять насчет любви – что такое любовь к Глупову? Откуда любовь? где ее седалище? за что любовь? почему любовь? А кто ж его знает, откуда, где, за что и почему! Любим – и все тут! Глупов, высиживая нас, не говорил, люби меня за то, что я, дескать, –

Хорош,
Пригож,
Прекрасен суть, –
а приказывал:

Ах, люби меня без размышлений...

(да и «ах» не говорил, а попросту выражался: «люби не люби, а подплясывай!») – вот мы и любим без размышления: родители любили, и мы любим!

Что тут думать! я твоя, ты мой!

Какие же тут могут быть еще сочинения?

Повторяю: Глупов нравится мне всецело, со всеми особенностями. Я открыто, перед лицом целой вселенной, признаю себя гражданином Глупова и ничего-таки не стыжусь, потому что это дело уладили рара и тапан, а я только с благодарностью принял его последствия. Я знаю Глупов, и Глупов меня знает, и мы любим друг друга, и мы счастливы! Мы взглянем друг на друга – и рассмеемся. «Ты чему, дурашка, смеешься?» – спросит меня Глупов. «А ты чему, тятка, смеешься?» – спрошу и я, в свою очередь. И оба удовлетворимся, и оба вздохнем легонько.

Или опять: Глупов покажет мне палец – я зарадуюсь; я покажу Глупову палец – он зарадуется. «Ну, чему ты, дурашка, радуешься?» – спросит меня Глупов. «А ты чему, тятка, радуешься?» – спрошу и я, в свою очередь. И опять оба довольны, и опять вздохнем легонько. Нет, воля ваша, а я именно счастлив, что рара и тапан вздумалось в лице моем подарить Глупову лишнего гражданина!

Und ich war in Arcadien geboren...[25]

Да, и я сын Глупова, и я катался как сыр в масле, что, как известно, и составляет настоящую, неподдельную глуповскую Аркадию. Я жил эту жизнь, я упивался производящим сгу-стение крови вином ее; нет того места в моем организме, которое не было бы всладце уязвлено тобою, о Глупов!

Не верьте же, добрые мои сограждане, не верьте тому супостату, который станет внушать вам, будто я озлоблен против вас, будто я поднимаю вас на смех! Во-первых, я столько раз повторял вам: люблю, люблю и люблю, что сомнение в истинности моих чувств было бы даже обидно: не лгу же я в самом деле? А во-вторых, откуда возьму я злобы против того, что составляло и составляет основу моего существования? Откуда возьму я силы отречься от прошлого, которое, как коррозивный ртуть, проникает все поры моего настоящего? Успокойтесь же, глуповцы, и внимайте мне с благодушием!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Если я посвящаю вам досуги свои, если я подношу вам свои сочинения, я делаю это потому, что желаю порадовать вас моими успехами, желаю, чтоб вы погладили меня по головке, чтоб вы сказали: вот, мол, какой у нас сынишка шустрый растет, книжки сам сочиняет! А если в этих книжках вы заметите что-нибудь... то, бога ради, не останавливайтесь на этой горькой мысли! верьте, отцы мои, что это только от усердия, что, в сущности, все мои усилия направлены только к тому, чтоб пощекотать у вас брюшко! В этом заключается вся моя претензия, и дальше ее я не иду.

Да если бы я и хотел идти – кто меня пустит? Вы, глуповцы, народ хоть и смирный, но, с другой стороны, и упрямый. Вы охотно допустите, чтоб кто ни на есть (разумеется, тот, кому на это право дано) собственноручно в вашей физиономии симметрию поправил, но не очень долюбливаете, когда кто-нибудь вам очень близко в душу заглянет, да, пожалуй, еще посягнет на ваше лучшее достояние – на ваш сон. Чего доброго вы соберетесь с силами, да и пожалуетесь!

Итак, примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заносу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения, – сделайте же милость, почивайте себе с миром и не фискальте на меня!

Я отнюдь не упрекаю вас за то, что вы не заводите в среде своей общества трезвости, и отнюдь не настаиваю на том, чтоб вы прониклись духом благодетельной устности! Я только заявляю, что в вас нет ни трезвости, ни устности, и даже не прибавляю от себя, нахожу ли этот факт печальным или радостным (откупщик находит его радостным). Сделайте же милость, не считайте меня зараженным каким-то новым духом и не фискальте на меня!

О новом духе, признаюсь вам, я даже понятия не имею. Слышал я, правда, как генерал Зубатов кому-то из приближенных говорил:

– Толкуют там: новым духом веет! новым духом веет! Каким это новым духом, желал бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому.

Итак, будем жить в мире и добром согласии. Пусть младшие уважают старших, а старшие утешаются младшими. Пусть старшие, взирая на младших, говорят: «Кость от костей моих», а младшие пусть отвечают: «Как прикажете-с!» Да не будет между нами ни раздоров, ни распрей, да не будет ничего подобного тому, что случилось наместничестве за морями, в городе Буянове, где сын отцу в глаза сказал: «Не дури, тятка! разобью зубы!» Да не будет!

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

В конце не помню уж какого года, но только не очень давно, случилось происшествие, которое в особенности поразило умственные способности Прасковьи Павловны Падейковой.

А именно, двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита, собственная, приданая ее девка Феклушка торжественно, в общем собрании всей девичьей, объявила, что скоро она, Феклушка, с барыней за одним столом будет сидеть и что неизвестно еще, кто кому на сон грядущий пятки чесать будет, она ли Прасковья Павловне, или Прасковья Павловна ей.

О таковой, распространяемой девкой Феклушкой, ереси ключница Акулина не замедлила доложить Прасковье Павловне.

Но прежде нежели продолжать рассказ, необходимо сказать несколько слов о героине его.

Госпожа Падейкова – женщина лет сорока пяти и в целом околоте известна как дама, которой пальца в рот не клади. Оставшись после мужа вдовой в весьма молодых летах и будучи еще в детстве воспитана в самой суровой школе («я тандрессов-то этих да сахаров не знала, батюшка... да!» – отзывалась она о себе в минуты откровенности), Прасковья Павловна мало-помалу приучилась к полной самостоятельности в своих действиях, что, однако ж, не мешает ей называть себя сиротой и беззащитной, в особенности если разговор коснется чего-нибудь чувствительного. В ее наружности есть нечто мужественное, не терпящее ни противоречий, ни оправданий. Высокая и плечистая, она сложена как-то по-мужски, голос имеет резкий и повелительный, поступь твердую, а взор светлый и до того

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пронизательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременностью. Прасковья Павловна вдовец честно, то есть без малейшей тени подозрения насчет кучера Фомки или повара Павлушки, и потому в действиях ее царствует совершенное нелицеприятие, что бывает редко в тех случаях, когда сердце барыни, уязвленное поваром Павлушкой, невольным образом разделяет все его дворовые ненависти и симпатии. Приятно видеть, как она сама за всем присматривает, сама всем руководит и сама же творит суд и расправу, распределяя виновным: кому два, кому три тычка. Велемудрых иностранных очков она не носит и, будучи с детства поклонницей патриархального воззрения, с большою основательностью полагает, что ничто так не исправляет ленивых и не поощряет ретивых, как тычок, данный вовремя и с толком.

– Не нужно только рукам волю давать, – говорит она соседям, приезжающим к ней поучиться мудрому управлению именем, – а то как не наказывать – не наказывать нельзя!

Понятно, что при такой самостоятельности действий, посреди общего, никогда не нарушаемого беспрекословия, поступок феклушки должен был сильно взволновать Прасковью Павловну.

– Кто тебя волтерианству научил? – спросила она феклушку, поставив ее пред лицо свое и предварительным телодвижением дав ей почувствовать разницу между действительностью и утопией, – отвечай, кто тебя волтерианству научил?

Феклушка сначала оробела, но потом пустилась в различные извороты и доложила барыне, что сам преподобный Григорий Декаполит являлся ей во сне и объявил безотменную свою волю, чтоб она на будущее время всякое кушанье серебряной ложечкой ела. Но Прасковья Павловна, хотя и была богомольна, не далась в обман.

– Врешь ты, паскуда! – сказала она, – станет преподобный к тебе, холопке, являться!.. Сослать ее, мерзавку, на скотный двор!

Сделавши это распоряжение, Прасковья Павловна, однако, не успокоилась.

Переходя от одного умозаключения к другому, она весьма основательно пришла к убеждению, что все эти штуки исходят не от кого другого, как от садовника Порфишки, которого уж не раз и не два заставляли вдвоем с феклушкой.

– Так вот они об чем шушукались! – сказала Прасковья Павловна, – позвать ко мне Порфишку!

Порфишку привели. Должно быть, ему уже было приблизительно известно, в чем должен заключаться предстоящий с барыней разговор, потому что он стал перед Прасковьей Павловной с решительным видом и, заложив руки за спину, отставил одну ногу вперед. Прасковью Павловну прежде всего поразило это последнее обстоятельство.

– Где у тебя ноги? – спросила она, подступая к Порфишке.

– При себе-с, – отвечал Порфишка, решившись, по-видимому, относиться к барыне иронически.

– Я тебя спрашиваю, где у тебя ноги? – повторила Прасковья Павловна, все решительнее и решительнее подступая к Порфишке.

– Не извольте, сударыня, драться! – отвечал Порфишка, не смущаясь и не переменяя позы.

Прасковья Павловна была женщина, и вследствие того имела душу деликатную. При виде столь дерзкой невозмутимости деликатность эта вдруг всплыла наверх и заставила ее не только опустить подъятые длани, но и сделать несколько шагов назад.

– Долой с моих глаз... грубиян! – сказала она, – не огорчай меня своим присутствием!

Порфишка взглянул на барыню с какой-то грустной иронией, разинул было рот, чтоб еще что-нибудь высказать, но только пожевал губами и, вероятно, отложив

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru объяснение до более удобного случая, вышел. Таким образом предположенное дознание не удалось. После объяснения этого Прасковья Павловна осталась в неопisanном волнении. Надо сказать правду, что происшествие с феклушкой вовсе не составляло для нее столь неожиданного факта, как это можно было бы подумать с первого взгляда. Давно уже по селам и весям носились слухи, бог весть кем и откуда заносимые, что вот-вот все феклушки, Маришки, Порфишки и Прошки вдруг отобьются от рук, откажутся подавать барыне умываться, перестанут чистить ножи, выносить из лоханей и проч. Сначала Прасковья Павловна подозревала, что слухи эти идут от разносчика Фоки, который по временам наезжал в Падейково с разным хламом и имел привычку засиживаться в девичьей. Вследствие этого Фоке запрещен был въезд в деревню и в то же время приняты были и другие действительные меры к охранению нравственности дворовых. Но слухи не унимались; напротив того, как волны, они росли и высились, принимая, по обычаю, самые прихотливые и фантастические формы.

То будто звезда на небе странная появилась: это значит – Маришка барыне хвост показывает; то будто середь поля мальчик в белой рубашечке невесть откуда взялся и орешки в руках держит и жалобненько так-то на всех глядит: это значит – Димитрий-царевич по душу Бориса царя приходил; то будто Авдей-кузнец, лежа на печи, похвалялся: «мне-ста, да мы-ста, да вы-ста» и все в том же тоне. Очевидно, что есть что-нибудь, а если что-нибудь есть, то еще очевиднее, что надо принять против этого «что-нибудь» неотложные и решительные меры, надо подумать о том, каким образом встретить невзгоду так, чтоб она не застала врасплох.

Но как ни усиливалась Прасковья Павловна, как ни изоощряла свои умственные способности, однако ничего, кроме розги, выдумать не могла.

«Так бы, кажется, и перепорола всех», – думала она по временам, и думала совсем не потому, чтоб была зла, а единственно потому, что смысл всех завещанных ей преданий удостоверял ее в том, что в розге заключается глубокое нравственно-дидактическое таинство.

Поступок феклушки и Порфишки окончательно расстроил ее.

«Как! – думала она, тревожно расхаживая по зале, – какой-нибудь скверный холопишка смеет говорить со мною, оставивши ногу вперед!»

В это время истопник Семка, полукалека, полудиот, явился в комнату, неся на спине беремья дров, которые с грохотом рассыпались по полу.

«Вот и этот, чай, барином будет!» – полупрезрительно, полуиронически сказала про себя Прасковья Павловна, останавливаясь перед Семкой.

– Семка! скоро и ты, чу, в баря выдешь!

Семка бессмысленно засмеялся и замотал головой. Прасковье Павловне показалось, что он уже сочувствует феклушке и Порфишке.

«Нет, видно, во всех этот яд уж действует!» – подумала она и вслух прибавила:

– Что ж, хочется, что ли, Семка?

Семка загоготал и утерся рукавом своей пестрядинной рубашки.

– Вон, подлец! – крикнула Прасковья Павловна и вне себя выбежала в девичью.

– Девки! сейчас все до одной молитесь богу, чтоб этого зла не было! – сказала она.

Но не успели еще девки исполнить приказание ее, как к крыльцу подъехала повозка, запряженная тройкой лошадей. Оказалось, что приезжий был некто Гаврило Семеныч Грузилов, сосед Падейковой, служивший вместе с тем заседателем от господ дворян в М. уездном суде.

Грузилов, хотя и находился в былые времена в военной службе, где, с божьей помощью, дослужился даже до прапорщичьего чина, но, за давно прошедшим временем, все, что было в наружности его напоминающего о поползновениях воинственности, улетучилось; и в нем, как он сам выражался, никаких военных аллюров не осталось,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кроме некоторой слабости к старику-ерофеичу. Вообще, он принадлежал к числу тех благонаравных мелкопоместных дворян, которые, в присутствии сильных и богатых помещиков, скромно жмутся в углу или около печки, заложив одну руку за спину, а другую приютивши где-то около пуговиц форменного и всегда застегнутого сюртука.

– А, Гаврило Семеныч! откуда, сударь, пожаловал! – сказала Прасковья Павловна, идя навстречу входящему Грузилову, – а у меня, батюшка, здесь между девками вольность проявилась... констунциев, видишь, хочется! Вот я вам задам уже констунциев!

– Точно так-с, Прасковья Павловна, – осмелился заметить Грузилов, – точно так-с; нынче это промежду них модный дух... так точно, как бы сказать, между благородными людьми мода бывает!

– Вот я эту моду уже повыбью! – отвечала Прасковья Павловна и повела гостя во внутренние покои.

– Я к вам, Прасковья Павловна, с дельцем-с, – таинственно проговорил Грузилов, едва держась на кончике стула и беспокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой беспрестанно шмыгали дворовые девки.

Прасковья Павловна изменилась в лице.

– Что такое? – спросила она дрожащим голосом, уже предчувствуя беду.

– Гм... точно-с... известие-с... до всех касающе... – пробормотал Грузилов, сам инстинктивно робея.

– Да ты не гымкай, а говори, сударь, дело! – сказала с сердцем Прасковья Павловна.

Грузилов снова с беспокойством взглянул на дверь, где, как ему показалось, торчали две женские головы, очевидно желавшие подслушать барский разговор.

– Перметте... ле порт?[26] – сказал он решительно, хотя до настоящей минуты отроду не выговаривал ни одного французского слова.

– Ферме, [27] – отвечала Прасковья Павловна. Грузилов припер дверь поплотнее.

– Имею честь доложить, – сказал он вполголоса, – что на сих днях оно уж кончено, то есть решено и подписано-с!

– Как решено? кем подписано? да говори же, сударь, говори!

– Так точно-с; для них, можно сказать, все счастье соста-вили-с!

– Парле франсе, [28] – сказала Прасковья Павловна, поднимаясь с дивана и подступая к Грузилову, – де ки, де ки саве?[29]

– Семен Иванович вчерашнего числа достоверное известие получили-с.

Прасковья Павловна с глухим воплем опустила на диван. Грузилов засуетился около нее.

– Матушка Прасковья Павловна! – говорил он несколько ослабнувшим от страха голосом, – матушка, не сер дитесь! бог даст, все по-прежнему будет!

Прасковья Павловна, упершись в спинку дивана и зажмурив глаза, безмолвствовала.

– Не прикажете ли из девок кого-нибудь позвать? – продолжал растерявшийся Грузилов.

Но Прасковья Павловна по-прежнему безмолвствовала, Грузилов бросился к двери.

– Ах нет! – вскрикнула Прасковья Павловна томным голосом.

– Успокойтесь, матушка! – утешал Грузилов. – Семен Иванович сказывали, что все это только так-с, предварительно-с... для того только, чтоб французу по губам

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
помазать... Да прикажите же, сударыня, девку-то позвать!

– Ах нет, Гаврило Семеныч! – отвечала Прасковья Павловна, – зачем их беспокоить! бог знает, может быть, еще нам с тобой придется за ними ухаживать!

– Уж это не дай бог-с, – уныло молвил Грузилов.

– Нет уж, нет... нет, нет, нет! с нынешнего дня, с нынешнего дня!.. это! горько! – восклицала Падейкова, томно устремляя глаза к небу.

– Успокойтесь же, матушка! – увещевал между тем Грузилов, – все это слух один-с... И в древности Сим-Хам-Иафет были-с, и на будущее время нет им резона не быть-с!

– Нет, Гаврило Семеныч, – сентиментально продолжала Прасковья Павловна, – я вот как скажу: с нынешнего дня я всю мою надежду на бога возложила, – как он, царь небесный, положит, так пусть и будет... Только уж я в обиду себя не дам! – прибавила она совершенно неожиданно.

Грузилов молчал.

– Я еще давеча чувствовала, что готовится что-то ужасное! даже сон был какой-то странный... Всегда видишь во сне что-нибудь приятное: или по ковру ходишь, или по реке плывешь, или вообще что-нибудь на пользу делаешь, а нынче просто-напросто привиделось какое-то большущее черное пятно: так будто и колышется перед глазами! то налево повернет, то направо пошатнется, то будто под сердце подступить хочет...

– Это точно-с, что сон несообразный, – заметил Грузилов, – а впрочем, не всегда сны вероятия достойны, сударыня! Не далеко искать, жена-покойница видела, примерно хоть нонче, будто, с позволения сказать, в грязи погрузла, ну и думали мы тогда, что это значит – наследство получить; ан, заместо того, она назавтра преставилась-с!..

– Нет, Гаврило Семеныч, мой сон правду говорит... я это вижу! Ну что ж, и пускай все будут дворянками! Вот завтра позову всех, и феклушку позову... ну, и скажу им: теперь, девки, уж не мне вами командовать, а вы командуйте мной! вы теперь барыни, а я ваша холопка! Только прелюбопытно это будет, Гаврило Семеныч, как это они за команду-то примутся? Ведь они это дело как понимают? По-ихнему, сидеть бы сложа руки, чтоб все это им даром да шаром... а того и не подумают, мерзавки, что даром-то и прыщ на носу не вскочит: все сначала почешется.

– Это точно-с.

– Поэтому-то я и говорю, что в этих случаях всего вернее на бога упование возлагать. Вот и давеча: точно меня в грудь кольнуло; сижу я одна и все говорю: «что батюшка царь небесный захочет, то и сделает! мы ему не то что тела, а и души, и платье, и дом... и все, словом сказать, в безотчетность препоручить должны!» Так вот и говорю, и сама не знаю, что со мной сделалось, а только все говорю, все говорю! а в груди-то у меня так и колет, словно вот кто меня сзади подталкивает: смотри, дескать, все это не даром! сокрушат твое счастье! Так оно и случилось. Нет, Гаврило Семеныч, меня предчувствия никогда не обманывают... никогда!

Очевидно, что Прасковья Павловна, незаметно для самой себя, понемногу вошла в тот фазис душевного состояния, когда постигшее человека несчастье мало-помалу отодвигается на задний план, а вперед выступает бесконечное самоуслаждение своими собственными соболезнованиями. Она, если можно так выразиться, смаковала свое горе, прислушиваясь к своим речам, и, внезапно вообразив себя чем-то вроде кроткой страдальницы, искренно начала чувствовать то приятное расслабление во всем организме, которое, как известно, предшествует всем подвигам самоотвержения.

– Нет, видно, уж нам на роду так написано! – продолжала она, улыбаясь довольно ласково и трепля Грузилова по плечу, – видно, уж мы неуютны стали, а уютны стали холопки. Вон у меня их с тридцать в девичьей напасено: хоть всех делай дворянками... с богом! Так-то, Гаврило Семеныч, так-то, почтенный мой! возьмемся-ка мы с тобой за соху и станем землю ковырять! Что ж, ведь коли по правде говорить – хуже-то нам от этого не будет, еще для души что-нибудь полезное сделаем... А то это хозяйство да хлопоты – только грех с ними один!

Грузилов усмехнулся; он сам начинал мало-помалу расплываться и сочувствовать идиллическому настроению души Прасковьи Павловны.

– Это вы справедливо насчет греха изволили заметить, – сказал он, – грех точно есть-с, потому что в хозяйстве, дело известное, без того нельзя, чтоб без рук-с... Ну, и кровь от этого самого портится, а уж жизнь как сокращается, так это именно, можно сказать, как только бог по грехам нас поддерживает!

– Ну, вот видишь ли! стало быть, и правда моя, что все это к нашему же добру ведет!.. Найдем вот у своих же крестьян землицы, да и станем жить да поживать... Конечно, тогда уж сладкого куска не требуй, а будь сыт, чем бог послал, – зато греха меньше будет! Вот мы служили-служили мамону, а что выслужили? Может, за мамон-то нас бог и наказывает!

При слове «мамон» Грузилов вспомнил, что он еще не завтракал, но сказать об этом Прасковье Павловне не осмелился. С своей стороны, хозяйка умолкла и несколько минут сидела, потупивши голову и перебирая пальцами.

– А мудреное будет дело-с! – сказал наконец Грузилов. Прасковья Павловна ожила.

– Да уж так-то, сударь, мудрено, – сказала она, снова приходя в волнение, – что я вот думаю-думаю и никак-таки придумать не могу! И так прикинешь, и так повернешь – и все как-то ничего не выходит! Ну, ты возьми, сударь, подумай! Все, что ли, барями будут? Все, что ли, хорошие кушанья есть будут? Так ведь про них хорошего-то не напасешься – пойми ты это! Да опять и то: если бы и можно было доподлинно напасть, так ведь они, можно сказать, озорством все разбросают! Не то чтоб кротким манером сесть за стол да поесть чем бог послал – он, сударь, будет только глотку свою драть: подавай ему и того и сего, и индюшечку-то подай, и теленочка- то зарежь, и капустки-то наруби... да божье-то добро, вместо того чтоб в рот брать, он под стол да под лавку!..

– Это истинно-с! Вот у меня кучер Прохор – изволите, чай, знать? – так он, коли хмелинка у него в голову попадет, так-таки никак в рот куском попасть не может, а все, знаете, мимо сует... презабавно на него в ту пору смотреть бывает!

– Ну, вот видишь ли! а он теперь еще в страхе находится: что ж это будет, коли на него и страху-то уж не станет! У меня вот Семка-дурачок есть, так он даже и есть-то путем не попросит, коли посторонние не накормят... ну, и он, стало быть, барином делается?

– Да-с, это будет любопытно-с, – отвечал Грузилов, хихикнув от удовольствия.

– Нет, ты не смейся! – сказала Прасковья Павловна строго, – это дело слез, а не смеха стоюще! Мое теперь дело сторона, а я больше об них жалеючи говорю. Ты возьми, сударь, то в расчет, что у них и натура так создана, что они больше, как бы сказать, к тяжелым трудам приспособлены, а не то чтоб к нежностям да к музыкам или там об душе что-нибудь побеседовать... Ведь это, значит, в них уж не человеческое, а релегеозное! Стало быть, если у них эти телесные упражнения отнять, что же из этого будет? одно забвение, и больше ничего!.. Ну, опять и то подумай: что ж, значит, мы, дворяне, после этого будем? Теперь, как у меня что есть, так всякий это видит, всякий, значит, и уважает меня как дворянку! А как ничего-то у меня не будет, кто же мне, как дворянке, уважение сделает? Ведь на лбу-то у меня не написано, что я дворянка! Что одета-то я почище – так нынче мещанки-то лучше дворянок еще одеваются! Всякий, значит, и скажет: какая ты дворянка! пошла, скажет, голубушка, прочь!

Прасковья Павловна проницательно посмотрела в глаза Грузилову.

– Вот и служили мамону, – сказала она, – вот и дослужились!

При вторичном напоминании слова «мамон» Грузилову сделалось нестерпимо тоскливо. На этот раз он даже решился преодолеть природную свою робость и напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.

– Матушка Прасковья Павловна, – сказал он, заикаясь, – не соблаговолите ли... закусить что-нибудь?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Не знаю, сударь, не знаю, как теперь и приказывать! Попроси разве сам дворянок-то: может, и дадут что-нибудь из милости! Я теперь и насчет себя ничего не знаю! будут они мою ласку помнить – ну, дадут что-нибудь: рыбки, что ли, соленькой, огурчиков, что ли! а не будут – и не евши день просижу... А уж перед холопками своими унижаться не стану!

Однако ж ожидания Прасковьи Павловны не сбылись. И закуска, и вслед за тем обед были поданы, как обыкновенно, без всякого замешательства. Грузилов ел с величайшим аппетитом, хрустел зубами, щелкал языком и причмокивал губами. Нельзя сказать того же о Прасковье Павловне: она почти все время исподлобья следила за движениями лакея Федьки и вслед за каждым проглатываемым куском приговаривала: «Ну вот, может быть, и в последний раз так едим!» Иногда аппетит ее даже совсем пропадал, и она с досадой бросала на стол вилку и ножик и отодвигала от себя тарелку с непечатым еще кушаньем.

– Прах побери, да и совсем! – восклицала она восторженно, – пусть все пойдет прахом; пусть все пойдет прахом!

В этот же день, вечером, по отъезде Грузилова, когда девка Маришка доложила барыне, что постелька их уж готова, Прасковья Павловна взглянула на нее как-то особенно кротко и сказала:

– Нет уж, Мариша, я разденусь сама! где мне тебя беспокоить... поди почивать! – Маришка остановилась в недоумении. – Или тебе меня жалко? – продолжала Прасковья Павловна, – ну, что ж, если у тебя такое доброе сердце, что ты хочешь раздеть свою барыню – раздень, я препятствовать не стану!

Ночью привиделся Прасковье Павловне сон.

Снилось ей, будто она пожалована в скотницы и доит преогромную корову. Только доит она и никак не может ее выдоить, а между тем сзади стоит Порфишка и приговаривает: «Доить тебе всю жизнь и не отдоиться, доить и не отдоиться!» Она будто бы хочет вскочить и замахнуться на Порфишку – не тут-то было: ноги словно приросли к земле, хотя самое ее так и подмывает, так и подмывает.

– Это, матушка, значит, деньгам переводу не будет, – объяснила ей ключница Акулнна, которой она имела привычку сообщать свои сны.

– Ах, уж какие теперь, Акулинушка, деньги! – сказала Прасковья Павловна и потихоньку при этом вздохнула.

Надо, однако ж, сознаться, что в девичьей не преминули воспользоваться нравственной переменой, происшедшей в Прасковье Павловне. По уверению Акулины, девки совсем от рук отбились, а Порфишка безвыходно поселился в девичьей и с утра до вечера тем только и занимался, что играл в гармонию и нашептывал девкам любезности, от которых они мгновенно шалели. Однако Прасковья Павловна только покачивала головой, когда ей докладывали обо всех этих беспорядках, и, не делая никаких распоряжений, уныло говорила: «Это еще что! дай сроку, и не то еще будет!» Одним словом, из прежней деятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна превратилась в какую-то институтку-мечтательницу: по целым дням просиживала у окна, взглядывая в безграничную даль, и томно при этом вздыхала...

Однажды ей доложили, что пришел староста.

– Ну, что, Авенирушка, скажешь? – обратилась она к нему, – барыню, что ли, свою старую вспомнил?

– Хлеб, сударыня, весь измолотили.

– Ну, спасибо тебе, Авенирушка! спасибо вам, мои голубчики, что старую барыню не оставляете!

– Куда завтра народ гнать прикажете?

– А куда гнать? известно, куда нонче всех гнать велят!.. Нет, Авенирушка, я нонче приказывать не могу... приказывайте лучше вы мне!

Авенирушка неосторожно осклабился; Прасковья Павловна, которая зорко за ним

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
следила, заметила это.

– Ты, кажется, смеяться вздумал? – спросила она его строго, – так я тебе еще докажу, подлец ты этакой, что значит барыню на смех подымать... вон с глаз моих, грубиян!

– Я, сударыня, помилуйте... я ничего... как можно этакому делу смеяться! Этакому делу плакать должно!

Прасковья Павловна несколько смягчилась. «Вот хорошие-то да благонравные все так говорят!» – подумала она.

– Что же насчет барщины изволите приказать? – приставал староста.

– Нет, Авенирушка, хоть я и знаю, что ты добрый, а приказывать не могу!.. Нет моих сил, Авенирушка!

Очевидно, отношения ее с каждым днем становились тяжелее и натянутее. Самые ничтожные затруднения, которые в былые времена Прасковья Павловна разрешала одним взмахом руки, принимали теперь в ее воображении неприступные, чуть не чудовищные формы. Горькие, безотрадные мысли посещали ее голову во время безмолвного сидения у окна.

«Как же теперь я кушанье сама себе готовить буду? – думала она, – я человек нежный...»

Пробегал ли в это время мимо окна теленок, или петух, взобравшись на кучу навоза, громким голосом зывал к своим хохлатым подругам:

«Стало быть, и это все – им! – думала Прасковья Павловна, – и теленочек, и курочка!»

Проходила ли по двору девка Аришка, исправляющая в доме должность прачки, неся на плече коромысло, обремененное мокрым, сейчас только выполосканным, бельем:

«Успокойся, милая! – думала сама с собой Прасковья Павловна, – успокойся, подлячка! не долго тебе мыть! скоро, очень скоро...»

Но тут мысль ее запутывалась н, незаметно для нее самой, получала такие кудреватые разветвления, что не было никакой возможности уловить их.

Даже преданная Акулина делалась в глазах ее чем-то вроде отогретой у пазухи змеи.

– А ведь ты от меня сейчас же стречка дашь! – говорила она, когда Акулина, видя ее горесть и заботясь об ней, как о малом ребенке, приносила ей пирожка людского попробовать или соченька с молодым творожком отведать.

– Христос с вами, сударыня! Куда мне, старухе, от вас зря бежать, ведь я вас еще эконьких знавала!

Акулина отмеривала морщинистой рукой своей пространство на пол-аршина от земли.

– Это нужды нет, что знавала! – продолжала неумолимая Прасковья Павловна, – я тебя насквозь, ехидную, вижу! Лучше, что ли, ты феклушки-то?

– Нашли с кем сравнить! ой, барыня!

– А останешься, так еще хуже того будет! навяжетесь вы мне на шею, калеки да хворые! Чем бы за мной походить, ан еще я за вами ухаживать должна... чай, и Семка останется!

– Покушайте-ка лучше, сударыня!

– Вот видишь! видишь, как ты со мной обращаться стала! ну, смела ли бы ты прежде меня есть принуждать! Нет, всех, всех с глаз долой!

Прасковья Павловна с негодованием отвергла подносимый ей жирный сочень,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru произнеся при этом следующие обидные слова: «Еще ядом, может, обкормить меня хочешь!»

И все-таки я должен сознаться, что Прасковья Павловна была совсем не дурная женщина, и даже внутренне сама себе не верила, обвиняя Акулину в недостатке преданности, а тем более в злостном желании обкормить ее. Она вполне была убеждена, что Акулина была преданнейшим и безответнейшим существом, какое только могло выработаться на русской почве, под влиянием тех горьких отношений, которые некоторыми героями не без иронии называются патриархальными.

Она действительно знала, что Акулина возилась с ней еще в ту радужную пору, когда она была «эконькой», и что с тех пор завязалась между ними та неразрывная связь, по свойству которой в глазах Акулины не было человека краше Прасковьи Павловны, а в глазах Прасковьи Павловны не было ключницы честнее и преданнее Акулины. Если и происходили у них иногда стычки по поводу некоторых весьма невинных вопросов, как, например, пролитого кваса, без вести пропавшего кусочка сахара, еще вчера вечером виденного на комодке, разбитой тарелки и т. п., и если Прасковья Павловна никогда не пропускала случая назвать Акулину старой воровкой и разорительницей, то последняя не только не обижалась этими импровизированными ласками, но, напротив того, считала бы, что в жизни ее нечто недостает, если бы их не было. Поэтому и настоящий казусный случай не только не изменил этих отношений, но еще более скрепил их. Нередко, когда барыня, безмолвствуя по целым часам и перебирая в уме своем все ужасы, которые представляло угодливое ее воображение, смотрела в окошко, Акулина потихоньку становилась в дверях ее комнаты и, пригорюнившись, смотрела на ненаглядную свою барыню.

– Куда это она огурцы несет? Куда она огурцы несет? – вскрикивала Прасковья Павловна, заметив, что девочка Васютка воровски пробирается около забора, неся под фартуком деревянную чашку с солеными огурцами. – Акулька! мерзкая! так-то ты барское добро бережешь!

Акулина опрометью бросалась из комнаты, чтоб накрыть виновную с поличным.

– Ах нет! – кричала ей вслед Прасковья Павловна, – ах нет! оставь ее, Акулинушка! пусть их едят, ненасытные! пусть все прахом пойдет!

И снова погружалась в мечтательность. В таких тревогах прошел целый месяц.

Однако Прасковья Павловна с величайшим изумлением вдруг заметила, что в течение этого времени вокруг нее никаких существенных изменений не произошло. По-прежнему «девки-поганки» подавали ей умываться и оправляли ее постель; по-прежнему «Федька-подлец» чистил ножи, ставил самовары и подавал за обедом кушанья; по-прежнему Авенирушка каждый вечер являлся за приказаниями... Даже пассажей особенных не было, кроме нескольких краж огурцов да изредка раздававшихся робких звуков гармонии (что, впрочем, случалось и в прежнее время).

Надо было истолковать себе это явление.

Но и тут Прасковья Павловна никак не могла вывести свою мысль на прямую дорогу из круга сомнений и противоречий, в котором она упорно вращалась.

«Нет, это они недаром! – думала она иногда, по-своему зорко присматриваясь и прислушиваясь ко всему окружающему, – это они нарочно смиренниками прикинулись!»

И вместе с тем, следом за этою черною мыслью, возникала в уме ее другая, более утешительная: «А что, если Грузилов наврал? что, если ничего этого нет, и все это только звон и брех пустых и неблагонамеренных людей?»

– Эти дворняжки кургузые только смуту заводят! ездят по соседям да только – тяф-тяф!..

Чтоб положить предел этим мучениям, она решила ехать в город к тому самому Семену Иванычу, в котором, по свидетельству Грузилова, заключался первоначальный источник, из которого струилось смутившее ее известие.

Город, обыкновенно тихий до мертвенности, был как-то неестественно оживлен, когда в него въехала Прасковья Павловна: по улицам суетливо сновали и щегольские

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
возки, и скромные, обтянутые рогожей баулы, и лихие сани, запряженные тройками, с гремящими бубенчиками и заливающимися колокольцами.

Обстоятельство это не ускользнуло от внимания Прасковьи Павловны.

«Ишь, черти, обрадовались!» – произнесла она мысленно.

И с этой минуты уже не сомневалась. «Как только я это увидела, – рассказывала она в тот же вечер Акулине, – что они, с позволения сказать, как черти в аду беснуются, так с той же минуты и положились во всем на волю божию!»

Однако с Семеном Ивановичем повидалась, хотя бы для того, чтоб испить чашу горечи до дна. Семен Иванович был всеми уважаемый в уезде старец и точно так же ненавидел этот яд, как и Прасковья Павловна. Сверх того, он имел еще ту особенность, что говорил картаво и невнятно, но взамен того умел мастерски свистать по-птичьи, подделываясь с одинаковым успехом и под щелканье соловья, и под карканье вороны. Старики свиделись и немножко взгрустнули; Прасковья Павловна даже прослезилась.

– Сколько лет, сколько зим! – сказал Семен Иванович, в грустном изумлении простирая руки.

– И как все вдруг изменилось, Семен Иванович! – отвечала Прасковья Павловна.

Они сели друг против друга и несколько минут безмолвствовали, как бы боясь вымолвить тайное слово, обоих их тяготившее.

– Правда? – произнесла наконец Прасковья Павловна.

– Правда, – отвечал Семен Иванович, поникая головой. Снова последовало несколько минут безмолвия, в течение которых собеседники, казалось, с усиленным вниманием прислушивались к бою маятника, в этот раз как-то особенно назойливо шатавшегося из стороны в сторону. Что слышалось им в этом несносном, мерном до тошноты «тик-так»? Слышалось ли, что каждый взмах маятника есть взмах, призывающий их к смерти? Чувствовалось ли, что кровь как будто застывает в их жилах, что во всем организме ощущается тупое беспокойство и недовольство?

– Так прах же побери и совсем! – неожиданно вскрикнула Прасковья Павловна, шумно поднимаясь с места и с сердцем отталкивая свой стул.

И кто бы мог подумать? она тут же начала упрекать Семена Ивановича, обвинять его в волтеррианстве и доказывать как дважды два – четыре, что это он, своим поганым языком, все наделал.

– Вам бы только те-те-те да та-та-та! – разливалась она, очень удачно передразнивая Семена Ивановича, – вам бы только сплетни развозить да слухи распускать–вот и досплетничались! Может быть, без ваших сплетней да шушуканьев и не догадался бы никто, и все было бы смирно да ладно!

С этих пор спокойствие ее было окончательно нарушено. Всякое произнесенное при ней слово, улыбка, взгляд, движение руки, даже всякое явление природы – все мгновенно приурочивалось ею к одному и тому же вопросу, который всецело царил над всеми ее помышлениями.

– Мутит, это, мутит все во мне! хоть бы смерть, что ли, поскорей пришла! – жаловалась она беспрестанно, оставаясь наедине с Акулиной.

– Что вы, что вы, сударыня! ведь ишь что выдумали! – урезонивала ее Акулина.

– Да куда же я пойду! ну, говори, дура, куда я денусь–то! – тосковала Прасковья Павловна, – в богадельню меня не возьмут: я не мещанка! в услужение идти – сил моих нету! дрова колоть – так я и топора в руки взять не умею!

– Чтой-то, господи! уж и дрова колоть! – возражала Акулина.

– Нет, ты скажи, куда же я денусь! Ты вот только грубиянничать да отвечать мастерица. Я слово, а она два! я слово, а она десять! А ты вот научи меня, куда мне деваться–то? В скотницы, что ли, по-твоему, идти?.. Так врешь ты, холопка! еще не доросла ты до того, чтоб барыне твоей в скотницах быть!

Наконец пришла и весна. Обновилась ею вся природа, но не обновилась Прасковья Павловна. Таяние снега, журчание воды и постепенное обнажение полей – явления, обыкновенно столь радостные в деревне, – возбуждали в Прасковье Павловне досаду и озлобление, напоминая ей о приближающейся с каждым днем развязке.

– Тай, батюшка, тай! – говорила она, смотря на снег, – авось времечко скорей пролетит.

Прилетели скворцы. В этот год их было как-то особенно много, и мигом наполнились все скворечницы неугомонным и болтливым их населением.

Прасковья Павловна, которая всегда питала к скворцам особенную нежность, на этот раз возненавидела их.

– Болтайте, скворки, болтайте! – говорила она, – точно наши дворняжки! болты-болты, и нет ничего!

Наконец загредел первый гром. Вся природа разом встрепенулась и ожила: зелень как-то гуще окрасила листву деревьев и стебельки травы; растения разом вытянулись, цветы раскрыли свои чашечки; муравейки закопошились, засуетились взад и вперед по земле... Все кругом заблагоухало, все пришло в движение, все затрепетало каким-то сладостным, томительным трепетом...

– Греми, батюшка, греми! – сказала Прасковья Павловна, услышав в первый раз этот призыв природы к жизни, – греми! гром не грянет, мужик не перекрестится!

А тут еще и по дому неприятности беспрестанно выходят: то вдруг Надёжка оказалась с прибылью, то Федька с пьяных глаз лег на горячую плиту спать... – Господи! что же мне делать! что же мне делать! – тоскливо восклицает Прасковья Павловна, – ин, и впрямь умирать пора!..

НЕДАВНИЕ КОМЕДИИ

I

СОГЛАШЕНИЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Павлыч Сергеев, молодой человек, уездный предводитель дворянства.

Андрей Карлыч Кирхман, уездный судья, чистенький и благообразный старичок.

Разумник Федотыч Примогенов, помещик, средних лет; ходит прямо; виски прилизаны; посредине лба кок.

Иван Иванович Петров, помещик; маленький, кругленький и до того сластолюбивый, что когда при нем говорят о женщинах, то в ногах его образуется движение вроде того, какое замечается у очень влюбленного петуха. Домашний друг г-жи Антоновой.

Иван Фомич Сидоров, старик помещик, скряга.

Отставной капитан Савва Саввич Постукин, помещик.

Целестин Мечиславич Мощиньский, молодой помещик; между своими слывет под именем «выходца».

Степанида Петровна Антонова, дама средних лет; очень полна.

Софья Фавстовна Лизунова, вдова лет шестидесяти; лицо коричневое, платье коричневое; сидит прямо и ни на кого в особенности не смотрит; беспрестанно вынимает из засаленной бумажки мятные лепешки и сосет.

Действие происходит в деревне Сергеева; театр представляет просторную и довольно хорошо меблированную комнату; Антонова и Лизунова сидят в глубине сцены на диване; Кирхман – на стуле около Антоновой; рядом с ним в креслах расположился Примогенов, величественно протянувши ноги; Сидоров дремлет в углу; Мощиньский, заложивши руки в карманы, юлит и суетится во все стороны; Постукин, с чубуцищем в руках, ходит по комнате, по временам останавливается и хочет нечто сказать, но, пожевавши губами, стискивает в руке чубук и опять отправляется в путь;

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Петров придерживается преимущественно той стороны сцены, где находится Антонова.

СЦЕНА I

Все, кроме Сергеева.

Мощинский. Мне девки выгоднее! Мне девки больше дохода приносят!

Антонова. А ведь об этом надо подумать, Софья фавстовна!

Лизунова (бормочет). Я уж подумала, Степанида Петровна, я подумала.

Антонова (вздыхая). Хорошо, как кто думать может! А вот я: и сама думать не могу, и Семен Семеныч у меня не приучен... хоть ты что хочешь!

Примогенов. Слишком строго вы его держите, Степанида Петровна!

Антонова. Да как и не держать-то, Разумник Федотыч! Ведь он у меня ни на час без проказ! Намеднишь надо было мне к Марье Ивановне съездить; вот я ему и говорю: «Ты, Сенечка-душечка, посиди около детей, пока я съезжу!» – «Слушаю, душечка», – говорит. Только что ж бы вы думали? не успела я за ворота выехать, как он в ту же минуту подобрал свою шайку: Ваньку-столяра да Ионку-подлеца, да и укатили в Доробино пьянствовать! Насилу-насилу уж на другое утро пьяного-распьяного подле дороги нашли!

Петров. Это точно-с; еще надобно удивляться, как Степанида Петровна покойны могут быть!

Антонова. Нет, уж я теперь научилась; я его на ключ в спальней заперла!

Мощинский (на ходу). Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова. Да, бишь... девки! А я вот, с большого-то ума, еще третьёводни-с за семьдесят бумажкой на вывод девку продала!

Петров. Да еще какую канареечку-с!

Антонова. Поди-ка, другие какие барыши получают! Полтораستا серебрецом на круг! Тут, чай, ведь всякие, Андрей Карлыч? и худая, и хорошая?

Кирхман. Всякие-с.

Антонова. А я вот за семьдесят бумажкой! Люди за полтораستا серебрецом, а я за семьдесят бумажкой! Люди всякую: и худую, и хорошую, а я самую что ни на есть лучшую! Ай да я! Ай да Степанида Петровна!

Все смеются.

Смейтесь, батюшки, смейтесь!

Кирхман. Изволили просчитаться, сударыня.

Антонова. И никто-то ведь не скажет! (Лизуновой.) Вы, Софья фавстовна, продали?

Лизунова. Продала... много... много продала.

Антонова (добродушно). Ну, вот счастье какое! Андрей Карлыч! научите меня, родной, как бы третьёводнишнюю-то девку воротить? Чай, еще замуж-то не успела выйти?

Кирхман. Надо подумать-с.

Антонова. Сейчас уж и думать! Для других небось не думавши делаете! И никто-таки слова не вымолвил! Что бы, кажется, по-христиански предупредить: вот, дескать, Степа-нида Петровна, какая выгода по хозяйству предвидится! Нет-таки. Ах, совсем нынче настоящего христианства не видно!

Лизунова сочувственно кивает головой.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Кирхман. Это потому, сударыня, что нынче всякий прежде всего об себе думает.

Лизунова кивает головой два раза.

Примогенов. Да; при современном вопросе, оно и не лишнее об себе подумать...

При словах «современный вопрос» Постукин внезапно останавливается перед Примогеновым.

Вы, капитан, сказать что-нибудь хотите?

Постукин мнет губами, но, не сказавши ни слова, махает рукою и уходит.

Петров. Да; этот современный вопрос... штука!

Антонова (задумчиво). Да как же это, однако! Ведь Прохладин-то купец, а купцам владеть крепостными не велено?

Примогенов. Эх вас забота-то иссушила, сударыня!

Антонова. Да нет, ведь это выходит, что я на одной Аришке рублей четыреста прозевала! Воля ваша, а я этого оставить не могу.

Примогенов. Ну, и не оставляйте.

Мощинский (на ходу). Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова. Ах, да хоть не мутите вы меня, дайте сообразить, Целестин Мечиславич! (Кирхману.) Как же ты-то, немчик, позволяешь купцам девок скупать?

Кирхман. Они не проданы-с; это так только, на разговорном языке-с... Все дело сделано на законном основании-с...

Примогенов. А вы, чай, все-таки, на всякий случай, в суде не присутствовали?

Кирхман. По болезни-с.

Петров. У нас Андрей Карлыч всегда в таких случаях прихварывает.

Примогенов. Пускай, мол, другие, купаются! Что ж, это резон!

Лизунова многократно кивает головой.

Кирхман. Всегда по болезни-с.

Петров. Намедни Анна Николаевна из-за двести верст чуть не целую деревню на фабрику пригнала, со всеми, и с малолетними-с... в одно утро всех Андрей Карлыч окрутил!

Кирхман. Не я, а суд-с.

Примогенов. Ай да Анна Николаевна!

Петров. Оне, по вдовству, управляющего при себе имеют: он им это предприятие и внушил-с...

Примогенов. Подите-ка: женщина, а какую афёру соорудила!

Петров. Как же не афёру-с! Посудите сами: их на фабрику-с, стало быть, одними, можно сказать, ихними телами всю ценность окупила: земля-то, стало быть, даром-с, да еще имущества ихнего сколько!

Антонова (внезапно поняв, вскакивает). Ах, черт возьми!

Общий смех.

Петров. И представьте себе, даже управляющего-то этого сами для себя отыскали. Остановились оне в Москве, в номерах-с: ну, натурально, как женщина молодая, к

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
коридорному-с: где бы, говорит, такого управляющего найти...

Примогенов. Чтоб из себя был не мал и не тощ..

Антонова (наивно). Вот ведь мне эдакого случая не выдаться!

Все смеются.

Мощинский (останавливаясь). А я, господа, вот что придумал. Так как Прохладин всем нам благодеяние сделал, то, во-первых, дать ему обед, а во-вторых, просить, чтоб и на будущее время действий своих по приобретению не прекращал.

Петров. Уж Целестин Мечиславич всегда что-нибудь к ущербу придумают!

Антонова. На обед не согласна, а просить согласна.

Лизунова кивает.

Кирхман (рассудительно). Я того мнения, что если господин Прохладин принимает в этой операции участие, стало быть, он усматривает в том для себя интерес.

Примогенов. Основательно.

Петров. Знаете ли что, Целестин Мечиславич? Не лучше ли вместо обеда-то Ивану Данилычу транспарант поднести? Так, дескать, и так: благодетельному купцу благодарные такие-то...

Антонова (перебивая). Просят продолжать... вот на это я согласна!

Петров. Обед-то ведь, Целестин Мечиславич, съестся-с...

Мощинский. А транспарант останется... а что вы думаете, ведь это недурно!

Примогенов. *Verba volant, scripta manent.* [30]

Сидоров (кричит во сне). А? что? куда яблоко дела?

Петров. Ивану Фомичу и во сне-то видится, что у него яблоки воруют! А еще говорят, что одного чистоганчику у него тысяч на двести в ланбарде лежит!

Антонова. Так что ж, что лежит! Стало быть, по-вашему, коли у кого двести тысяч есть, так и смотреть сквозь пальцы, как все кругом растаскивают да разворовывают?

Примогенов. Не бредить же, однако, сударыня!

Антонова. Нет, уж вы меня извините! После этого я должна заключить, что вы не хозяин! Я и сама не нищая, а яблоки воровать не позволю!

Сидоров вздрагивает во сне, вскакивает, крестится, потом опять садится и засыпает.

Примогенов. Да, двести тысяч – это достоверно! Вот Андрей Карлыч знает, откуда Ивану Фомичу тысячи-то достались!

Кирхман снисходительно улыбается.

Антонова. Ах, я слышала, это целый роман!

Примогенов. Пожалуй, даже целых два. Вот Андрей Карлыч знает.

Петров. Андрей Карлыч обо всех помаленечку знают.

Кирхман. И не помаленечку-с. (Учтиво.) Многим могу неприятности сделать.

Входит лакей. Его окружают все мужчины, кроме Сидорова. Постукии бросается к лакею почти с остервенением.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Примогенов. Ну что, Сеня, как благодетель? проснулся?

Лакей. Умываются.

Примогенов. Ну, а насчет того... говорил что-нибудь?

Петров (тончайшим фальцетом). Разумник Федотыч! мэ комман де се шоз... domestик иси! [31]

лакей. Не слыхать-с. (Хочет уйти.)

Примогенов (удерживая его). Постой, постой, Сеня! А водку скоро подадут?

лакей. Иван Павлыч приказали до обеда никому водки не давать.

Общее впечатление. После ухода лакея следует несколько минут молчания.

Примогенов. Однако... это вещь!

Петров. Да-с, это задача-с! Бывало, шесть ли часов, девять ли, двенадцать ли, а уж как собрались дворяне, значит, ту ж минуту и водку на стол волокут. (Смотрит на часы.) А теперь бы и время-то самое настоящее!

Кирхман. Иван Павлыч смолоду переимчивы были. Может быть, насмотрелись нынче в Петербурге, что в хороших домах не подают водку безвременно, – ну и между нами обычай этот ввести желают!

Примогенов (значительно). Дай бог! Дай бог!.. А по-моему, так просто Иван Павлыч нами гнушается!

Петров (тихо Примогенову, указывая на Мощиньского). Разумник Федотыч! финиссе! полоне иси! [32]

Мощиньский (останавливаясь посреди авансцены, к зрителям). Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова (тоскливо). Ах, ты, господи! совсем было даже забываться стала, а Целестин Мечнславич тут как тут... точно вот ядом! точно вот ядом!

Кирхман. Memento mori, сударыня! Это значит: всякий помышляй о смертном часе!

Примогенов. Так, так! вот и нам, может, придется помышлять об нем... об смертном-то часе!

Постукин прислушивается.

Вы, капитан, что-нибудь сказать желаете?

Постукин горько улыбается, крутит усы и крепко стискивает в руке чубук.

Антонова (тихо Лизуновой). Чтой-то, однако, Софья Фавстовна, Савва Саввич-то? Помнет-помнет губами, да и прочь пойдет! Помните, какой он развеселый да разговорчивый был?

Лизунова (тихо). Взволнован очень... от современного вопроса взволнован... не спит, не ест... только трубку... трубку только курит!

Петров. А любопытно бы знать, очень бы любопытно, какие-то Иван Павлыч вести из Питера вывез?

Антонова. Однако позвольте вас, Разумник Федотыч, спросить, об каком это вы смертном часе изволите говорить?

Примогенов. Точно вы, сударыня, маленькие!

Антонова. Нет, я не маленькая, а только если вы насчет этой эмансациии говорите, так я вам вот что скажу (с торжествующим видом): ничему я этому не верю!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Постукин вновь горько улыбается.

Мощиньский. Молодец, Степанида Петровна! Charmant! délicieux![33]

Антонова. Да, не верю! вы вот мужчины, да верите, а я и дама, да не верю!

Примогенов. Позвольте, однако...

Антонова. Я этим глупостям совсем, совсем не верю! Я еще давеча всем своим девкам сказала: девки-подлянки! если вы этой эмансациии дожидаетесь, так у нас, говорю, становой не далеко! Так это, стороной, дала им понятие!

Примогенов. Поверите, Степанида Петровна, коли на бумаге покажут.

Антонова. Не поверю, Разумник Федотыч!

Примогенов. И бумаге не поверите?

Антонова. И бумаге не поверю... потому, не натурально.

Кирхман. Это весьма любопытно. (Смеется.)

Антонова. Смейтесь, смейтесь, Андрей Карлыч! Я ведь давно знаю, что у вас змея на языке!

Кирхман смеется сильнее.

А я вот не верю, да и не верю!

Примогенов. Зачем же вы приехали, коли не верите? Зачем Семена-то Семеныча без призору оставили!

Антонова. Скажите пожалуйста, какую вы власть надо мной взять хотите! Что ж, по-вашему, я и выехать без вашего позволения не смей!

Примогенов. Успокойтесь, сударыня! Я это больше на тот предмет сказал, что, может быть, вы спички в спальнoй оставили, так Семен Семеныч...

Антонова (всплеснув руками). Ах, оставила! ах, оставила!

Примогенов. А это бывает. Прошлого года у Андрея Петровича на деревне крестьянский мальчишка... взял, знаете, наложил под лавку щепочек да лучничок: сем-ко я, дескать, яичницу сотворю.

Антонова. Ах, не убивайте!

Примогенов. И можете себе представить, ведь шутя, каналья, всю деревню спалил!

Двери с шумом отворяются; входит Сергеев.

СЦЕНА II

Те же и Сергеев (белокурый молодой человек весьма приличной наружности; корчит дипломата и потому бреет усы и бакенбарды и расчесывает сзади пробор à l'anglaise; [34] ходит лениво, несколько переваливаясь: говорит отрывисто и вообще желает принять начальственный тон). При появлении его все встают.

Примогенов (кланяется, касаясь рукой до земли). Отцу и благодетелю от сирот...

Мощиньский. А мы, mon cher, [35] глаза проглядели, вас ждавши!

Сергеев. Здравствуйте, господа! mesdames! [36] (Жмет всем руки.) А Иван Фомич по обыкновению?

Петров. А вы ему, Иван Павлыч, гусара-с... прикажете?

Сергеев (сухо). Теперь не такое время, чтоб шутками заниматься.

Петров конфузится.

Очень рад, господа, видеть вас у себя.

Примогенов (в сторону). Вон оно куда пошло! И гусары в немилость попали! (Громко.) Благополучно ли в Питер съездить изволили, благодетель?

Сергеев. Благодарю вас, я своей поездкой очень доволен.

Мощиньский. Еще бы! нынче там нашего брата провинциала обеими руками хватают!

Сергеев. Это правда. Ждут от нас... да! я имел честь об этом со многими сановниками совещаться, и все в один голос говорят: attendez, messieurs,[37] вы будете призваны, чтоб высказаться! Поздравляю вас, господа!

Примогенов. Вот оно что-с!

Мощиньский. Au fait,[38] оно и естественно, потому что мы ведь сердце России.

Примогенов. Об чем же мы высказываться будем, благодетель?

Сергеев. В этом отношении, господа, вы можете быть покойны. Конечно, об нас озаботятся и дадут что-нибудь... ну, руководство какое-нибудь...

Кирхман. Диалоги-с.

Сергеев снисходительно улыбается.

Мощиньский. А ведь это отлично, mon cher, будет! Встанешь с места... разумеется, побледнеешь... (Становится в позу.) «Господа! пользуясь дарованною нам милостью, я прошу у вас позволения поговорить о различных недугах, снедающих наше любезное отечество»...

Антонова. Гм... мы, кажется, подобру-поздорову... Мудрено это! Чудно, право чудно чтой-то вы говорите, господа! Слушаю я вас, да только молчу! Слушаю, да молчу!

Мощиньский (заигрывая). А что ж, почтеннейшая Степанида Петровна, разве худо?

Антонова. Уж какие мы, сударь, с тобой говорители! Сидели целый век около печи да молчали! Разве по хозяйству что-нибудь распорядишься, так и тут больше рукой покажешь... а то говорить! Ну, позовут хоть меня, ну, посадят, разумеется: «высказывайтесь, мол, Степанида Петровна, какая у вас там статистика... сколько коровушек, индюшечек, поросяточек?» А другой еще озорник подъедет: «сколько, мол, у вас денег в шкатулке, Степанида Петровна?» Так, по-вашему, я и должна на все эти глупости отвечать? Как же? Держи карман!

Сергеев, а за ним и прочие смеются; Лизунова сочувственно кивает головой.

Кирхман. А шкатулочка-то, видно, с секретом, Степанида Петровна?

Антонова (сентиментально). Про то только бог может знать, что у кого есть, Андрей Карлыч! Тот, которого считают богачом, может вдруг оказаться бедным... так бедным, так бедным, что хуже Лазаря!..

Кирхман. Так-с.

Антонова (язвительно). А тот, который весь век притворяется неимущим, вдруг может оказаться миллионщиком!

Кирхман смеется.

Мощиньский. Нет, что касается до меня, то я непременно воспользуюсь! (Прохаживается по сцене и жестикулирует. К Сергееву.) А что, mon cher, нынешний петербургский сезон очень весел был?

Сергеев. Н-да... может быть... но я, признаюсь, не тем был занят...

Примогенов (в сторону). В носу ковырял! (Громко.) Уж пойдут ли на ум веселости, благодетель! чай, одних вопросов, проектов да соображений и невесть что!

Сергеев. Да, я таки поработал! (Смотрит на всех усталыми глазами.)

Мощинский. Ну нет, я бы не вытерпел, я бы ничего не пропустил! Представьте себе, господа, что нынче в Петербурге устрицы целую зиму не переводились! Кронштадтский рейд так-таки и не замерзал совсем! Уж я бы поистребил их – ручаюсь!

Петров. Охотники-с?

Мощинский. А главное, то в Петербурге хорошо, что все так деликатно! Возьмите самую простую вещь: какую-нибудь котлетку у Дюссо – ведь весело посмотреть, как все это подается! Не то, что где-нибудь в Новотроицком, где одной салфеткой три поколения утираются! (К Сергееву.) Не правда ли, cher?

Сергеев. Н-да... может быть... впрочем, каюсь: я как-то не тем был занят.

Петров. Ну нет, Целестин Мечиславич, и Новотроицкий обходить для чего-с? Там тоже лампопо такое есть, что пальчики оближешь!

Мощинский. Нашли с чем равнять! Нет, господа, только там, среди этого вихря приличий, можно постигнуть, до чего может дойти *сomme il faut!*[39] Даже в самом себе вдруг чувствуешь перемену: точно вот на высоту взошел, и все это перед тобой открывается! Чувства совсем не те делаются; манера, поступь... все совершенно другое!

Примогенов. Генералов много перед глазами, Целестин Мечиславич! Смотришь это на них, ну, и сам чем-нибудь заразишься!

Сергеев лениво улыбается. Несколько минут молчания.

Антонова. Ахти-хти-хти! Слушаешь вас, да только диву даешься! И устрицы, и генералы, и бог знает чего вы еще не приплетете! А об деле-то, об кровном-то, хоть бы слово!

Мощинский. Да ведь вы не верите, Степанида Петровна?

Антонова. Все же, сударь, любопытно! Иногда и мельница мелет, и ту послушать любопытно! Болты-болты – и нет ничего!.. ну, и отойдешь!

Кирхман. У начальства, конечно, побывать изволили, Иван Павлыч?

Сергеев. Разумеется. Ну, конечно, приняли меня как нельзя лучше. Вообще, господа, должно сознаться, что Петербург стал неузнаваем. Я имел честь понравиться многим значительным лицам... беседовал с ними... представлял мои резоны... Даже противоречил, и никто ни разу не сказал мне ничего неприятного!

Мощинский. Согласитесь, что это прогресс!

Петров (Примогенову). Что ж он, однако ж, об деле-то? Начните хоть вы, Разумник Федотыч!

Примогенов. А у нас, Иван Павлыч, слухи какие-то безобразные пали...

Постукин приближается.

Сергеев (глубокомысленно). Н-да?

Примогенов. Такие слухи, что будто бы тово... совсем будто бы ничего не будет!

Петров. Намеднись у меня Степанида-скотица продать кой-что по хозяйству в город ходила, так на базаре такого, говорит, страмословия наслушалась, что даже волос дыбом встал!

Антонова. У скотницы-то? Перекрестись, батюшка!

Петров. А что ж, Степанида Петровна, разве это не может быть? Она преданная-с...

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Антонова. Да хоть распреданная, а волосы-то у ней все же, чай, в косу заплетены!

Петров конфузится.

А по-моему. Иван Павлыч, так ровно никаких слухов нет. Известно, разносчики французскую революцию распускают. Так это и прежде бывало, и нынче есть. Покойник папенька, как служил исправником, сколько их за это секал!

Примогенов. Надо бы, благодетель, насчет этого дела ладком да мирком посудить!

Кирхман. И мне, Иван Павлыч, из Петербурга пишут, что есть что-то.

Сергеев. Ну да, ну да. Потолкуемте, господа. Я очень рад вас у себя видеть. Действительно, нынче в Петербурге все как-то об меньшей братии рассуждают.

Примогенов. Гм... те-э-к-с.

Сергеев. Что ж, это наш долг... это, можно сказать, наша первая обязанность...

Постукин выдается вперед.

Вам угодно высказать ваше мнение, капитан?

Постукин (шевелит губами и наконец издает какой-то звук).

Сергеев. Я полагаю, господа, что и с христианской точки зрения меньшая братия заслуживает...

Примогенов. Те-э-к-с.

Сергеев. Как члены просвещенного сословия, мы с своей стороны обязаны... это наш первый долг, господа! Я был во многих аристократических салонах в Петербурге, и везде, решительно везде только и разговору что об меньшей братии! Даже дамы – и те... vraitment! [40]

Антонова. А я бы им, Иван Павлыч, язык-то к пятке пришила, так они бы узнали, что значит рот-то непокрытый держать!

Сергеев (снисходительно). Вы, Степанпда Петровна, все по-прежнему?

Антонова. Что, батюшка, по-прежнему? Ты-то с чего свихнулся у нас, отец? Бумагу, что ли, из Питера вывез?

Примогенов. Да, благодетель, если уж у вас бумажка есть, так вы бы уж потрудились...

Мощинский. А по мне, так хоть завтра: я свои меры принял! (В сторону.) Завтра же, чем свет, всех к Прохладину!

Сергеев. Действительно, господа, у меня есть бумаги. Эй, Семен!

Входит лакей.

Там, в кармане дорожного пальто, есть бумага: подай ее сюда!

Лакей уходит.

Антонова. Любопытно это; очень это любопытно.

Сергеев. Впрочем, господа, я должен вам наперед сказать, что с своей стороны я уж достаточно убежден, что без «этого» нельзя обойтись. В Петербурге все лучшие умы так думают. (Решительно.) Для меня ясно, как день, что без вольного труда мы скоро должны будем сойти на степень второстепенной державы, следовательно, какое бы вы ни предприняли решение, я все-таки буду действовать согласно с моими убеждениями!

Лакей входит с бумагой, которую Постукин вырывает из рук его. Все, кроме женщин и Сергеева, бросаются к нему. Несколько времени по комнате раздается гул.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Антонова. Любопытно это! очень любопытно! Точно шмели! точно шмели! (Судорожно смеется.)

Примогенов (громко). «Первое»...

Антонова (захлебываясь). Ну, первое, и четвертое, и десятое! (Дразнится.) И десятое, и десятое! и десятое! И ничему этому я не верю!

Сергеев. Позвольте, однако ж, Степанида Петровна, господам дворянам заняться.

Антонова. Ну, и пускай занимаются! Пусть занимаются – я не мешаю! Я только то знаю, что завтра же (смотрит на Петрова) к господину губернатору «бумажка» полетит, что в нашем уезде вольные мысли распространяются!

Чтение прекращается; Постукин стоит мрачно и крутит усы; прочие лица озабочены.

Лизунова. Мне бы... бумажку бы мне почитать!

Петров подает ей.

Антонова. Позвольте-ка! позвольте-ка! (Заглядывает в бумагу через плечо Лизуновой.) Какая же это бумага? Первое дело (читает): «господину начальнику» – ан тут вон пустое место оставлено! Какому начальнику? какой губернии? Ан, может быть, до нашей-то и не дойдет никогда!

Сергеев (смеется). Ну, а второе что-с?

Антонова. А второе, что всякая бумага, коли она бумага, должна быть на гербовой. Я, батюшка мой, сама и невесть что денег за гербовую переплатила... я знаю! Нет, воля ваша, а это обман! Это такой обман, что даже самый (ищет слова)... самый фальшивый обман!

Сергеев. Так не верите?

Антонова. Не верю, не верю и не верю! Покажите мне на гербовой, тогда поверю!

Кирхман. Однако, сударыня, это дело очень серьезное! вы бы не мешали нам!

Антонова (стала на своем). Покажите на гербовой – тогда поверю!..

Кирхман. Убедительно просим вас дать нам заняться! дело слишком серьезно...

Антонова. Ничего я тут серьезного не вижу.

Кирхман. В таком случае, мы, с позволения Ивана Павлыча, перейдем в другую комнату, чтоб вы не мешали.

Антонова. Ну молчу... ах, батюшки, какой грозный! Молчу, сударь, молчу!

Водворяется молчание.

Сергеев. Как же вы думаете, господа?

Примогенов. Уж вы бы нам прежде свое мненье высказали, Иван Павлыч!

Сергеев. Н-да... то есть вы желали бы узнать мои убеждения, с тем чтоб принять их на будущее время в руководство? Очень рад-с, очень рад-с. Я не имею надобности скрывать мои убеждения, господа! Мои убеждения смелы, открыты, непоколебимы! Я не скрывал их перед высшим начальством, охотно поделюсь и с вами. Итак, я убежден, милостивые государи, что наш первый долг, наша, можно сказать, первейшая обязанность – как можно скорее доказать, что мы люди и ничто человеческое не чуждо нас. Кроме того, что это доставит нам случай насладиться сознанием свято исполненного долга, это покажет нас, в глазах целой России, как людей, сочувствующих современному направлению умов. Откровенно говоря, с нашей стороны было бы очень любезно... вызваться самим... предложить свои услуги... одним словом, что-нибудь в этом роде... Я надеюсь, господа, что вы меня поняли?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Кирхман. Понять можно-с. Это тем более необходимо, Иван Павлыч, что если мы теперь не вызовемся, то завтра или там на будущей неделе все-таки придется вызваться.

Сергеев. Это иначе не может и быть. Во время пребывания моего в Петербурге я имел случай убедиться, что в настоящем деле вопрос поставлен слишком ясно, чтоб можно было допустить какие-нибудь сомнения. Рассуждения, противоречия, представления и т. п. тогда только хороши и уместны, когда в них ощущается потребность самими теми... (ищет выражения) одним словом, теми, которые имеют на это конфиденциальное, так сказать, полномочие; в настоящем же случае потребности этой не ощущается. Я как сейчас помню мой разговор об этом с графом Петром Петровичем: «Согласитесь, mon cher, – сказал он мне, – что человек, который стоит на высоте, имеет гораздо более возможности рассмотреть все эти виды, перспективы и тому подобное, нежели человек, стоящий в яме». Я совершенно согласен с графом Петром Петровичем. (Закидывает назад голову.) А потому убеждения мои в этом деле так определены и так тверды, что я не только себе, но и другим не позволю отступить от них ни на шаг!

Примогенов. Стало быть, уж и рассуждать нельзя, Иван Павлыч?

Сергеев (сухо). Нельзя-с.

Петров (в сторону). Смотрите-ка, генерал какой выискался!

Антонова. Видно, уж вы в губернаторы к нам поставлены, Иван Павлыч, что так цыцкаете. Так нынче и губернаторы-то уж не цыцкают; напротив того, летось приезжал генерал-то в город, собрал дворян: «Поговорите, говорит, господа! поговорите! я, говорит, вас послушаю!»

Сергеев (сухо). А я слушать не желаю.

Антонова. Не знаю... уж не будет ли это слишком строго!

Примогенов (вполголоса). Как же мы, однако ж, таким манером «высказываться» то будем?

Наступает несколько минут тяжкого молчания.

Сергеев. Следовательно, господа, вам известны теперь мои убеждения, и таким образом вам предстоит засим один труд: в точности сообразоваться с ними. Теперь, если вы желаете переговорить между собой, я не хочу стеснять своим присутствием свободное выражение ваших мыслей. Я либерал не на словах только, но и на деле; я везде и во всем ишу свободы... одной свободы! Я оставляю вас, господа, но предваряю, что никакое возражение в ретроградном смысле мною допущено не будет. В этом случае я буду тверд и неумолим. Подумайте... обсудите... и когда вы решитесь, то дайте мне знать: я весь к вашим услугам! (Встает и звонит.)

Входит лакей.

Семен! можешь дать водки господам дворянам! (Величественно озираясь, выходит.)

Мощинский (вслед ему). И я за вами, mon cher! Я уж решился! Стало быть, мне рассуждать тут не об чем! (Уходит.)

СЦЕНА III

Те же, кроме Сергеева и Мощинского.

Несколько времени проходит в глубоком безмолвии. Постукин делает движение чубуком и держит его на весу. Первая просыпается от оцепенения Антонова.

Антонова (передразнивая Сергеева). Фу-фу-фу, ту-ту-ту, фить-фить-фить! И все вышел пшик! Так тебя и послушались, Мамеля Тимофевна! (К Постукину.) Ты-то что, батюшка, стоишь, словно блаженный, да чубуцищем-то помахииваешь?

Постукин желает говорить.

Нечего, нечего на нас-то махать, ты бы на него помахал! Он говорит, а они-то молчат! Он разглагольствует – а они-то помалчивают! Он-то рассыпается – а они-то

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru усищами пошевеливают! Точь-в-точь тараканы! Ай да отцы родные! ай да защитители! (Указывает на Кирхмана.) И немчик-то, и миротворец-то наш! Вместо того чтоб молокоосу нос утереть, а он только сидит да ножками сучит!

Кирхман смеется.

Смейся, сударь, смейся! Я вот одного такого знала, тоже все смеялся: хи-хи-хи! да ха-ха-ха! да так на всю жизнь со смехом и остался. Кинулись это к нему, ан у него уж и рот на сторону свело. Вот тебе и ха-ха-ха!

Общий смех.

Примогенов. Да, крутенок-таки стал Иван Павлыч! Однако это удивительно, какая в нем вдруг перемена сделалась! Как поехал от нас, какой, кажется, был благонамеренный!

Петров. И какие веселые были! Бывало, уж никак без того не обойдутся, чтоб над Иваном Фомичом не пошутить, а нынче даже разгневались...

Антонова. Никогда он благонамеренным не бывал. Я еще в рубашонке его знавала, и тогда уж змеей смотрел. Так, бывало, и посинеет весь, так и закатится.

Лизунова. Пискун был... пискун, пискун был! (Кивает головой.)

Петров. А помните, Разумник Федотыч, как они однажды Ивану Фомичу усы нарисовали, а на голову-то песочку посыпали... сколько в ту пору смеху у нас было!

Антонова. Смеялись да смеялись, а теперь вот плакать да плакать приходится.

Петров. Нарядиться ли, бывало, с девушками ли поиграть – на все первый сорт были!

Кирхман. Позвольте, господа! что было, того уж не воротить, а нам теперь предстоит предметом своим заняться. Итак, начнем.

Антонова. Выручайте, батюшки! выручайте!

Кирхман. Ну-с, Иван Иванович, ваше мнение?

Петров (смущаясь). Я-с... тово-с... я-с... конечно-с... Отчего же вы, однако ж, Андрей Карлыч, с меня-с? Тут ведь и другие господа дворяне есть!

Кирхман. Отчего же не с вас-с?

Петров. Нет, Андрей Карлыч, это вы по злобе на меня, как вы надеетесь меня этим сконфузить...

Кирхман. Ну-с, стало быть, Иван Иванович мнения не имеют... (Обращается к Примогенову.)

Петров (взволнованный). Нет-с, вы меня извините, Андрей Карлыч, я свое мнение очень имею! Я, Андрей Карлыч... желаю-с!

Кирхман. Чего вы желаете?

Петров. Да-с... желаю-с! хоть это, может быть, некоторым и неприятно, однако я бунтовщиком никогда не был-с!

Антонова. Эк, батюшка, вывез!

Кирхман. Ну-с, стало быть, это раз. Вы-с? (Обращается к Примогенову.)

Примогенов. Полагаю принять к сведению... но не к руководству!

Кирхман. Вы, капитан?

Постукин потрясает головой.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Понятно. Вы, Софья Фавстовна?

Лизунова. Не знаю.. не знаю.. ничего я не знаю..

Антонова. А я так и знать ничего не хочу!

Кирхман. Итак, мнения собраны. Один голос за, три – против, один сомнительный. Результат довольно благоприятный. Что до меня, господа, то вы, конечно, не удивитесь, если я скажу, что вполне согласен с Иваном Ивановичем (не без иронии)... потому что бунтовщиком никогда не был и быть не желаю!

Антонова (встает и приседает перед Кирхманом). Подарил, голубчик!

Кирхман. Да-с, я согласен с Иваном Ивановичем и имею на то свои основательные причины. Я очень знаю, что коль скоро это дело пошло в ход, то нам не желать нельзя. Сегодня мы не желаем, завтра не будем желать, а уж послезавтра пожелаем... непременно!

Антонова. Не знаю; разве язык из меня вытянут или мысли в голове совсем разобьют!

Кирхман. И разобьют-с. Следственно, нам прежде всего нужно поспешить заявлением нашей готовности, а потом... (вполголоса) а потом можно будет оставить все по-прежнему-с...

Петров (хихикая от удовольствия, тончайшим фальцетом). А потом можно будет оставить все по-прежнему!

Антонова. Вот на это я согласна!

Примогенов. Это похоже на дело. Что называется, измором, то есть измором, измором ее!

Антонова. Эмансацию-то!

Кирхман. Разумник Федотыч постиг мою мысль во всем ее объеме. В делах такого рода, господа, прежде всего форму соблюсти надо, чтоб все глядело прилично и гладко.

Петров (хихикая). А потом оставить все по-прежнему. Бесподбно!

Кирхман. Объясню вам это примером. Был у меня в суде секретарь. Бывало, позовешь его, разъяснишь, что такое-то дело следует решить так-то. Вот он приготовит все, поднесет к подпису; смотришь – совсем не то! Опять призовешь его, опять внушишь; на другой день он опять приготовит, и опять не то. И до тех пор таким образом действует, покуда не махнешь на все рукой и не подпишешь, как ему хочется. Не можем ли мы из этого примера извлечь для себя поучение?

Примогенов. Можно!

Петров. Даже очень можно-с!

Кирхман. Или вот пример еще более практический. Бывало, когда губернское начальство требует от суда каких-нибудь очень неприятных объяснений, я всегда поручал объясняться этому секретарю. Я делал это в том уважении, что господин секретарь имел дарование писать столь обширно и столь непонятно, что губернское начальство удовлетворялось немедленно.

Петров. Как же! как же! Бывало, мы так и говаривали ему: напиши-ка, брат Иван Дорофеич, объясненьице да с приплетеньицем!

Кирхман. Не можем ли мы, господа, и из этого примера извлечь для себя поучение?

Примогенов. Ничего, можно!

Петров. Даже очень можно-с!

Кирхман. Итак, господа, в настоящем положении дела я еще не вижу причины

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru огорчаться. Я думаю, что не только следует безусловно исполнить желание нашего достойного представителя, но не мешало бы даже для вида прикинуть что-нибудь! Так, самую малость... по части чувств!

Примогенов. Букетами, то есть, пустить!

Петров (окончательно повеселев, почти визжит). А потом оставить все по-прежнему!

Кирхман. Ибо прежде всего надобно смотреть на дело прямо, не пугаясь его. Если вообще во всяком предмете есть своего рода мягкое место, то отчего же и здесь ему не быть?

Примогенов. Это совершенно справедливо.

Кирхман. А если есть это мягкое место, то зачем же нам заранее тревожиться опасениями, быть может, и воображаемыми? Не лучше ли приступить к делу с легким сердцем и устроить таким образом, чтоб все осталось по-прежнему?

Антонова. Ах, как это хорошо! Я уж теперь начинаю чувствовать, как все это во мне дрожит!

Кирхман. Это оттого, сударыня, что вы благодетельствовать очень любите.

Антонова. А что вы думаете, Андрей Карлыч! Я вот иногда сижу одна и все думаю, и все думаю! Что вот у нас и курочка-то есть, и поросеночек-то есть, и всего-то довольно, и всем-то мы изобильны, а у них ничего-то, ничего-то этого нет! Нет, как ни говорите, а это ужасно!

Примогенов. Вот оно что значит немецкая-то нация! Куда бы мы делись без немцев! Сейчас Андрей Карлыч все разрешил, даже Степаниду Петровну в чувство привел!

Антонова. Меня, Разумник Федотыч, в чувство очень привести можно! Ах, кабы кто только знал! Ах, кабы кто только знал! Все-то это во мне ослабло! Ничего-то во мне крепкого нет!

Кирхман. Стало быть, разногласия нет, господа?

Все. Согласны! согласны!

Петров. Позвольте, надо у Ивана Фомича мнение спросить.

Антонова. Да уж отстань, стрекоза! что его, убогого, трогать! Иван Фомич! Иван Фомич!

Сидоров пробуждается и смотрит кругом с изумлением.

Петров. Иван Фомич! все кончено, домой ехать пора!

Все смеются. Сидоров молча достает из-под стула шапку.

Кирхман. Следственно, мы и Ивану Павлычу можем сказать, что согласны?

Все. Согласны! согласны!

Петров. Не хватить ли «уру», господа?

Постукин делает решительное движение вперед.

Примогенов. Господа! капитан предиду сказать желает!

Молчание.

Постукин (долго жует губами, но наконец говорит). Согласен! дда! я согласен! Только уж тово... по мордасам... бббуду! Ххоть ммиллион штрафу... а ббббуду!

Смех и рукоплескания.

Антонова. Ахти-хти-хти! Вот и весельице наше к нам воротилося.

Занавес опускается.

II
ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Зубатов.

Кузнецов, старичок лет семидесяти; одет бедно.

Пересвет-Жаба, сорока лет; отставной ротмистр, бель-ом с весьма любезными манерами; говорит с акцентом.

Кувшинников, штабс-капитан. Пьер Уколкин } молодые люди; цвет и надежда Глупова.

Симон Накатников

Сеня Бирюков.

Мадам Артамонова.

Антоша, ее сын, восемнадцати лет.

Дама под вуалем.

Дежурный чиновник.

Театр представляет приемную комнату в доме Зубатова. Утро. Бьет десять часов.

СЦЕНА I
Дежурный чиновник, молодой человек; сидит около окна и ничем в особенности не занимается; иногда положит одну ногу на другую крестом, иногда обе ноги уставит на пол; иногда взглянет на потолок и задумается; иногда устремит глаза в угол и тоже задумается.

Чиновник. Что бы такое сегодня вообразить? Удивительно, как это уединение действует! Барыни какие-то являются, целый роман в голове происходит! Если бы я теперича сосчитал, сколько меня, со времени поступления моего в канцелярию, барынь полюбило, порядочный бы куш вышел! Намеднишь целую неделю вел интригу с Анной Ивановной... по-израсходовалась она немного, а ничего... можно! Главное, манера приятная, белье тончайшее, ну и то еще лестно, что начальница! Бывало, докладываешь ему, что черноглазовский городничий явился, а сам думаешь: эх, кабы ты только знал, в каких мы отношениях с твоей-то сейчас были! (Смеется.) Не дурна тоже председателя жена, только бойка очень! Ну и с этой ладком покончили! (Зевает.) Что бы, однако, сегодня вообразить? Разве уже сызнова начать с Анной Ивановной канитель тянуть? Что ж, начнем! А то опять эти черти просители развлекут!

СЦЕНА II
Тот же и Кузнецов (входит робко и бочком пробирается к чиновнику).

Чиновник (в сторону). Вот уж и принесла кого-то нелегкая ни свет ни заря!

Кузнецов. Осмелюсь беспокоить вас, милостивый государь, вопросом: скоро ли будут принимать их превосходительство?

Чиновник. Я над ихними мыслями распоряжения не имею. (Мечтает.)... «Сходите-ка в сад, говорит, доложите Анне Ивановне, что завтрак подан». Иду я это по аллее и вижу: сидит она в беседке, в белом неглиже...

Кузнецов. Я, признаться, еще в восемь часов заходил, однако их превосходительство почивали.

Чиновник. Если бы вы в шесть зашли, так и жандарма, пожалуй, нашли бы спящим! (Мечтает.)... Сидит она в беседке и книжку читает, ножки под себя сложила и неглиже на грудке приподнялось.

Кузнецов. Вот я и в девять не поленился зайти, однако опять почивают... ну, я и опять в садике погулял-с: солнышко-то нынче уж очень хорошо греет, сударь! веселое солнышко!

Чиновник. Дело вешнее-с. (Мечтает.) «Читали ли вы, говорит, Александра Дюма?»

Кузнецов. Только, слышу, на соборной колокольне десять бьет; я, знаете, бежать, ан бежать-то уж ноги не бегут... Приплелся кой-как трусочком, докладываю швейцару: встали? – «Сейчас, говорит, встали...» Ну, и слава те господи!

Чиновник (мечтает). На другой день призывает он меня опять: «Подите, говорит, доложите Анне Ивановне, что пора ей к Матрене Ивановне ехать...»

Кузнецов. Осмелюсь беспокоить вас, милостивый государь, вопросом?

Чиновник. Законами не воспрещается. (Мечтает.) «Антропов! говорит, у меня, кажется, подвязка на правой ножке развязалась!»

Кузнецов. Всеконечно, вам не безызвестно, сколько по здешнему уезду этих новых мест роздано?

Чиновник. Всеконечно, не безызвестно, но сие есть государственная тайна. (Мечтает.) Вот я бросаюсь это на пол...

Кузнецов. Однако?

Чиновник. Ну, и «однако» все же тайна. (Мечтает.) Только в это самое время входит лакей и докладывает, что лошади готовы.

Кузнецов. Просителей-то, просителей-то, я чай, по утрам... и не пересчитаешь!

Чиновник. Да таки вроде того: пятые сутки с утра до вечера словно стадо в приемной – не продохнешь! (Мечтает.) «Благодарю, говорит, господин чиновник, что бумажку подняли!»

Кузнецов. Осмелюсь, сударь, доложить вам про свое обстоятельство. Неподалеку у меня тут именице: так, сударь, домишечко убоженький, однако и заведеннице есть, и землицы малая толика... уж как бы для меня-то способно было!

Чиновник (рассеянно). Вы говорите – неподалеку?

Кузнецов. Всего, сударь, верст с пяток, а напрямиком и того не будет.

Чиновник. Гм... да... напрямиком... оно конечно... (Мечтает.) На третий день приходит в приемную горничная Маша: «Вы, говорит, чиновник Антропов?» – а сама смотрит на меня и смеется...

Кузнецов. Опека у меня, сударь, на руках. После дочки шестеро внучат осталось... уж как бы для них-то эти полторы тысячки пригодились!

Чиновник (зевая). Полторы тысячи? да... это не вредно... (Мечтает.) «Вам, говорит, приказано сказать, что вы очень из себя интересны...»

Кузнецов. Ну, и я тоже: хоть стар, а могу... и побранить могу... и взыскать могу.

Чиновник. Однако вы мне мешаете.

Кузнецов (съежившись). Помилуйте-с; я полагал-с, что вы не заняты-с...

Чиновник. А почем вы знаете, что у меня в голове происходит? может быть, я обдумываю...

СЦЕНА III

Те же, мадам Артамонова и Антоша.

Артамонова очень бойкая барыня; одета пышно; Антоша во фраке и в белых перчатках; в продолжение всего действия стоит неподалеку от матери и по временам

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кусает ногти.

Артамонова (чиновнику). Генерал дома? (Подозрительно взглядывает на Кузнецова; сквозь зубы.) Опередил-таки!

Чиновник. Дома-с.

Артамонова. Ну, слава богу. Представьте себе, мой милый, мое беспокойство: едем за десять верст и всю-то дорогу думаем: а что, если генерала вдруг дома нет? (Сыну.) Antoine! ne rongez pas vos ongles![41]

Чиновник. Им некуда выехать-с. (В сторону.) Уж не начать ли с этой?

Артамонова (отводя чиновника к стороне). Нельзя ли, голубчик, узнать, как насчет этих новых мест... много роздано?

Чиновник (любезно). Хоть это и секрет-с, однако для вас извольте-с: просьба поступило очень достаточно.

Артамонова (беспокойно). Скажите пожалуйста! и есть кандидаты с сильными рекомендациями?

Чиновник. Все больше от Матрены Ивановны-с... Статский советник Стрекоза тоже довольно ходатайствует... генерал Брылкин-с... штатс-дама Кровоопийцева... Вы не можете себе вообразить, сударыня, даже с Кавказа очень многие пишут-с...

Артамонова. Этим-то какая печаль?

Чиновник. Да так-с... пишут, что очень было бы приятно, и больше ничего-с...

Артамонова. Ну так и есть: опять опоздали! (Сыну.) C'est toujours toi, mauvais sujet![42]

Антоша (хочет что-то сказать).

Артамонова. Уж молчи пожалуйста! (Передразнивает.) «Чего, маменька, нам спешить?» да «вот, маменька, попросохнет». Mais qu'avez-vous donc sur la chemise?[43]

Антоша вытирается.

Чиновник. Напрасно, сударыня, извольте так тревожиться. Почти утвердительно можно сказать, что счастье по-благоприятствует вам. (Сентиментально.) Счастье есть лотерея, сударыня, из которой вам, всеконечно, достанется самый лучший билет!

Артамонова. Благодарю вас, мой милый. Мне очень приятно, что здешние чиновники почтительны. Вы хороши с генералом?

Чиновник (конфузясь). Я-с... сударыня...

Артамонова. То есть, можете иногда напомнить ему? (Обдумывая.) Впрочем, я полагаю, что об этом всего лучше попросить генеральского камердинера? как ваше мнение?

Чиновник. Я-с... сударыня... право, не могу...

Артамонова. Камердинеры всегда большое влияние имеют. С ними могут соперничать только правители канцелярий- это уж я знаю! (Указывая на Кузнецова). Это кто?

Чиновник. Не знаю-с Кажется, тоже насчет новых мест-с.

Артамонова. Этот-то?

Антоша фыркает.

Antoine! vous salirez voire chemise![44]

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Антоша. Не могу, маман! очень уж смешно!

СЦЕНА IV

Те же и Кувшинников (входит и кланяется на все стороны; потом садится на стул и вынимает прошение, которое внимательно и с некоторым беспокойством прочитывает).

Артамонова (издали косясь на бумагу). Желала бы я знать, что там такое написано?

Кувшинников (читает вполголоса и с расстановкой, как будто силится понять). «Будучи приведен в известность, что чрез обстоятельства высшего соизволения, прежде предполагаемые ныне к осуществлению удовлетворительно развиваются... к сему... гм... к сему...

Антоша внезапно прыскает со смеху.

Артамонова. Antoine! c'est très impoli ce que vous faites-là![45]

Антоша. Маман! il n'y a pas de substantif![46]

Кувшинников (продолжает читать). «И обладая имением малым, большею частью из песков состоящим, с некоторым присовокуплением каменистой и худородной земли»... Прощению... гм... прощению! (Встает в волнении со стула и некоторое время ходит по комнате. Наконец с решительным видом подходит к Кузнееву.) Позвольте просить вас, милостивый государь, прочитать это прошение!

Кузнеев принимает от него бумагу и читает. Антоша вновь не может удержаться и прыскает. Кувшинников смотрит на него с изумлением.

Это очень любопытно...

Артамонова. Antoine! mais vous allez vous attirer une histoire, mauvais sujet![47]

Антоша. Маман! позвольте мне выйти в швейцарскую!

Артамонова. Restez ici et n'osez pas rire![48]

Кувшинников (Кузнееву). Поняли?

Кузнеев. Темновато несколько.. однако, отчего же-с... понять можно-с... (Тыкает пальцем в бумагу.) Вот тут бы.. вот тут бы.. одно только словечко.. самое, знаете, маленькое.. чтоб только, знаете, вид дать... (Показывает первым и указательным пальцем нечто действительно очень маленькое.)

Кувшинников. Представьте себе, я сряду три дня читаю.. даже в пот бросает...

Антоша внезапно убегает из комнаты, закрывши рот рукою.

(Артамоновой.) Сударыня! я, кажется, не подал никакого повода вашему сродственнику...

Артамонова. Извините, капитан, это с ним без всякой причины бывает. (К чиновнику.) Посмотрите, мой милый, что там с ним делается?

Чиновник уходит, выражая при этом самую любезную готовность служить.

СЦЕНА V

Те же и дама под вуалью.

Дама (встречая чиновника в дверях). Позвольте узнать, мсье, где здесь можно подождать генерала?

Чиновник. В этой комнате, сударыня.

Дама. Как? здесь? ах, как это странно! (Отходит в сторону и садится.)

Артамонова (в сторону). Чему же она удивляется, однако?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
СЦЕНА VI

Те же и Пересвет-Жаба (входит с письмом в руках; смотрит на всех благосклонно и любезно улыбается). За ним входит и чиновник.

Артамонова (в сторону). Вот и еще кого-то принесла нелегкая! хоть бы принял поскорей, развязал бы уж, что ли! (Чиновнику.) Ну что, мой милый?

Чиновник. Они сейчас пожалуют-с.

Артамонова. Благодарю вас, голубчик.

Пересвет-Жаба (чиновнику). Нельзя ли доложить генералу, что ротмистр Пересвет-Жаба приехал!

Чиновник. Они сейчас выйдут-с.

Пересвет-Жаба. С письмом от Матрены Ивановны... вероятно, генералу угодно будет принять меня особенно...

Чиновник. Они кушают чай-с.

Пересвет-Жаба. А! ну это другое дело! (Окидывает всех ласковым взором.) Конечно, чай такое занятие, которое прерывать не следует! (Садится неподалеку от дамы с вуалью.)

Воцаряется молчание, которое длится несколько минут. Антоша возвращается и садится около матери, которая ему выговаривает.

(К даме с вуалью.) Вы, конечно, с просьбой к генералу, сударыня?

Дама (оправляя вуаль, чуть слышно). Да-с.

Пересвет-Жаба. Да, надо правду сказать: нынче уж век такой наступил, что всякому чего-нибудь хочется.

Дама. Я не всякая-с.

Пересвет-Жаба. Помилуйте, сударыня, зачем же так понимать мои слова? Я не смею и думать-с... я вообще... я к тому это сказал, сударыня, что век наш вообще имеет направление практическое...

Артамонова. Я думаю, однако, что и в прежнее всякому чего-нибудь хотелось.

Пересвет-Жаба. Не смею с вами спорить, сударыня, но все-таки, если вам угодно будет сравнить недавнее прошедшее с нашим настоящим, вы сами удивитесь, сколько мы в какие-нибудь пять лет прожили! Пылливость ума какая-то... пароходы... акционерные компании... Нет, как хотите, а это шаг!

Вновь воцаряется молчание.

Приятно жить в такую эпоху, сударыня! Приятно чувствовать, как все это кругом обновляется, молодеет! Начну, например, с себя: конечно, я человек со средствами, мог бы существовать независимо... наслаждаться природою... увлекаться с любимым писателем в страны воображения... однако нет! В воздухе, знаете, что-то такое... так вот и подталкивает: действуй, действуй и действуй! (Махает руками.)

Кузнецов (умильно). Даже мы, старики, и мы это чувствуем, господин ротмистр!

Пересвет-Жаба (смотрит на Кузнецова ласково). А что вы думаете, ведь это правда! У меня сосед по имению есть, лет уж осьмидесяти старик... ну и паралич тоже... осьмой год недвижим лежит... а и он наперед говорит: «Пожил бы, Станислав Казимирович, еще вот как пожил бы!» Эпоха такая!

Артамонова. Ну, пожить-то и во всякую эпоху хочется!

Пересвет-Жаба. Не смею с вами спорить, сударыня, но все-таки позволю себе продолжать думать, что в настоящей эпохе есть именно что-то живительное, возбуждающее. (Нюхает в воздухе.) Конечно... жить... то есть пользоваться земными

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru благами... (скороговоркой) попить... поесть хорошего... конечно, такое желание законно во всякое время; но согласитесь, что в прежнее время не было ни этой пытливости, ни этой полноты, ни этого жару... а это великая вещь, сударыня! Всякому, знаете, хочется применить, провести что-нибудь... убеждение какое-нибудь эдакое... Я даже так полагаю, что со стороны человека, который имеет убеждения, было бы непростительно не выступить с ними на поприще гражданственности!

Кувшинников (в сторону). Эхма! кабы все это да в просьбу вклеить!

Пересвет-Жаба. Скажу опять-таки про себя. Я человек независимый, имею хорошее состояние, следовательно, мог бы, по-видимому, жить, ни в ком не нуждаясь. Однако я чувствую, что это было бы с моей стороны непростительно... даже подло... и вот я готов! (Декламируя.) Приветствую тебя, век пытливости! век изобретательности ума! век железных дорог и телеграфов!

Кувшинников (в сторону). Ахти-хти! и я бы готов, да этот чертов сын стракулист, кажется, всю просьбу испакостил!

Кузнецов. Это справедливо, господин ротмистр, что на зов отечества всякий из нас свою лепточку... (Делает крошечное движение рукой.)

Пересвет-Жаба. И возьмите, сударыня, что во всем это так... во всем это движение, эта жизнь! Начнем с нашего благонамеренного, нашего истинно благодушного начальника. Скажите на милость, когда же была видна такая заботливость, такое истинное христианское попечение обо всем? Чтоб все это было хорошо, чтоб все это благословляло, все радовалось... чтоб помещик был доволен, чтоб мужичок был счастлив... согласитесь, что никогда? Поверите ли вы мне, я даже в губернский город лет десять не ездил – так все это было противно! И вдруг теперь приезжаю – какое приятное изумление! Мостовая везде с иголочки... там бульварец... тут театрик... не тряхнет нигде... просто даже странно после прежнего безобразия! Нет, как хотите, а он не бюрократ! Он дворянин! именно дворянин! Есть в нем эта сила, это что-то неуловимое, это... это...

Кузнецов. Осмелюсь доложить, господин ротмистр, что был здесь, лет тридцать тому назад, начальником Федор Петрович Фютяев... тоже и театров и бульваров – страсти сколько настроили! а после них поступили генерал Вислоухов, и все это опять уничтожать начали!

Пересвет-Жаба. Да?

Кузнецов. Точно так-с. А Федор Петрович именно прямой начальник были! И так это строго себя против всех держали, что даже смотреть на них внушительно было!

Пересвет-Жаба. Ах, да не то! да не в строгости тут сила, милостивый государь! Тут просто что-то неуловимое... как бы это вам выразить? «Ну, сделай это, топ cher!»[49] – и всякий сделает с удовольствием.

Кузнецов. Конечно-с, мерами кротости... это так! Однако осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, что с купцами не всегда это удобно. Пойдут это у них сказы да рассказы, да отговорки разные – ну, а начальству не всегда досужно бывает.

СЦЕНА VII

Те же, Уколкин и Накатников (входят очень шумно и вообще выказывают развязность самого лучшего тона; одеты пестро; часто между собой перемигиваются, указывая на прочих соискателей).

Уколкин (чиновнику). В каком положении начальство?

Накатников. То есть в «положении» или уж в «состоянии»?

Уколкин. Јо!і! [50]

Чиновник. Чай кушают-с.

Уколкин. А импресарио?

Чиновник. Прошли к ним-с.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Уколкин. Ну, волоките его сюда; скажите, что Тамберлик и Кальцоляри ждут... jolі?

Накатников. Да вы не переврите: не скажите: «трубочист и канцелярия»...

Уколкин. Jolі!

Чиновник. Сейчас-с. (Уходит.)

Уколкин (вполголоса, подмигивая на прочих действующих лиц). Катнем?

Накатников. Вальнем!

Уколкин. Как... как... как это ты давеча сказал: «вот он-он»?

Накатников. С пальцем девять, с огурцом пятнадцать, наше вам-с!

Уколкин. Charmant![51]

Артамонова (в сторону). Это, прости господи, что еще за скоморохи ввалились?

Пересвет-Жаба (очевидно заигрывает с Уколкиным и Накатниковым). Вот хоть бы взять, например, нынешнее молодое поколение... Скажу откровенно: я тоже был молод, и тоже в свое время не последнюю роль играл, однако, нет... не то! Не было, знаете, этого дельного взгляда, не было этого изящества, этой волшебной простоты, которая так очаровывает в нынешнем молодом поколении!

Уколкин (вполголоса Накатникову). Гм... однако этот антрепренер не дурак!

Накатников. У него аппетит очень силен... jolі?

Кузнецов (подходя к Накатникову). Позвольте, Семен Петрович! вы, кажется, не изволите узнавать меня... Кузнецов, Хрисанф Степанов.

Накатников. Боже! да это, кажется, тот самый Кузнецов, который...

Кузнецов. Именно, Семен Петрович, тот самый...

Накатников. Знаменитый Кузнецов!

Уколкин. Достославный Кузнецов!

Кузнецов (Уколкину). И вас тоже, Петр Николаич, имею честь знать... Точно-с, мы, как бы сказать, люди темные: куда нам с образованными людьми компанию вести! Однако и мы тоже слышим!

Уколкин. И много лестного слышите?

Кузнецов. Столь много, Петр Николаич, что, кажется, если бы у меня был такой сын, то я именно почел бы себя счастливым!

Накатников. А у вас сын разве очень плох?

Кузнецов. Я совсем не имею сына, Семен Петрович!

Накатников. В таком случае я понимаю! Достославный Кузнецов, томясь жаждой родительской любви, желает усыновить нас! Папаша! позволь облобызать тебя!

Уколкин. Бесценный родитель! позволь придушить тебя в объятиях сыновней нежности!

СЦЕНА VIII

Те же и Бирюков; за ним дежурный чиновник.

Бирюков выходит из внутренних апартаментов; Уколкин и Накатников немедленно устремляются к нему; Пересвет-Жаба встает и расшаркивается; лицо Кузнецова принимает выражение человека, на всю жизнь осчастливленного; Кувшинников держит руки по швам; дама с вуалем беспокойно подергивается на стуле; мадам Артамонова взирает с любопытством и делает знак Антоше, чтобы он поправился. Бирюков,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
высокий, румяный и плечистый молодой человек, гладко выстрижен, слегка картавит, держится прямо и вообще всей складкой выражает некоторое подобие английскому джентльменскому типу, в противоположность Уколкину и Накатникову, в приемах которых видно нечто, напоминающее французов-куаферов.

Бирюков. А, солисты! (Жмет им руки.) Который же из вас Тамберлик?.. mais savez-vous que le généra! a beaucoup ri![52]

Уколкин. Joli? не правда ли? Ведь это я выдумал! едем мы сюда, а я и говорю Накатникову: знаешь что, Simon? велим об себе доложить: Тамберлик и Кальцоляри?

Накатников. Ну, а как же там-то, Сеня? (Показывает глазами наверх.) Вальнем?

Уколкин (перебивая его). А то вчера вечером идем мы в клуб, и вдруг нам навстречу мужик: «Вот он-он!» – кричит; а Накатников ему так, знаешь, равнодушно: «С пальцем девять, с огурцом пятнадцать – наше вам-с!» Да ты понимаешь? с пальцем девять... понимаешь? И так, знаешь, равнодушно... délicieux![53]

Бирюков смеется.

Накатников. Ну да полно же, Уколкин! Так как же, Сеня, – вальнем?

Бирюков (вполголоса). L'affaire est baclée.[54]

Уколкин и Накатников жмут ему руки.

Уколкин. Сеня! Vous avez un noble coeur![55]

Накатников. Сеня! Vous avez bien mérité de la patrie![56]

Бирюков (ласково). Шуты! перестаньте! l'on va descendre à l'instant![57]

Уколкин. А нам нужно ждать?

Бирюков. Нет, вас Анна Ивановна обедать зовет. Je vous dis que c'est une affaire arrangée.[58]

Уколкин. Нет, да ты пойми, Сеня, какую ты вещь устроил: ты, я, Накатников... et Mokrotnikoff pour président...[59] Да ведь мы вчетвером такой концерт...

Бирюков. Будет еще пятый.

Уколкин. Кто же?

Бирюков. Маленький князек.

Уколкин. Соломенные ножки? Ну что ж, это ничего: он будет у нас вместо флейточки! Ну, а в других уездах как?

Бирюков. Un choix admirable.[60] Анна Ивановна шутя говорит, что у нее следующей зимой составит un quadrille des myrovoys.[61]

Уколкин. Mais quelle femme séduisante![62]

Накатников. Гм... в старину были телеса...

Бирюков. Молчи ты, шут гороховый! Вот зададут тебе «телеса»!

Уколкин. Да! à propos:[63] чуть-чуть не позабыл... позволь рекомендовать тебе родителя!.. Достоправный Кузнецов! ползите сюда!

Кузнецов. Петр Николаич шутят-с. Однако я очень рад-с. (Подает Бирюкову руку, которую тот не берет.)

За дверьми слышится шум.

Бирюков. Тсс... сам! Убирайтесь!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Накатников и Уколкин скрываются; слышится: «Au revoir!», «Au plaisir!»[64] и проч.

СЦЕНА IX

Те же и Зубатов (румяный и бодрый старик; держит себя по-военному; глаза голубые; нос большой; густые бакены с проседью; привык повелевать и потому часто делает попытки перейти в ругательный тон, но, вспомнив о существовании благодетельной гласности, сдерживает себя). Повторяется та же сцена, что и при появлении Бирюкова, но в усиленном градусе.

Зубатов (подходя к Артамоновой). Чем могу быть полезным, сударыня?

Артамонова. Permettez-moi de vous recommander mon fils, général... Antoine! faites donc votre révérence au général![65]

Зубатов (несколько изумлен). Очень рад, очень рад! но в чем же дело, сударыня?

Артамонова. Mon général...

Зубатов (мало-помалу багровеет). Позвольте вас просить объясняться по-русски, сударыня.

Артамонова. Я приехала, генерал, рекомендовать вам моего сына на одно из новых мест.

Зубатов. А ваш сын где кончил воспитание?

Артамонова. Мой сын воспитывался дома, и я сама наблюдала, чтобы внушить ему самые строгие правила, генерал.

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! Но нам необходимы люди, кончившие курс в высших учебных заведениях!

Артамонова. Однако согласитесь, генерал, что это тирания!

Зубатов. Очень соболезную! И даже соглашаюсь с вами отчасти; но таковы намерения высшего начальства, а я... я раб, сударыня! то есть, я хочу сказать: я раб своего долга!

Артамонова. Однако это странно...

Зубатов. Что ж делать, сударыня! Я сам не всегда понимаю... и вполне сочувствую вашему материнскому горю, но проникать в высшие намерения не почитаю себя вправе...

Артамонова. Итак, мы не можем питать никакой надежды?

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! (Подходит к даме с вуалью.) Чем могу служить, сударыня?

Дама (подняв вуаль). Мой муж служит на Кавказе, ваше превосходительство...

Артамонова (перебивает). Но, быть может, для сына моего сделают исключение, генерал?

Зубатов (очень любезно, но уже весь багровый). Может быть-с, может быть-с... не знаю, сударыня... очень рад буду за вашего сына!

Артамонова. Потому что если бы Antoine, по молодости, и не смог чего сделать, то я, как мать, могу ему помочь! Я пятнадцать лет вдовою и двадцать лет управляю имением, генерал!

Зубатов. Очень понимаю, сударыня! но что ж прикажете делать? я раб... то есть, я хочу сказать: раб своего долга!

Дама с вуалью. Мой муж служит на Кавказе, ваше превосходительство... (Останавливается.)

Зубатов. Что ж прикажете, сударыня?

Дама (некоторое время молчит; потом застенчиво, почти плача). Я позабыла-с.

Зубатов (снисходительно). Постарайтесь вспомнить, сударыня... ну, например, что б такое? ну, например... быть может, супруг ваш места ищет...

Дама (повеселев). Точно так! точно так! новые места! новые места!

Зубатов. Ваш супруг помещик здешней губернии?

Дама. Никак нет-с, ваше превосходительство, мы не помещики-с.

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! но нам необходимы именно помещики, и именно здешней губернии!

Да м а. Так это переменить невозможно?

Зубатов. Я не полагаю-с. Конечно... быть может... в воздаяние заслуг... нет правил без исключений...

Дама. Мой муж мне именно пишет, что потребуется строгость, и что он, как военный...

Зубатов. Очень соболезную, очень соболезную, сударыня, что должен лишиться такого полезного сотрудника, но что ж делать? предписания закона ясны, тверды и положительны!

Дама (несколько подумав). Ваше превосходительство! нам бы эти полторы тысячи...

Зубатов. Что ж делать, что ж делать, сударыня! Я имел уже честь объяснить вам, что слова закона ясны, тверды и положительны!

Дама. Очень вам благодарна, ваше превосходительство! (Закрывает лицо вуалем и выходит.)

Артамонова. Как вы думаете, генерал, если я напишу к графу Ивану Никитичу... Это будет хорошо?

Зубатов. А вы коротко знаете графа?

Артамонова. Гм... не то чтоб коротко, а так. Я однажды с ним в одном вагоне по железной дороге ехала.

Зубатов (почти посинел от злости, но еще сдерживается; еще минута, и обругает). Гм... да... это будет не дурно!

Артамонова. Да вы поймите, генерал, что нам, с нашим влиянием в уезде, с нашим состоянием, остаться ни при чем...

Зубатов (вышел из себя и издает только бессложные звуки). Ффф... ззз...

Артамонова (сначала смотрит на него с изумлением, потом пугается). Antoine! allons-pous en! allons-pous en![66] (Быстро убегает с сыном.)

Пересвет-Жаба (подавая письмо, вкрадчивым голосом). От Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Зубатов (видимо встревоженный побегом госпожи Артамоновой и мыслью, что она может прибегнуть к благодетельной гласности). Что вы хотите сказать этим, милостивый государь? (к Бирюкову.) Семен Петрович! эта дама... успокойте!

Бирюков выходит; из передней слышится: «De grâce, madame...», «mais non, il nous battra!»[67] и т. п. По боковым подергиваниям, которые овладевают Зубатовым, видно, что его сильно подмывает выйти в переднюю.

Пересвет-Жаба (вразумительно). От Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Зубатов. Я вас спрашиваю, что вы хотите этим сказать?

Пересвет-Жаба увядает; Кузнецев видимо намеревается улизнуть; входит Бирюков.

Бирюков. Cette dame retournera demain à pareille heure.[68]

Зубатов. Благодарю. (Пересвет-Жабе.) Так вы говорили, что имеете письмо от Матрены Ивановны?

Пересвет-Жаба (расцветает). Точно так, ваше превосходительство. (Подает письмо.)

Зубатов (читает письмо). Очень жаль! очень жаль!

Пересвет-Жаба мгновенно увядает.

У меня все это уж организовано... люди подобраны... ждем только сигнала из Петербурга... очень жаль! очень жаль-с!

Пересвет-Жаба. Ваше превосходительство! Я в целом околотке известен своею строгостью!

Зубатов. Тем больнее для меня отказать вам. Потому что нам нужна строгость! (Видимо, желает прочесть лекцию о строгости.) Строгость – это, так сказать, главный нерв администрации! (Подходит к Кузнецеву.)

Пересвет-Жаба машинально облизывается.

Кузнецев (струсил и съехался). Позвольте мне уйти, ваше превосходительство!

Зубатов. Вы разве только поглядеть сюда пришли?

Кузнецев. Нет-с, я, ваше превосходительство, с просьбицей-с; только просьба-то моя, вижу, не дельная,

Зубатов. В чем же ваша просьба?

Кузнецев. Самая, ваше превосходительство, не дельная. Нет, уж увольте, ваше превосходительство! позвольте уйти!

Зубатов (давая ему дорогу, обидчиво). Я, государь мой, не держу вас!

Кузнецев уходит, наклонив голову, как будто ожидая удара.

Странно! это очень странно! (К дежурному чиновнику.) Вы, прежде нежели допускать просителей до меня, обязаны обстоятельно расспрашивать, об чем они просят.

Чиновник раскрывает рот, чтобы говорить.

Молчать! Семен Петрович! потрудитесь сказать Предпочтителюму, чтобы он вперед не присылал ко мне этого дурака на дежурство!

Чиновник (в сторону). Вот тебе и Анна Ивановна!

Зубатов (Кувшинникову). Вам что?

Кувшинников молча подает просьбу.

Извольте объяснить словесно, в чем заключается ваша надобность.

Кувшинников. Там все написано-с.

Зубатов (читает). Ничего не понимаю! положительно-таки ничего не понимаю!

Кувшинников. Желая получить место-с.

Зубатов. Нет места-с.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Кувшинников. Так нет места-с?

Зубатов. Нет места-с.

Кувшинников. И на два с полтиной нет-с?

Зубатов (изумленный, вращает кругом глазами). Что это такое? что это такое?

Бирюков (смеясь, вполголоса Зубатову). Il demande s'il ne pourrait pas être nommé comme candidat.[69]

Зубатов (поняв). А! (Кувшинникову.) И на два с полтиной нет места-с.

Кувшинников. Благодарю покорно-с! (Делает полуоборот налево и выходит.)

Зубатов (к Пересвет-жабе). А! вы еще здесь?.. Гм... так вы говорите, что вы строги?

Пересвет-жаба (расцветая). Весь наш уезд засвидетельствует вашему превосходительству. Смее уверить ваше превосходительство, что у меня все это останется по-старому!

Зубатов. Ну, хорошо! ну, хорошо! я вижу! Семен Петрович! (Неожиданно оборачивается спиной и уходит во внутренние комнаты, насвистывая дорогой: «Jeune fille aux yeux noirs!»[70])

Пересвет-жаба раскрывает рот от огорчения.

Бирюков. А это значит, что вам следует отправиться в канцелярию его превосходительства, к господину Предпочтительному... там есть механик такой: он вас запишет.

Пересвет-жаба задыхается от радости и хочет поцеловать у Бирюкова руку.

Mais finissez donc! mais finissez donc![71]

Занавес опускается.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

Сцена

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Андрей Иванович

Иван Андреич { Пожилые, оставшиеся за штатом действительные статские советники. Похожи друг на друга до смешного; не тощи и с виду добродушны. Андрей Иванович посolidнее и выше ростом; Иван Андреич ростом не велик и когда сидит на стуле, то не достает ногами пола.

Иван Андреич. Конечно, ваше превосходительство, кабы на место Семена Петровича Степана Ивановича, на место Василия Кирилыча Сергея Николаича, а на место Федора Федорыча Петра Григорыча...

Андрей Иванович (держа в зубах сигару). А Федора Федорыча куда ж?

Иван Андреич. Федора Федорыча можно бы в сенаторы-с... С сохранением, разумеется...

Андрей Иванович. С сохранением... н-да!.. это пожалуй...

Иван Андреич. Русское царство, ваше превосходительство, очень обширно; отчего Федора Федорыча не прокормить? Сколько теперича одних жидов прокармливают, железнодорожников, подрядчиков-с, а чтоб Федора Федорыча...

Андрей Иванович. Прокормить в состоянии.

Иван Андреич (заискивающим голосом, как бы намереваясь пощекотать Андрея Ивановича.) А на место бы Петра Григорыча...

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Андрей Иванович (перебивает его). Мечта одна!

Иван Андреич. Отчего же мечта-с? Ваше превосходительство в таких еще летах...

Андрей Иванович. Мечта одна!

Иван Андреич. А как бы дело-то пошло-с!

Андрей Иванович (распускаясь и скороговоркой). К концу месяца – чисто! ни единой, ни самодельного отношения... (Делая над собой усилие.) М-мечта одна!

Минута молчания.

Иван Андреич. Нынче, ваше превосходительство, все фантазии на службе пошли... ничего положительного нет-с...

Андрей Иванович. Правда.

Иван Андреич. Пошла в ход филантропия-с... протолериат-с...

Андрей Иванович. Пролетариат то есть.

Иван Андреич. Мы, бывало, в неизвестное-то не пускались-с. Видишь по бумагам, что коллежскому секретарю время на титулярные приспело – ну и пишешь: «аксиос».

Андрей Иванович. То есть не «аксиос», а «внести в общее присутствие».

Иван Андреич. Ну, конечно. Нас, ваше превосходительство, воображениям-то не учили... с нас дела спрашивали...

Андрей Иванович. Это так.

Иван Андреич. А нынче «титулярного-то советника» – в сторону-с... все норовят, как бы в «уничтожение чинов» ударить!

Андрей Иванович (глубокомысленно). Оно к тому идет.

Иван Андреич (хихикая). Стало быть, ваше превосходительство, таким манером у нас, в департаменте, какой-нибудь коллежский секретарь директором сделаться может?

Андрей Иванович (усиленно выпуская дым). Оно к тому идет.

Иван Андреич. Ну, это уж очень что-то забавно будет!.. Я думаю, наши-то, департаментские, так и прыснут, как он войдет этак фертиком в департамент?

Андрей Иванович. Не прыснут!

Иван Андреич. Да нет-с, после этого, ваше превосходительство, и сторож Михай надежды иметь может...

Андрей Иванович. Ну, этот еще погодит.

Иван Андреич. А что ж, ваше превосходительство, нынче и эту идею подать можно... право-с! (Хихикая.) Нынче эти новости вот как любят! Только презабавно, презабавно это будет; войдет это Михай, да вместо портфеля-то – щетка в руках...

Андрей Иванович. Этого-то еще не будет, а что коллежский секретарь будет директором, так это верно.

Несколько минут молчания, в продолжение которых Иван Андреич сидит смущенный, а Андрей Иванович скрещивает ноги и смотрит на собеседника с торжеством, как бы говоря ему: «Да, брат, и я либерал! А ты что думал!»

Иван Андреич (в раздумье). А ведь как поразмылишь, так это именно правда, что оно к тому идет.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Андрей Иванович. К тому.

Иван Андреич. Везде-с... по всем ведомствам-с... Возьмем, например, почтовое ведомство-с... Уж какое было, кажется, смиренное: муха, бывало, пролетит, и то слышно... И вдруг-с: сперва штемпельные куверты, а потом и этого мало показалось – марки выдумали!

Андрей Иванович. Выдумали.

Иван Андреич. А кому, кажется, какое зло штемпельный куверт сделал?

Андрей Иванович. Совершенно никому.

Иван Андреич. Или вот дом-с. Надоело, что по фамилиям называются, все это старо, извольте видеть... Что ж! переформировали и это-с! Нумерами какими-то окрестили – налево чет-с, направо нечет-с...

Андрей Иванович. Смотреть скучно!

Иван Андреич. Идешь иногда по улице, видишь все это разрушение... даже вздохнешь потихонечку-с.

Андрей Иванович. Все комитет о сокращении переписки сделал.

Иван Андреич. Н-да-с, этот комитет, доложу вам... Ведь какое, кажется, место, даже и не место совсем, а просто как бы сказать... комитет-с!.. А сколько яду пролил!

Андрей Иванович. Даже остроты ума никакой нет. Вот губернаторам разрешили: под бумагами полной фамилии не подписывать, а только одни буквы начальные.

Иван Андреич (вздыхнув). Заварили кашу!

Андрей Иванович. Каково-то будет расхлебывать!

Иван Андреич. Расхлебать-то бы еще можно, а главное, ваше превосходительство, слуг хороших нет!

Андрей Иванович. И то правда.

Иван Андреич. То есть, таких слуг, как в наше время были, чтоб за начальство в огонь и в воду, чтоб и написать могли, и поправить бы могли, и отношения эти понимали бы... кому и как. Словом, чтоб все это шито да крыто было...

Андрей Иванович. Да, были мастера!

Иван Андреич. Уж такие мастера, что в нынешнее время даже постичь трудно. Помните ли, например, ваше превосходительство, как обер-полицеймейстер к нашему графу бумагу прислал, что такого-то числа найден на улице без чувств лежащий человек, назвавший себя чиновником Лепехиным? Помните ли, как мы в ту же минуту отвечали, что такого чиновника в нашем ведомстве не состоит, а между тем этого Лепехина задним числом из службы выключили?

Андрей Иванович. А помните ли вы, как у нашего графа князь Р. мнения по делу Тепицына спрашивал?

Иван Андреич. Помню, помню!.. Еще мы ему отвечали, что наше мнение то же, что и по делу Чурилова... Помню!

Андрей Иванович. И как он к нам потом приставал, что обстоятельства сих двух дел совершенно различные, а мы ему в ответ все одно да одно: ответствовано, дескать, тогда-то, за номером таким-то!

Иван Андреич. Ха-ха!

Андрей Иванович. Да, были мастера! Были... да сплыли.

Иван Андреич. Оно и нынче, ваше превосходительство, не мудрено бы... Все эти марки, номера... Можно бы ко всему привыкнуть... Только вот слуг нет!

Андрей Иванович. Нет. (Задумывается и вздыхает.)

Иван Андреич (после нескольких минут молчания). Вот и нас с вами, ваше превосходительство...

Андрей Иванович. Сократили.

Иван Андреич. А мы могли бы еще послужить, ваше превосходительство.

Андрей Иванович. И очень.

Иван Андреич. Вашему превосходительству и всего-то пятьдесят с небольшим!

Андрей Иванович. Да и вашему превосходительству не больше шестидесяти...

Иван Андреич. Мы еще много полезных вещей могли бы сделать, ваше превосходительство!

Андрей Иванович. Да, мы бы... тово...

Иван Андреич. Возьмем хоть инспекторскую часть: сколько бы тут граф новых можно было поделать! Или еще: приказы издаются нынче по ведомствам, а можно бы, сверх того, издавать их и по алфавиту...

Андрей Иванович. Полезно.

Иван Андреич. Иной, ваше превосходительство, не знает, в каком ведомстве служит лицо, его интересующее, а по алфавиту его в одну минуту отыскать можно.

Андрей Иванович. Удобство большое!

Иван Андреич. И удобство-с, а главное, что для всех безобидно...

Андрей Иванович. Это главное.

Новое молчание, в продолжение которого Иван Андреич хочет что-то сказать, но некоторое время не решается.

Иван Андреич (заискивающим голосом). А что, ваше превосходительство, если действительно оправдается слух этот самый, что вас на место Петра Григорьича?

Андрей Иванович (повертываясь на стуле от внутреннего довольства). Разве слух есть?

Иван Андреич. Ходит, ваше превосходительство, ходит.

Андрей Иванович (тревожно). Разве сказывал кто?

Иван Андреич. Как же-с, ваше превосходительство, как же-с! Давеча иду я по Гороховой (я нынче от нечего делать моционом больше занимаюсь), и вдруг это, из-за угла, навстречу мне Гаврило Петрович...

Андрей Иванович. Гаврило Петрович? Он, кажется, благонамеренный?

Иван Андреич. Отличный человек-с! Ни про кого, кроме приятного, ничего не скажет! А уж как ваше превосходительство уважает, так даже захлебывается весь-с!...

Андрей Иванович. Надо иметь в виду... Ну-с!

Иван Андреич. Ну-с, встречается со мной Гаврило Петрович. «А слышали, говорит, ведь Андрея-то Иваныча на место Петра Григорьича хотят назначать? А мы, говорит, думали, что у нас уж и департамент-то весь прахом пошел!»

Андрей Иванович (подумавши). Что ж, я послужить не прочь!

Иван Андреич. А уж для службы-то было бы как полезно!.. Уж так полезно! так

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru полезно! Без лести вашему превосходительству доложу!

Андрей Иванович (повеселев). Ну, уж и вы тогда на меня не пеняйте, Иван Андреич! Я ваше превосходительство опять на свежую воду выведу! В вицы, сударь, ко мне, в вицы! Вот мы, сударь, как вас!

Иван Андреич (внезапно покрываясь маслом). Что ж, ваше превосходительство!.. И я от трудов не прочь!

Андрей Иванович. Славно мы заживем!

Иван Андреич. Главное, ваше превосходительство, что единомушие будет... Потому что у меня, ваше превосходительство, и ухо, и око, и все, так сказать... Это как перед истинным богом-с!.. Потому что, при исполнении служебных обязанностей, и душа и тело – все это не мое, а начальниково-с. Вот я как себя понимаю!

Андрей Иванович. Это... основательно!

Иван Андреич. А по тому самому я и позволяю себе думать, что если бы на место Петра Григорыча назначили ваше превосходительство – эта часть большому бы подверглась преуспеянию!

Андрей Иванович. Да, я бы... тово!

Иван Андреич. Возьмем хоть инспекторскую часть... Сколько тут доброго можно сделать!

Андрей Иванович. Да, я бы... тово...

Иван Андреич. Или вот насчет определений и увольнений... Ведь это теперь, ваше превосходительство, в младенчестве...

Андрей Иванович. Да, я бы... тово... Я бы все это двинул.

Иван Андреич. У вас бы, ваше превосходительство, не зазевались!

Андрей Иванович. Надо так полагать!

Иван Андреич. Одним словом, ваше превосходительство, только бы это устроилось, а уж мы бы... (Махает рукой и задумывается.)

Андрей Иванович тоже некоторое время рассеянно пускает кольца дыма.

Оба встают.

Вместе (к публике). Да, мы бы... мы бы... (Скороговоркой и решительно.) Да, мы бы... тово!

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

(Посвящается любителям отечественного просвещения)

Май у нас нынче особенно душист и радобен. На воле, за городом, так хорошо, свежо, нарядно и благоуханно, что, кажется, век бы не вышел оттуда. Поля в ином месте уже покрыты сильными зелеными, в другом еще сверкают черноватыми полосами только что взрыхленной земли, деревья одеты довольно густою, но еще молодой, искрасна-зеленою листвою, воздух влажен и весь проникнут испарениями нежащейся на весеннем солнце земли; в синем небе не видно ни облачка, и все оно словно играет, словно сверкает, но не тем давящим сверканием, каким бывает облитое знойное июльское небо, а каким-то мягким, ласковым, радостным, точно милое, улыбающееся лицо ребенка, только что освеженное студеной водою; в пространстве волнами ходят звуки, бог весть откуда и кем заносимые; радостные и торжествующие, они сплошным гулом стелются по земле, словно сама всецелая природа в этих звуках стонет под бременем внутренней силы и ликования. И неизвестно, посредством какого тайного процесса все это ликование, все это цветение, вся эта сила, звучность и ясность вдруг переходят внутрь человека, и делается ему так легко, так хорошо жить на свете, что даже душа как будто играть начинает... право!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Зато картина пустеющего города с каждым днем делается печальнее и печальнее. Замер последний звук польки, разыгранной усердным оркестром гарнизонного батальона, замерли балы, пикники, рауты и катанья; замерли таинственные речи более или менее любовного содержания, нашептываемые ловкими канцеляристами и обольстительными юристами училища правоведения во время кадрилей и мазурок; белая, едкая пыль густою стеною стоит на улицах; дорожные экипажи различных видов и свойств то и дело снуют по направлению к заставе, унося своих обладателей куда-то далеко-далеко, на лоно неумирающей природы и умирающего крепостного права; все суетится, все рвется вон из города.

Замерли и начатки нашего красноречия.

Да, и у нас оно выросло, это пресловутое древо красноречия, которым до сих пор мы любовались лишь издали; и у нас, под прохладною тенью его, уже многие приобрели для себя мир душевный и невозмутимость сердечную; и у нас, *dieu merci*, [72] боярин Сергей, насытившись вдоволь разъедающими речами раба божия Павла, может в веселии сердца своего воскликнуть: «Ах, черт возьми, кто бы мог думать, что у нас явятся такие ядовитые бестии!.. да ведь это *Jules Favre pur sang!*» [73] (только видимый с затылка, прибавлю я от себя), – да, и мы, наконец, с законною гордостью можем сболтнуть изумленной Европе, что в наших

...parages

Le doux ramage [74] –

уже не мечта разгоряченного воображения, а настоящая, истинная истина!.. И если вам, о любители отечественного просвещения! доселе остается неизвестным сей достопримечательный факт, то это происходит оттого, что вы слишком охотно рассуждаете о свойствах буквы ижицы и из-за ижицы не замечаете обновляющейся России.

Что до меня, то я сам его видел, сам убедился в существовании этого милого растения, называемого древом красноречия, и, если хотите, могу даже сообщить вам «краткое» описание его. Почва, в которой лежат его корни, болотиста и злокачественна; ствол его жидок и тонок, но верхушка объемиста, и если не густа, то космата; листья бледны и бессочны, но снабжены колючками, которые если не наносят положительного вреда, то производят в субъекте, к ним прикасающемся, чесотку и волдыри. Вообще, это дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное. При малейшем дуновении ветра оно всей своей растрепанной массой приклоняется к земле и рабски-болезненно притом стонет. «Я безвреден! я безвреден! – слышится в этом жалобном стоне, – меня можно бить, и потому незачем убивать!» И ветры все дуют да дуют, а дерево все живет да живет, как будто для того, чтоб доказать нелепую мысль, что и в мраке есть свет и в смерти есть жизнь.

Приятель мой Иван Педагогов, великий охотник до всякого рода словоизвержений, едва лишь издали завидел вершину этого дерева, как уже не в силах был воздержаться необузданность своего сердца, преисполненного благими намерениями и бескорыстнейшими побуждениями. Он вдруг, без всякой побудительной причины, уподобился укушенному шакалу, начал соваться и бегать и в заключение стиснул меня в своих объятиях, в которых, однако ж, я, в качестве наблюдателя, не мог не заметить сильного присутствия реторики. «Любезный друг! ты делаешь сочинение на тему: «Восход солнца!»» – думал я, покуда он задышающимся от искусственного волнения голосом декламировал передо мной: «О, как мы должны радоваться, как мы должны гордиться тем, что дожили до такого момента! Друг мой! если бы да к этому на место Петра Петровича назначили Федора Федоровича, то нет сомнения, что обновление нашего любезного отечества можно было бы считать совершившимся!» После этой речи мы оба заплакали, заплакали гнусными, деланными слезами, и я до сих пор не могу отделаться от тяжести, которая легла на мое сердце от этих неприличных слез.

Появление на нашей почве древа красноречия тем более должно было поразить, что до сих пор мы думали, что ораторское искусство не может быть добродетелью россиян. Предки наши занимались возделыванием земли, утучняли стада свои, были гостеприимны и благодущны, сидели большею частью «уставля брады», когда же хотели солгать, то приговаривали только: «да будет мне стыдно», и затем были уже совершенно уверены, что любезный собеседник обязан принимать слова их за чистую монету. Вот свидетельство, оставленное нам историей. Сверх того, известно, что россияне с успехом занимались приготвлением многообразных сортов меда, но, во всяком случае, в числе этих сортов никогда не значилось меда красноречия.

Очевидно, что при таком земледельческом, скотоутучняющем характере цивилизации страсти к словоизвержениям не могло быть дано много места. «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами», гласит нам мудрость веков; а «Пчѣлы» да «Измарагды» прибавляют: «Человеку даны два уха, чтоб слушать, и один язык, чтоб говорить».

И действительно, отцы наши говорили или чересчур сжато, или же хотя по временам и размазисто, но больше наполняли свои речи украшениями и учтивостями вроде: «тово», «таперича», «тово-воно как оно», «с позволения сказать» и т. д. В подкрепление моей мысли позвольте мне представить вам несколько образцов этого древнего, коренного нашего витийства.

Красноречие Марса. «Не рассуждать! руки по швам!» При этом, гласит предание, нередко случалось и так, что Марс, вместо слов, ограничивался простым рычанием, что, без сомнения, представляет самую сжатую форму для изъяснения чувств и мыслей.

Красноречие сельское. Но об этом виде красноречия я много распространяться не стану: оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: «чюки-чюк! чюки-чюк!».

Красноречие бюрократическое. «Да вы знаете ли, милостивый государь? да как вы осмелились, государь мой? да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гонял!»

Красноречие торжественное, или, так сказать, обеденное. «Очень рад, господа, что имею случай... тово... Это таперича доказывает мне, что вы с одной стороны... чувства преданности... ну и прочее... а с другой стороны, и я, без сомнения, не премину... от слез не могу говорить... Господа! за здоровье Крутогорской губернии!»

Одним словом, пользуясь указаниями опыта и бывшими примерами, мы имели полное право догадываться, что у нас скорее может процветать балет, нежели драматическое искусство.

И вдруг мы задумали отречься от преданий, завещанных благоразумными отцами нашими, и в юношеском восторге забыли даже пословицу: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Мы, весь свой век твердившие: «А вот поговори ты у меня, так узнаешь, как кузькину мать зовут», мы, проливавшие слезы умиления при одном слове «безмолвие», которым грады и веси цветут, – мы... вдруг почувствовали, что у нас одно ухо, чтоб слушать, и два языка, чтоб говорить, и что пирог, который мешал нам свободно разевать рот, съеден весь без остатка... Да полно, мы ли это?

Н-да, это мы.

В одно морозное, светлое ноябрьское утро мы проснулись и без всякой причины ощутили в себе нечто в высшей степени странное. Как будто вокруг нас что-то изменилось: и простор сузился, и пригорочки на ровных местах появились, как будто в нас нечто оборвалось, как будто и извне и изнутри что-то, в одно и то же время, и покалывает, и тревожит, и возбуждает, и смущает нас. Добро бы еще это случилось весной, когда, по пословице, и щепка щепку обнять желает, а то, рассудите сами, на дворе осень, глубокая, темная осень, а в нас происходит явление чисто весеннего свойства! И в то же самое время (должно полагать, вследствие общего ненормального состояния организма) в оконечностях языка почувствовали мы нестерпимое раздражение... «Папаса, хацу гавалить!» – сказали мы. «Говори, друг мой!» – отвечали нам.

Какая же причина столь внезапного явления? Что заставило нас заменить наше прежнее необузданное молчание столь же необузданною болтовнею?.. Хотя отвечать на этот вопрос довольно трудно, однако попытаюсь.

Ближайшие исследования дают повод думать, что первую и главную побудительную причиной было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным послушанию воле начальства?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Разрешение этих скромных вопросов вовсе не так легко, как это может показаться с первого взгляда. Я даже думаю, что для совершенно ясного их разумения необходимо перенестись на историческую почву, нужно принять в соображение *et cetera, et cetera*. [75] Как понимал, например, слово «дозволение» Гостомысл? какой смысл давали ему Рюриковичи? и прямо или перекосясь взирали на него Батыевичи? Но, вступая на историческую почву, я прежде всего должен откровенно признаться, что сведения мои о Гостомысле весьма слабы. Помню, что когда я был маленький, то с именем его в уме моем соединялась мысль о мраке времен, а с мыслью о мраке времен соединялось представление темного чулана, ключ от которого постоянно хранился у ключницы Акулины. А так как старая Акулина охотнее согласилась бы расстаться с жизнью, нежели поделиться с кем-нибудь драгоценным ключом, то мне оставалось сожалеть только о том, что чулан недостаточно велик, чтоб скрыть в своем мраке, кроме Гостомысла, еще десятка два лиц, которые, без ущерба для своей репутации, могли бы воспользоваться этим убежищем. Впоследствии я пришел в возраст; изучение истории продолжалось, но старую Акулину уже заменил почтенный наш публицист М. П. Погодин. Он также никому не поверял ключа от своего чулана, и я, вновь не имея возможности познакомиться с «мраком времен», по-прежнему негодовал на моего руководителя: зачем он не окутал подвальным туманом хотя удельный период, эту безалабернейшую тюрьму из всех недоенных тюрем, когда-либо хранившихся в подвалах и чуланах расчетливых русских хозяек. Итак, все, что я могу сообщить читателям о Гостомысле, заключается в том, что это был тот самый старичина, который разрешил своим одноплеменцам просить варягов в наши хлевы хлеба-соли откусать. Как будто сквозь сон мелькает перед глазами моими лубочная картина, виденная мною еще в том счастливом возрасте, когда Акулина была неразлучно спутницей моих исторических изысканий. Гостомысл изображен на ней лежащим на кровати (к сожалению, фамилия мебельного мастера, делавшего кровать, осталась неизвестною); вокруг него стоят, как водится, уставя бороды, в длинных парчовых мантиях, коварные царедворцы того времени, к которым маститый старец держит речь свою.

Внизу безобразнейшим шрифтом было изображено: «Гостомысл разрешает своим единоплеменникам призвать варягов из-за моря». Заучивши наизусть эту подпись, я был твердо уверен, что варяги были какие-нибудь благодетельные гении, вроде бывшего в то время в нашем городе городничего, беспрестанно слонявшегося по мясным рядам без всякой иной цели, кроме попечительного наблюдения, чтоб жителям не были продаваемы съестные припасы в испорченном виде. Каково же было мое удивление, когда я впоследствии из книг и наставлений нашего почтенного публициста узнал, что эти варяги только и делали, что жгли и грабили русскую землю; что они были не только непростительно невежливы с нашими дамами, но даже не давали себе труда попросить в своих невежествах извинения у их мужей; что они угоняли стада наши, бесцеремонно выпивали наш мед и, дергая наших доблестных предков за бороды, давали сим последним (то есть бородам) презрительное наименование мочалок! Известившись об этих неистовствах, я долго не мог прийти в себя от огорчения. «Что могло заставить, – восклицал я в мучительном беспокойстве, – что могло заставить наших предков внезапно забыть все оскорбления и стремглав броситься за море к варягам?» И я долго мучился бы этим вопросом, если бы с летами не стал твердо ногою на ту историческую почву, с которой мне сделалось ясным, как дважды два, что весь узел этой драмы заключается именно в слове «разрешение». Да; не «разрешаю» Гостомысл – и долго, быть может, не было бы порядка в земле русской, и долго, быть может, оставалась бы она только великою и обильною! И затем всюду, куда я потом ни обращался, бродя по дебрям и лесам нашей истории, всюду видел, что слово «разрешение» имело для нас такую магическую силу, от которой слабели не только умы, но и желудки наших предков. Вот Рюриковичи, разрешающие своим добрым подданным полянам колотить добрых подданных кривичей, а кривичам – добрых подданных радимичей. И все эти поляне, кривичи и радимичи не только не задают себе вопроса, откуда и на какой конец этот град колотушек, но, пользуясь данным разрешением, с бескорыстною отчетливостью тузят друг друга и по сусалам, и под микитки, и в рождество! Вот Батыевичи, любезно разрешающие нашим предкам платить им дани многи, и предки не только пользуются этим дозволением, но даже всякий раз произносят при этом «хи-хи!». Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение, вот Петр Великий, разрешающий дворянам вступать на службу и брить бороды... Боже! как делается легко, как все становится ясно, если перенесешь вопрос на историческую почву! И что бы мы стали делать, если бы не было у нас этой благодетельной исторической почвы? Пожалуй, смотря на наших нынешних ораторов, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили – чего доброго – не дождавись разрешения!..

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Но, слава богу, этого нет, и я надеюсь, о любители отечественного просвещения!
что в настоящее время слово «разрешение» имеет для вас ясный и определенный
смысл и что самая история настоящей цивилизации вполне разъясняется посредством
одного этого слова.

Итак, если кем-либо употребляется, например, выражение «дозволяется быть веселым», то это положительно значит, что веселость есть вещь обязательная и что всякий, кто отныне осмелится взглянуть исподлобья или быть недовольным погодой и проч., должен подлежать истязанию, как нарушающий общественную симметрию. Подобно сему, слова «позволяется говорить» положительно означают... не то, что отныне могут пользоваться даром слова желающие, а то, что всякий благонамеренный гражданин должен считать своею обязанностью говорить, и не просто говорить, а без усталости, до истощения сил, говорить до тех пор, пока на устах не покажутся клубы пены, а глаза не пропадут бог весть куда... Выходит, что это уж не красноречие, а нечто вроде щекотания под мышками....

Вторую причиной, побудившей нас к словесным подвигам, было, кажется, то, что в последнее время развелось на Руси много людей, которые вдруг, ни с того ни с сего, начали утверждать, что вечно спать невозможно. Сначала одинокие голоса эти нас забавляли; мы даже охотно им верили, потому что дело касалось нас еще стороной. Но вот мало-помалу они начали раздаваться назойливее и назойливее, и в то самое время, когда, погруженные в волшебный сон, мы ходили по коврам и по бархату, некто взял на себя труд окончательно растолкать нас. «Очнитесь, лежебоки! – услышали мы, – вставать велено!» Можете себе представить, в какой переполох мы пришли от этого приветствия! Спросонья мы были некоторое время в недоумении, не зная, трусить ли нам или быть храбрыми, уткнуться ли снова в подушку или выставить измятое лицо на свет божий... Вокруг нас все смотрело как-то ново и непривычно; кипела новая жизнь, проходили новые люди, которые глядели на нас хотя без злобы, но с какою-то сдержанной иронией. «Что нам делать? что нам делать? – восклицали мы, ощущая все муки предсмертной тоски, – откуда все эти пришельцы? что значат эти приготовления?» И долго бы колебались мы, если бы время не убедило нас наконец, что над нами много смеются и очень мало злорадствуют. «Следовательно, надо быть храбрыми!» – воскликнули мы, и в то же мгновение разразились целым потоком слов. Мы внезапно почувствовали, что и мы можем лицом товар показать, тем более что нам предстояло защитить свое право лежания, сладкое право, без боя добытое нашими предками.

Итак, вторую причиной нашей болтливости было живое и законное чувство самосохранения.

Об чем же мы говорим и как говорим? спросите вы. Прежде нежели отвечать на этот вопрос, позвольте мне рассказать несколько печальных историй.

У меня был знакомый, который вместе с прелестнейшим голосом был одарен от природы и чувствительнейшей душой. По-видимому, нежный тенор и чувствительная душа – две вещи, которые как нельзя более идут друг к другу, однако на деле выходило совершенно противное. Едва, бывало, затянет мой приятель: «oh, perché non posso odiar ti», [76] как голос его внезапно оборвется, и изумленные слушатели вместо пения делают свидетелями самых горьких, а иногда и безобразных рыданий. Таким образом, мы, почитатели вокальных дарований нашего друга, так-таки и не могли добиться случая насладиться звуками его голоса, хотя ни один из нас ни на минуту не усумнился в том, что голос этот должен быть прелестен.

У меня был другой знакомый, который мог бы быть образцовым помещиком, если бы... если бы не та же чувствительность, бедственные последствия которой описаны уже мною выше. Бывало, неделю-другую приятель мой только и дела, что благодетельствует, а потом вдруг, ни с того ни с сего, взгрустнет... и пошел все в рыло да в рыло...

У меня есть третий знакомый, который мог бы быть весьма приятным публицистом, если бы перо его, собственным своим побуждением, не производило всякий раз такого клякса, после которого деятельность публициста становится совершенно невозможною.

Примеров таких маленьких несчастий встречается не мало, и я рассказал об них для того собственно, что у меня развелось в настоящее время множество знакомых, которые могли бы затмить своим красноречием и Беррье, и лорда Дерби, если бы не

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
препятствовало тому несовместное с ораторскою карьерой косноязычие.

Однако вы можете себе представить, как я должен чувствовать себя несчастливым, проводя жизнь среди таких неудавшихся дарований! Очевидно, я должен их утешать, уверять деликатным образом, что это ничего, что это пройдет, что, может быть, и их усердие принесет со временем желаемые плоды... Но к делу.

«Об чем мы говорим и как говорим?» Легко вам поставить такой вопрос, но каково тому, кто принял на себя добровольную обязанность отвечать на него! Уловите мне «сию мечту», которая вот-вот сейчас зародилась в голове вашего молчаливого и углубившегося в себя соседа! А между тем «сия мечта» существует – в этом вы не можете сомневаться, потому что сами видите, как она явственно играет на губах и в бровях молчаливого господина! Уловите мне это благоухание, эту раздражающую эманацию любви, которая горит в воздухе, окружающем вашу возлюбленную. А между тем вы ни на минуту не можете усумниться в существовании их, потому что слишком явственно ощущаете, как сердце ваше мучительно раскрывается, чтоб принять в себя эти жгучие испарения! Поймите мне, наконец, рукой первый палец той же руки, заключенный между вторым и третьим пальцами...

Уверяю вас, что уловить характер и содержание нашего красноречия гораздо труднее, нежели... нежели даже поймать вышеупомянутый первый палец.

Однако попытаюсь.

Во-первых, я должен с прискорбием сознаться, что сжатость, которую преимущественно щеголяли наши предки, утрачена нами безвозвратно. Увы! мы уже не говорим больше: «Цыц, собака!» Мы уже находим, что эти первобытные формы не соответствуют современному состоянию цивилизации и что никакая речь не может быть, в строгом смысле, названа человеческою, если она не обставлена приличными делу обстоятельствами и не заключает в себе силлогизма. Поэтому мы стараемся выразить мысль нашу не прямо, а как-нибудь стороною; даем, например, почувствовать, что «на свете становые существуют», что «если они существуют, то надо полагать, что есть какая-нибудь цель этого существования», а следовательно: «Так вот видишь ли, мой милый, говорить-то много и нельзя!» Или, например, по поводу искреннего желания содрать кожу с нашего ближнего, мы отнюдь не выскажем прямо, что очень бы, дескать, приятно и, так сказать, полезно, но прежде углубимся в девственные леса Америки, поднимем завесу, скрывающую от нас древний Рим, «с истинным прискорбием» найдем, что везде и всегда обдирание ближнего считалось чуть ли не доблестью, и только тогда уже, когда достаточно забросаем слушателя грязью наших исторических и статистических изысканий, осторожноенько заключим, что если везде были люди, везде человеки, что если древний Рим, покоривший полвселенной... то почему же бы и нам и т. д.

Признаюсь откровенно, я душевно оплакиваю такое направление нашего красноречия. Во-первых, я всякий раз вспоминаю при этом наше древнее «да будет мне стыдно», а во-вторых, мне истинно жаль, что столько драгоценного времени, которое можно было бы с пользою употребить за зеленым столом, тратится на сомнительное и торопливое ознакомление с «краткой всеобщей историей» Кайданова.

Второе качество, дающее содержание нашему красноречию, заключается в желании нашем доказать, что мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Казалось бы, что людям нечего и доказывать, что они люди: ведь так естественно быть человеком! Однако мы усиливаемся, мы заявляем об этом всем и каждому, мы просим верить и даже очень огорчаемся, если бы кому-нибудь вздумалось покачать при этом головою. Что означает этот факт? То ли, что мы до сих пор были слишком робки, или то, что нами искони обладало чрезмерное высокомерие?

Я полагаю, что в этих беспрестанных оговорках и извинениях есть частица того и другого. Многие из нас были действительно до того скромны, что название «людей» охотно присвоивали всем и каждому, исключая самих себя. Француз – человек, англичанин – человек, даже немец – отчасти человек, но мы... как мы смеем! Другие, напротив того, до бесконечности злоупотребляя словом «человек» или «чеаек», не на шутку убедились, что нам можно называться барами, благородиями, превосходительствами и т. д., но отнюдь не «человеками». Следовательно, появление в нашем разговорном языке слова «человек», в собственном его смысле, было так ново и так оригинально, что нет ничего удивительного, если на первых порах мы желаем вдоволь натешиться им. Зато посмотрите на нас, как мы краснеем и потупляем глаза, когда объявляем во всеуслышание о своей принадлежности к

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru общечеловеческой семье! Сквозь каждый звук нашего голоса просвечивает и нетерпение наше как можно скорее получить диплом на звание человека, и наша неуверенность в том, действительно ли мы «люди» и не напустили ли мы на себя это мнение, подобно тому как долгое время напускали на себя убеждение в том, что мы герои и целый мир шапками закидать можем. Тем не менее (после того говорите, что я человек мало снисходительный!), несмотря на то, что эти стыдливые, прикрытые фиговым листом протестации, эти жалобные моления страшно раздражают мне нервы, – я все-таки вижу в них успех и нахожу их похвальными и заслуживающими поощрения. И в этом случае я не только не противоречу самому себе, но, напротив того, имею даже совершенно основательные причины радоваться такому искажению мысли человеческой. По крайней мере, думаю я, теперь реже и реже встречаются те неистовые герои, которые некогда зыком своим приводили в ужас самую природу, их создавшую. По крайней мере, если древнее ехидство еще живо, то оно уже не поднимает головы, не говорит во всеулышание, что оно ехидство, но робко извивается по земле и, заговаривая льстивыми голосами, просит пожаловать ему ручку поцеловать. Согласитесь, что это уж изрядный шаг вперед, и что всякий, желающий пользы делу, о том только и должен умолять богов, чтоб неуверенность в человеческом достоинстве продолжилась в нас, по крайней мере, до тех пор, когда мы и в самом деле сделаемся людьми. Ибо, в противном случае, мы, чего доброго, сневежничаем и как раз уподобимся тем мужикам-бахвалам, про которых сложена поговорка: «Человек он умный: на пусто не плюнет, а все в горшок да в чашку».

Третье качество, в котором мы искренно желаем заверить почтеннейшую публику, нам внимающую, есть современность. Когда все кругом нас говорит и пишет об обветшалости крепостного права, о вреде откупов, о безобразии взяточничества и казнокрадства, можем ли мы оставаться равнодушными? Можем ли мы, спрашиваю я вас, удержать биения сердец наших и не преподнести нашего собственного изделия букетов на алтарь отечества? Очевидно, что нет, – во-первых, потому, что это не будет à la model, [77] а во-вторых, и потому, что кто же бы тогда стал внимать нам? Вымолви-ка мы теперь такое слово, как, например: откупа полезны, где ж бы нашлась публика для таких речей?! Итак, мы условились единодушно и заранее, что откупа – гадость, взяточничество – мерзость, казнокрадство – мерзость, ябедничество – мерзость, а крепостное право – une chose sans nom. [78] Но, господи! что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших, что за соленый вкус ощущается на языке, когда он лепечет заповедное вступление к предстоящей речи: «Господа! нет сомнения, что предмет, нас занимающий, заслуживает искреннего нашего сочувствия!» «Черта с два, искреннего!» – думаем мы в это самое время, и поверьте, что для нас было бы во сто крат приятнее, если бы заставили нас проглотить ежа, нежели выдавить из себя эту простую, невинную фразу! Однако ж мы выдавливаем ее, и хотя внутри нас все колышется и как будто хохочет, но слова наши в порядке, носы не буйствуют, языки в порядке и даже физиономии в порядке... Да, черт побери... в порядке!..

Из всего сказанного выше вы можете сами легко сделать заключение о том, что составляет содержание нашего красноречия. Это, во-первых, старание не войти в слишком явное противоречие с грамматикой и синтаксисом, во-вторых, желание убедить всех и каждого, что ничто человеческое нам не чуждо, и в-третьих, стремление, хоть как-нибудь, хоть боком приобщиться к общему, современному направлению идей. Словом, чтоб определить характер нашего витийства одним термином, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожним.

Однако я сознаю, что вы вправе возразить мне, что с таким малоразнообразным фондом можно с грехом пополам составлять только вступления или предисловия. К сожалению, я ничего не могу сказать против этого, потому что и мне достоверно известно, что до сих пор мы действительно говорили одни вступления. Но, с другой стороны, вы, конечно, будете снисходительнее, если примете в расчет молодость наших лет, нашу неопытность и другие качества, столь бесценные в молодых ягнятах. Откуда взять нам действительно содержания для наших ораторских упражнений? Из науки – но разве мы учились? Из жизни – но разве мы жили?

В первом отношении, я вам скажу по секрету, что если бы не «Русский вестник», то решительно неизвестно, как бы мы вывернулись из наших тесных обстоятельств. Он впервые поведал изумленному миру, что есть на свете государства благоустроенные, есть государства так себе, что называется середина на половине, и есть государства совершенно расстроенные (мы же до сих пор, в простоте души, объясняли себе, что государство есть государство, и больше ничего); он довел до нашего сведения, что усовершенствованные пути сообщения не в пример лучше

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru неусовершенствованных; он поразил наш слух словами: «кредит» (под этим словом мы разумели исключительно опекунский совет, в котором закладывали свои имения), «спекуляция» (с этим словом в уме нашем соединилось смутное понятие о чем-то вроде мазурика), «поземельная рента» (под этим выражением мы ровно ничего не разумели) и многими другими, при произнесении которых мы благодарно раскрывали наши рты. Что было бы, что было бы, если бы не существовал «Русский вестник»? часто спрашиваю я самого себя. Я трепещу произнести, по мне кажется, что мы поневоле вверглись бы в бездну «Истории г. Кайданова» и «Статистики г. Зябловского». Но так как, с другой стороны, «Русский вестник» издается периодически и небольшими книжками и, следовательно, не может зараз обучить всему, то очевидно, что покуда он будет издаваться, покуда не извлечет из первобытной тьмы всего, что нам на потребу, мы все-таки не можем с уверенностью сказать, что мы действительно что-нибудь знаем. «Что, если вдруг «Русский вестник», в следующей же книжке, начнет рассматривать известный вопрос с другой точки зрения?» – думаем мы, бледнея.. И вдруг окажется, что то, что в таком-то номере доказывалось так убедительно и осязательно, на самом деле вовсе не убедительно и не осязательно? Куда мы тогда поспели с своими «кредитами» и «поземельными рентами»? Страх этой неизвестности заставляет нас быть осторожными и держаться более берегов, не пускаясь далеко в многоволнистое море научных изысканий. Вот когда «Русский вестник» изобретет компас, когда он окончит свое земное странствие и с свойственной ему скромностью произнесет: «Здесь пределы человеческой мудрости, добрые сограждане!» – тогда милости просим поговорить с нами.

Что касается до жизни, то какие поучения могли мы извлечь из нее? Шли мы все по отлогому месту, не знали ни оврагов, ни пригорков, не ехали, можно сказать, а катились. Урожай у нас – божья милость, неурожай – так, видно, богу угодно; цены на хлеб высоки – стало быть, такие купцы дают; цены низки – тоже купцы дают... Господи! и жарко-то нам, и объелись-то мы, и не умеем-то, и не знаем-то... поневоле со всякою мыслью свыкнешься, со всяким фактом примиришься! О чем тут думать, чем озабочиваться! Жили как-нибудь прежде, проживем как-нибудь и теперь и после! Разве pomoжешь тут думаньями да размышлениями? И точно, мы не думали и не размышляли; разве по хозяйству что-нибудь укажешь, да и то больше рукой, а не словом...

Итак, ни наука, ни жизнь не дают действительного содержания для нашего витийства. Понятно, что при таких данных мы поневоле должны ограничиваться одними вступлениями и предисловиями, но зато в искусстве предисловий мы в самое короткое время сделали столько успехов, что едва ли не обогнали на этом поприще все народы земного шара.

Послушаем наших ораторов.

– Милостивые государи! – говорит престарелый князь Оболдуй-Тараканов (о происхождении и заслугах этого значительного древнего рода я когда-нибудь доложу читателю особо). – Милостивые государи! не подлежит никакому сомнению, и все вы, конечно, со мною согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается будущность не только прекрасная, но даже, смею думать, и блестящая. Я, милостивые государи, и часто и много об этом помышляю в тиши моего уединения, и сознаюсь вам искренно, что результат моих помышлений есть таков: ни одно в мире отечество не имело столько прекрасных залогов, столько утешительных и вместе с тем несомнительных принципов и данностей будущего благополучия, сколько имеет их наша матушка-Русь православная. Возьмите древний Рим, взгляните из нашего отдаления на Северо-Американские Штаты, сошлемтесь на Францию и Англию (уж я не говорю, милостивые государи, об Испании!) – что мы видим? Везде раздоры, везде партии; Марий завидует Сулле, Аннибал Сципиону и т. д. Взамен того, что видим у нас? Города цветут, селения процветают, порядок не нарушается, армии удивляют мир своею благоустроенностью, пролетариат невозможен, просвещенное дворянство стремится и изъявляет готовность на все, что может приумножить честь и славу отечества, почтенное купечество с своей стороны жертвует, добрые земледельцы благодушствуют и наслаждаются плодами рук своих... одним словом, все сословия соединены одною, и притом неразрывною, так сказать, цепью! Не говорю здесь о разных географических данностях, но не излишним считаю напомнить здесь, что мы имеем Сибирь, которая, как известно, составляет весьма важное подспорье в нашем гражданском и государственном быту. Таково наше настоящее, милостивые государи! Есть ли что-нибудь подобное в других государствах? Встречалось ли такое соединение единого с благодушием в какие бы то ни было отдаленные времена истории? Никогда и нигде. – Вот плоды моих посильных размышлений! Но от

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru настоящего обращусь к грядущему, позволяя себе поднять трепетную рукою завесу, его скрывающую. (Лицо князя начинает мало-помалу перекашиваться.) Что вижу я там, достойные мои слушатели? Я вижу усовершенствованные пути сообщения, вижу беспрецедентное развитие нашей промышленности, испытавшей на себе влияние благотворного и оплодотворяющего кредита, вижу процветание земледелия и скотоводства, вижу свободный труд, господа! Нет сомнения, что сей последний есть такой же нерв земледелия, как кредит – нерв промышленности. Благодаря новейшим изысканиям наших ученых, это истина несомнительная, и с нашей стороны было бы не только неблагодарно, но и нерасчетливо отвергать ее. Итак, прежде всего заявим, милостивые государи, наше сочувствие благодушной принципии, которая в отвлечении, то есть взятая сама по себе, не терпит возражения. Да, я первый готов подать пример в этом смысле, первый во всеуслышание готов сказать всем и каждому, что без свободного труда нет и не может быть надежных условий истинного процветания для государства! И не один я так думаю; все мы, господа, сколько нас ни есть, единодушны в этом отношении! Но если с вершин отвлеченности мы спустимся к низменностям практичности, если от умозрений великодушия обратимся к применимости обыкновенных наших житейских условий – что мы должны заключать? То, милостивые государи, что всякая теоричность прежде всего должна быть поверена практичностью, и только тогда можно судить, в какой степени может быть достигнута применимость условий. Но несправедлив будет тот из вас, достойные слушатели, кто из слов моих заключит, что я враг теорических требований или осуждаю свободный труд в его отвлеченности. Повторяю, что мы все, и притом всеми силами души, должны стремиться к осуществлению этой мысли, но, как человек практичности, как земледелец, прибавляю: надо предварительно поверить эту мысль в ее осуществительности, надо определить течение ее в ее постепенности, надо приготовить почву, милостивые государи, и тогда уже, и только тогда, начать сеять наше прекрасное семя! Сойдем в тайники души своей, спросим себя с полною откровенностью: готов ли он к встрече с теми трудностями жизни, с которыми будет неизбежно сопряжено его новое положение? И заметьте, господа, я не говорю о готовности умственной или нравственной... нет, я говорю о простой готовности физической... да, не более как физической! Какие отличительные черты встречаем мы в поселянах наших? Младенческую беспечность и некоторую наклонность к сладостному *far-niente*. [79] Поселянин, как дитя, срывает цветы жизни, не заботясь о будущем и вполне следуя евангельскому изречению: довлеет дневи злоба его. И все в его существовании было приспособлено к этому порядку вещей, все ему улыбалось и ничто не огорчало. Требовались ли правительством подати и повинности – они платились за него; постигал ли страну неурожай – его ожидали богатые запасы землевладельца, всегда готового поспешить на помощь ближнему. Повторяю: он срывает цветы жизни, не касаясь корней ее. Если мы оторвем его от этого идиллического настроения души, если поставим его лицом к лицу с суровой махехой-действительностью – чего можем мы ожидать? Не того ли, что он захиреет и зачахнет, как хиреют и чахнут тепличные растения, быв пересажены из теплой и влажной атмосферы теплиц на холодную и негостеприимную почву наших северных полей?.. Итак, господа, во имя живого, всегда присущего нам чувства чести, я умоляю вас быть осмотрительными! Я умоляю вас не спешить навстречу волнам пожирающего океана, но девизом ваших будущих действий избрать слова, глубоко начертанные в моем собственном сердце: неторопливость и постепенность!

Князь кончает при всеобщем ропоте одобрения. Он очень доволен собою и, по-видимому, с гордостью сознает, что вполне исполнил долг, предписываемый природою: сходил в Америку, побывал в Риме, заехал даже во Францию, не говоря об Испании, высказал несколько приятных слов о «теоричности» и не навлек никакого сомнения насчет знакомства своего с грамматикой и словосочинением. Престарелое лицо его лоснится; рот улыбается до такой степени широко, что, кажется, так и хочет сбегать посмотреть, что делается на затылке; самая спина вздрагивает какою-то веселою, юношескою дрожью, как будто и она во что бы то ни стало хочет принять участие в недавнем словесном торжестве.

Слушатели тоже, с своей стороны, довольны. Приятель князя, Андрей Карлыч Кирхман, успел шепнуть им на ушко, какой истинный смысл следует придавать словам: «постепенность и неторопливость»; многие, вследствие этого толкования, весело потирают себе руки, а уважаемый Сила Терентьевич Барсученко считает долгом незамедлительно и от имени всех возблагодарить князя.

– Позвольте и мне, господа, – говорит он мягким, словно бланжевым голосом, – позвольте и мне положить свою лепту на алтарь отечества!.. Золотое вы слово сказали, князь, насчет этой теоричности! Конечно, в том и сомневаться нельзя, что все мы не прочь, и все мы чувствуем, что любовь к матушке-России есть первый

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
долг и священная обязанность.

Князь очень верно это выразил, и хотя я не имею блестящего образования, но понимать могу. Только уж насчет этой теоричности скажу, что лучше бы совсем ее не было! Я долго на свете живу; сначала в полку служил, а с тех пор, вот уж тридцать лет, управляю именьями моими и жены моей, и всегда имел перед глазами одну практичность, а теоричности нигде не видал. Да и не было ее совсем в наши времена. Следственно, если слово ваше, князь, об теоричности можно назвать золотым, то другие слова ваши о постепенности и неторопливости нельзя назвать иначе, как бриллиантовыми! Довольно.

За Барсученком выступает на сцену отставной капитан Постукин, но он не говорит, а только беспорядочно махает руками и страшно при этом оттопыривает губы. За Постукиным следуют Петровы, Ивановы, Федоровы, Григорьевы и прочие потомки коллежских ассесоров, Амалатбековы, Уланбековы, Млодзиевские, Войдзицкие... и всю эту компанию достойным образом заключает отличающийся представительной наружностью маркиз де Шассе-Крузе. Сердце земли надрывается скорбью, реки выходят из берегов, Лиссабон разрушается, и рыба-кит выбрасывает из себя Иону от их благодарных воплей и восклицаний: «Постепенность! Постепенность!» – стонет этот новый кагал!

Потревожился и другой князь. Князь этот – его сивушество князь Полугаров, всех кабаков, выставок и штофных лавочек всерадостный обладатель и повелитель. Он покидает бочку, в которой, как Диоген, скрывался от взоров людских, и громким хрюканьем заявляет желание сказать слово на пользу общую.

– Господа! – говорит он, – вы меня извините; я пышных этих слов не знаю, а говорю просто, что бог на сердце положит. Теперича я рассуждаю так: железные дороги – хорошо, грамотность – хорошо, пароходство – и того лучше. Все это рождает новые потребности, новые потребности рождают новые отрасли промышленности, а новая промышленность пускает в народное обращение денежные знаки – все равно что масло в кашу! Да я и не к тому веду речь. Известно, что матушка-Русь православная не погибнет. Это мы сто раз доказали и передоказали, и есть такие признаки, которые дают право думать, что мы докажем это и не один раз. Поведу речь прямо и откровенно об откупках. Я, господа, был откупщиком, есмь откупщик и буду откупщиком (*hilarité générale*[80]). Говорю по опыту: ремесло неблагонадежное, все равно почти что воровать. Мужу после тяжелой дневной работы хочется подкрепить свои силы рюмкой доброго полугара, а ему вместо вина дают какую-то мутную жидкость, от которой только воняет сивухой – свинство! Такого дела защищать нельзя – это ясно как день, а потому нельзя и не сочувствовать нашей благодетельной литературе, которая выводит нашего брата откупщика на свежую воду. И все-таки, господа, я был откупщиком, есмь откупщик и не теряю надежды умереть откупщиком – что ж это значит? Не значит ли это, что действия мои разногласят с убеждениями? Не значит ли это, что я говорю одно, а делаю другое? А ларчик просто отворялся, сказал дедушка Крылов, и сказал истину святую. Я есмь и буду откупщиком, потому что не убежден, чтоб мы были достаточно приготовлены к принятию какой-нибудь другой системы. Ныне существующая откупная система не стоит выеденного яйца – об этом ни слова, но чем ее заменить? Во время тридцатилетней моей откупной карьеры я и примеривал и прикидывал и действительно пришел к тому убеждению, что откупа – свинство! Однако мы к этому свинству привыкли, однако это свинство доход дает – вот на что я хочу указать. Поговорю о привычке. Известно, что истый русский человек без клопов спать не может, без тараканов щи хлебать не в силах, без ухабов и рытвин езда ему не в езд. Отнимите у него эти привычки (комфорт) – и вот ропот! Кто ж может предусмотреть, что без откупов самая жизнь ему не будет в тягость? Никто. А это статья важная. Теперь поговорю о доходе. Что такое доход? А доход, господа, это тот самый «мальчик с пальчик», та самая «птичка-невеличка», которая в государстве все суставчики в движение приводит. От определения обращусь к самому делу, то есть к откупам. Тут, господа, уж не то что «плев сто рублей», тут пахнет миллионами, а запах миллионов – сильный, острый, всем любезный, совсем не то, что запах теорий. Чем заменить эти миллионы? Какою новою затыкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость? Прикидывал я и на глазомер, прикидывал и на аршин, тридцать лет только и делал, что измерял эту поглощаемость – и все как с гуся вода! И опять-таки скажу: великое русское спасибо господам писателям, которые выводят на свежую воду нашего брата откупщика! Об одном только они маленько забывают – это об том, что и в этом деле, как и во всяком другом, необходимы два неперемные условия: постепенность и неторопливость. Слова нет, государи мои, идите вперед и идите неуклонно, рассматривайте, обсуждайте,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru взвешивайте! Одним словом, помогайте нашей улиткоподобной близорукости вашу орлоподобную далекозримостью! Но действуйте постепенно, не торопясь; по копейке собирайте в общую русскую сокровищницу – и вот перед вами миллиард в тумане! Это я всегда скажу. Монумент новой литературе на свой счет воздвигну, а правду скажу. Ибо правды не боюсь. Хлеб-соль ешь, а правду режь, говорит русская пословица. И еще: «Варвара мне тетка, а правда мне мать!»

Можно себе представить, какое электрическое действие производит на нашу улиткоподобность такого рода словоизвержимость! Мы постепенно открываем наши раковины и высовываем оттуда наши рожки. Слова «откупа – свинство!» сначала пугают нас, но после, прислушиваясь к музыке речей, мы начинаем одобрительно помавать рожками и даже неблагоприятно высовываем из раковины все туловище, забывая, в минутном упоении, что где-нибудь вблизи таится грозная пиявка, которая ждет только минуты, чтоб воспользоваться нашей одуряемостью и испробовать вкус нашей извлекаемости. «Да, да! постепенность и неторопливость!» – восклицают все эти Гершки и Ицки, все эти Бестианаки и Мерзоконяки и, восклицая, скрежещут зубами.

– Почтенный князь Полугаров! – шипит в ответ Иосель Гершсон, молодой, но уже вконец изворовавшийся еврей, – позвольте от лица всего нашего собрания изъявить вам истинную признательность за то, что вы так верно выразили мысль нашу. В своей простой, но откровенной речи вы вполне примирили требования современной мысли с благоразумием, свойственным мудрому! Никто из нас не станет защищать того, что несовместно ни с требованиями века, ни с требованиями строгой справедливости... Все мы давно уже прокричали откупам: «Pereant!». [81] Но мудрый, прежде нежели начнет разрушать старое здание, всегда приведет в точную известность, достаточно ли у него приготовлено материалов, чтоб воздвигнуть новое. Вы, почтенный князь, поступили подобно этому мудрому и указали нам ту самую дорогу, по которой всегда и везде шло человечество, в величественном поступании своем, от времен древнего, доисторического мрака и до настоящих светлых минут. Честь вам и слава!

Но вот и еще некто выходит из тьмы, по всей вероятности, также с благою целью положить грош на алтарь отечества. Ба, да, никак, это старый знакомый наш, Порфирий Петрович! Что вызвало его из мрака? Что заставило его покинуть зеленый стол, на котором он сейчас только соорудил большой шлем князю Чебылкину? Посмотрите, как он торопится и семенит ножками, как он пытит и краснеет! Я бьюсь об заклад, что он горит нетерпением поделиться с слушателями какою-то радостною новостью! «Что такое? что такое? – с беспокойством вопрошают друг друга члены почтенной крутогорской публики. – Не изобретен ли порох? Не открыта ли Америка? Или найден новый способ выиграть семь в червях с восьмеркой сам-друг козырей?» Все эти недоумения разрешаются Порфирием Петровичем самым неожиданным образом.

– Ну, господа! – начинает он, предварительно потоптавшись на одном месте, как это приличествует всякому оратору, получившему первоначальное образование в городе Сергаче и потом с честью окончившему курс наук в сморгонской академии, – вот и мы наконец воспользовались двумя первейшими благами жизни: устностью и гласностью... тэ-э-к-с!..

Однако добрые жители Крутогорска (известные под именем aimables kroutogoriens), [82] еще не освоенные с безвредным значением этих слов, в испуге окружают Порфирия Петровича и осаждают его вопросами.

– Откуда приходят к вам подобные новости? – восклицает до глубины души оскорбленный генерал Змеищев.

– Свихнулся, старик! – произносит губернский врач.

– За такие новости его надо в Вятку сослать! – настаивает генерал Змеищев.

– В Вятку! – добродушно повторяет Алексей Дмитрич Размановский.

– Господа! – продолжает между тем Порфирий Петрович, несколько не смущаясь, – новость эта получена мною из верных рук, а именно, от одного одолженного мною столоначальника (произнося последние слова, Порфирий Петрович издает горлом звук)...

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Гм... – замечает губернский врач.

– Признаюсь откровенно, я от души порадовался. Вот, подумал я, как отечество-то наше процветает! Давно ли, кажется, давно ли?.. А вот теперь и с гласностью!

– Да еще и с устностью! – раздается чей-то голос в толпе, возбуждая общий сочувственный хохот.

– Да и можно ли этому не радоваться! – бесстрашно напевает Порфирий Петрович, – ибо если мы молча совершали подвиги, то чего ж можно и должно ожидать, когда мы все вдруг заговорим! Теперь, значит, всякий будет иметь возможность пожинать от трудов рук своих; я, скажет, думаю так-то, а я, скажет, думаю так. И так далее, по мере сил и способностей, и выйдет теперича у нас тут обмен прожектов, мыслей, чувств и замечаний. Лежат два кремня рядом – ну и ничего: лежат и безмолвствуют. Идет мимо искусный прохожий; берет один кремень, берет другой; рассматривает их внимательно, осторожно ударяет их друг об друга – и вот искра! Выходит, что и мы, штатские, призваны теперь, чтобы с мечом в руках ополчиться против неправды и злоупотреблений. Стало быть, не одним военным принадлежит эта честь. Военные пусть обнажают меч против внешних врагов отечества, а мы, штатские, будем обнажать наш меч против врагов внутренних – всякому свое! Таким образом, если меня, например, угнетет исправник, то я, не говоря никому ни слова, прибегаю к гласности...

– Сначала-то следует прибегнуть к устности, – перебивает чей-то голос в толпе, – загнуть то есть...

– Прибегаю к гласности, – продолжает Порфирий Петрович, – и вот угнетателю моему стыдно! Или посылаю, например, я кухарку на рынок; купец, разумеется, ее обманывает, берет втридорога и вдобавок продает дурной продукт. Что ж? я прибегаю к гласности – и купцу стыдно! Нельзя, господа, не сочувствовать такому явлению! Нельзя не радоваться таким благим преднамерениям и не менее благим предначертаниям. Людям с чистым сердцем нечего опасаться гласности. Не только она не потревожит их мира душевного, но еще и воздаст каждому по делам его. Чего, например, могу я бояться, если я исполнил долг свой по совести и данной присяге? Утром я встал, помолился богу...

– Умылся и чаю напился, – прерывает голос в толпе.

– Что ж, и в этом постыдного я ничего не вижу! – отвечает Порфирий Петрович и затем, обращаясь к течению своей речи, продолжает: – Итак, помолившись богу, отправился в палату, исправил там что следует; потом, возвратясь домой, провел несколько часов в кругу своей семьи...

– Часочек-другой всхрапнул, – прерывает тот же враждебный голос, но на этот раз уже не возбуждает ни в ком сочувствия.

– Шш! – раздаются со всех сторон, и Порфирий Петрович получает возможность продолжать речь свою беспрепятственно.

– Потом вечером поехал в клуб или в гости... Таким образом, я исполнил долг христианина, долг гражданина, долг семьянина и не упустил из вида обязанностей члена общества!.. Спрашивается, что может сказать обо мне пасквильного, или гнусного, или противоестественного «гласность»? Окромя хорошего, ровно ничего. Итак, гласность есть дело святое, и нижайший поклон от всех тому, кто первый это слово произнес.

Порфирий Петрович останавливается и тяжело дышит. По всему видно, что до сих пор он взвезил в гору какую-то огромную и тяжелую фуру, которую наконец и поставил благополучно на вершину. Теперь ему предстоит труд эту же самую фуру спустить под гору, у подошвы которой расстилается цель его путешествия – отличное, покрытое плесенью, болото.

– Но, употребляя слово «гласность», – начинает он помаленьку спускаться, – я, само собой разумеется, понимаю гласность благонамеренную, то есть такую, которая никого не обижает, никого не затрагивает и предоставляет всякому спокойно пожинать плоды рук своих. Конечно, многие, быть может, поймут это дело иначе и возмечтают, что во имя гласности можно всех и каждого по зубам колотить. Для лиц подобного образа мыслей я кратко повторяю прежнее мое уподобление: лежали два

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru кремня и безмолвствовали; шел мимо искусный прохожий, осторожно ударил один кремль о другой – и вот искра! Что, если бы прохожий был неискусен? Что, если бы он ударил неосторожно? Если бы поблизости оказался навоз или другой удобовоспламеняющийся материал? Извлеченная из кремня искра упала бы в сей материал, воспламенила бы его – и вот пожар! Подобно сему и гласность, находящаяся в руках неискусных и употребляемая без осторожности, может произвести не умеренное и благопотребное для любезного отечества освещение, но пагубный и малопотребный для оногo пожар. Руководствуясь этими соображениями, и я соболезнаю о гласности неблагоразумной, и радуюсь гласности благоразумной; соболезнаю о тех, которые в ослеплении своем и в солнце думают зреть пятна, и радуюсь о тех, которые, пользуясь благодетельною гласностью, за правило себе поставили: постепенность и неторопливость.

Порфирий Петрович умолк. Он несколько сконфужен, но не потому, чтоб солгал, а единственно по новости дела. Но чтоб не испортить своей репутации в глазах сограждан, он всячески старается маскировать свое смущение, топчется на месте, побрякивает, отирает слезящиеся глаза и в заключение столь искусно повертывается на одной ножке, что окончательно сбивает с толку своих слушателей, которым становится ясно как день, что для Порфирия Петровича всякая штука – как с гуся вода. Добрые жители Крутогорска взволнованы и растроганы. Они густо толпой окружают Порфирия Петровича, жмут ему руки и вообще выказывают какое-то необыкновенное нервное расслабление.

Увы, и я, с своей стороны, изумлен и растроган, хотя и не спешу облобызывать Порфирия Петровича в сахарные уста.

«Гласность! свобода! – думаю я, – откуда, из каких темных нор вызвала ты всех этих тараканов, которые до сих пор спокойно себе копошились в горшке над куском черного хлеба, покуда всеистребляющая рука заботливой кухарки не заливала их кипятком и не прекращала тем прожорливой их деятельности? Подобно тому как на выборы являются лица, никем не виданные, являются для того только, чтоб изумить вселенную безобразием мохнатых шапок, узостью панталон, густотою рыка и необыкновенным ожирением затылков, изумить и через несколько дней снова потонуть во мраке; подобно тому и на торжество гласности и разума являются какие-то страшные чудища, лишь заменившие мохнатость шапок – мохнатостью понятий, а узость панталон – узостью стремлений, и сохранившие во всей неприкосновенности и густоту рыка, и необыкновенное ожирение затылков!»

Что, ежели, вместо того чтоб потонуть по миновании надобности во мраке, чудища эти укоренятся навсегда с их мохнатыми шапками и узкими панталонами?

Утомленный болтовнею дня, я не без сладостного чувства надежды взираю на сумрак вечера, постепенно окутывающий окрестность. Жадно и зорко слежу я за последними движениями угасающего дня, и все мне кажется, что огни в окнах недостаточно скоро меркнут, что собаки на улицах слишком громко лают, как бы продолжая и преобразуя своим лаем ту безлепицу, которая преследовала меня в течение дня. Окна общественного клуба еще ярко освещены, и сквозь застилающее их облако дыма я замечаю, как снуют взад и вперед какие-то неимоверные, усатые фигуры с чубучищами в руках, снуют без дела и без цели, останавливаясь только затем, чтоб выпить рюмку водки. Но вот и огни стали окончательно гаснуть; вот в последний раз, и как будто сквозь сон, где-то взвизгнула охрипнувшая от злобы шавка; вот и капитан Постукин выпил последнюю рюмку очищенной, выпил, крикнул и закусил кусочком черного хлеба... Покой! забвение! ты ли грядешь?..

Но, увy! горькая работа сердца, раз начатая, уже не в силах улечься и угомониться вместе с затихающими звуками. Мохнатые чудища продолжают преследовать меня даже в моем одиночестве и производят столь сильное раздражение во всем моем существе, что я чувствую, как ходит кровь ходенем в жилах моих. Ночь, которую я звал с таким нетерпением, вместо желаемого успокоения приносит мне лишь мучительные грезы. В безмолвии, которое меня окружает, мне слышатся какие-то досадные звуки, смутный гул которых заставляет болезненно сжиматься мое сердце; серые тени, одна за другой, сменяются перед глазами моими... Я ощущаю боль во всем организме; все чувства мои насторожены; какая-то особенная чуткость объемлет все мыслящие способности души моей; глаз мой видит незримое, ухо мое слышит неслышимое, руки мои осязают неосязаемое...

«Все ночь, все еще ночь!» – думаю я.

Мучимый внутреннею тревогой, изнемогая от жажды успокоения, я с злобным нетерпением обращаюсь к востоку: не видно ли там луча, не сверкнула ли там, среди черных туч, та яркая полоса, которая должна воссиять миру светом радости? Восток! восток! скоро ли осветишься ты?

«Засни! – шепчет мне ночь, – засни, замученный! засни, истомленный! Сон убаюкает тебя на мягких крыльях своих; он неслышно пронесет тебя чрез суровые пространства, чрез трудные времена в ту волшебную страну, где бегут голубые реки, где горит голубое небо, в ту страну, где, торжествуя, блещет лик человеческий, не изнуренный вечными исканиями, вечными и горькими стремлениями...

Кинь ты черную думу, забудь о страждущем брате своем! Зачем замечать, сколько гнетов наслонилось над головой его, сколько зол теснит его душу, сколько нужд точит его изможденное тело! К чему эти странные, серые картины, на которых так любит останавливаться уязвленное воображение твое? Взгляни, сколько еще разлито света в самых сумерках, окружающих тебя! Сколько еще теплится красоты и добра под темным флёром, наброшенным на жизнь!»

Но мне не спится. Ни шепот ночи, ни усталость от прожитых волнений дня не усыпляют меня... Сладко было бы мне забыться, сладко было бы, без тревог, не глядя вперед и не оборачиваясь назад, окунуться в волны реки забвения, но есть внутри меня нечто гнетущее, что мешает мне поддаться убаюкивающему обаянию ночи. В невыразимой тоске продолжаю я обращаться к востоку: «Восток, восток! скоро ли, ах, скоро ли осветишься ты?»

Но что же за видение отделяется в глубине из мрака, объемлющего окрестность? Потрясая косою, стуча всем составом своим, неподвижно неся безоую голову, оно проходит мимо меня, цепеня мою мысль, обдавая холодом и ужасом все существо мое. Смерть! ты ли это? Если это ты, желанная, если это ты – конец и разрешение тревог и исканий жизни! Если это ты – успокоение мучительных надежд и обогранных кровью сердца желаний! Если это ты – мир и забвение! То зачем же воображение мое населяет огнями ада зияющие впадины головы твоей? Зачем самая тьма их кажется мне сверкающей? Не тебя ли я столько лет жаждал – то с томительной тоской, то с сладостным трепетом? Не к тебе ли обращались все упования и мечты моего сердца? Сладко умереть! думал я. Сладко забыться и быть забытым среди кликов растления, среди воплей удовлетворенных лакеев, среди постыющихся и знаменующихся лицемеров-грабителей, среди ликующих откупщиков и ослабляющихся ябедников. Стоны торжища жизни, стоны, от которых надрывается сердце земли, пронесутся мимо меня, разъедая только живое и не касаясь того, что заранее и добровольно обрекло себя забвению!

Отчего же теперь, когда ты явилась передо мной, грозная и торжествующая, меня объемлет иной трепет, иная тоска? Или запала в сердце мое робость? или срослась со мною эта горькая привычка жить, которую многие почему-то называют сладкою? Да, я не без радостного волнения вижу, как проходит мимо меня грозное видение, не задев меня своею косою; я сладко вздыхаю по мере того, как оно от меня удаляется... «Я хочу жить!» – кричу я из всех сил, подобно тому выздоравливающему, который, еще шатаясь на дрожащих и ослабевших ногах, не знает, как надышаться ему свежим воздухом, и пьет не напьется золотых лучей солнца, горячим светом обливающих и его, и всю природу.

И вот безграничная панорама открывается передо мной: скорбные образы восстают из мглы и тумана; далекая-далекая, окутанная снежным саваном равнина расстилается перед глазами моими... и все мне кажется, что некто вблизи меня стонет, что весь мир полон горечи и страданий...

Смерть! Смерть! куда же лежит разрушительный путь твой? кого обрекла ты на гибель?

Она идет, стуча всем составом своим; она идет по холмам и по лугам, по лесам и по полям, идет через рвы и реки, через расселины и топи... Она проникает всюду, где только слышится трепет и дыхание жизни!

И вот вдали, в длинной веренице городов и сел, чертогов и хижин, замелькали огни, послышалась суeta и движение. Люди ветхие, хворые, еле дышащие, выходят на дорогу; иные идут с поникшими головами, другие еще трепещут от неостывшего сознания недавнего торжества; иных терзает раскаяние, черты других исказились

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ненавистью; одни еще простирают дрожащие руки, чтоб оборониться от прикосновения Смерти, другие клонятся под ударами ее безропотно.

Вот тучный, весь претворившийся в брюхо откупщик. «Я современный человек! я действительно был когда-то мерзавцем, но теперь... теперь я воистину человек современный! – вопиет он, пряча оторопевшими руками за пазуху штоф с мутной, испорченной жидкостью. – Виноват, я грабил... я много грабил! Но если душе моей не безызвестен позор преступления, то не заглаживает ли его столь же нечуждая ей сладость раскаяния? Прочитай мои статьи, послушай мои речи... и пощади меня!»

Вот и умирающий торгаш. Живой, он никогда не доводил себя до сознания, что вся жизнь его есть непрерывная сеть хитросплетенного плутовства и неправедных стяжаний; но пред лицом смерти он струсил. Тщетно окружает его толпа алчных родственников и прихлебателей, тщетно усилятся они вырвать сокровище из хладящих, но все еще страстно его прижимающих рук... Он глух к их стонам, слеп к их кривляниям. Иные звуки терзают его слух, иные образы смущают его цепенеющую мысль. Там, вдали, среди облаков черного дыма, прорезываемого красными языками неугасимого огня, представляется ему царь тьмы, сидящий на престоле из змий, видятся ему огненные сквороды, раскаленные клещи, видится собственная душа его, ходящая по мытарствам... «Страшно! страшно!» – лепечет коснеющий язык его. Ах, не вам, добрые родственники, и не вам, преданные прихлебатели, оставит он кубышку свою! Новое любостяжание, новое неслыханное воровство смущает его бедную голову: нельзя ли, думает он, на те самые деньги, ради которых погубил он душу свою, купить для нее царство небесное?..

Вот деревенский лорд, застигнутый с розгой в руках. Уподобясь пойманному врасплох школьнику, он бросает в толпу поличное и заверяет Смерть древней своей честью, что он патриарх и желает только счастья, счастья и счастья своей меньшей братии.

Вот испитой, пожелтевший, с подобранным животом ябедник. Он трусливыми руками засовывает в карман свой донос или извещение и отвратительно жалобным голосом вопиет, что он оклеветан, что он совсем не ябедник, а масон, бескорыстно источавший из себя ябеду и клевету, по долгу данного им обязательства.

Вот закоренелый казнокрад и взяточник. Он застегнул мундир на все пуговицы, вымыл руки и, показывая их Смерти, заискивающим голосом шепчет: «Обе чисты!»

Вот наивный, оплешивевший на службе столоначальник, пойманный с входящим регистром в руках. Он божится, клянется, что это лишь горькая случайность, что он в жизнь свою туда ничего никогда не вписывал и делал там только кляксы.

Вот и ты, бедная, сгорбленная нуждой, бабушка Ненила. Спокойно сидишь ты у ворот покосившейся избенки твоей, чертя клюкой по земле и бормоча про себя все одни и те же с младенчества затверженные слова. Без страха ждешь ты минуты, когда среброкудрые ангелы возьмут твою душеньку и успокоят ее на лоне Авраамовом... Однако отчего же и ты порой задумываешься? Отчего по временам губы твои смыкаются, рука крепче сжимает клюку, и ты всеми остатками твоего существа как будто прислушиваешься к чему-то, как будто припоминаешь нечто? Или еще не порвалась нить, привязывающая тебя к жизни? или жизненное начало, независимо от тебя самой, еще совершает в тебе работу свою? или не совсем еще застыло старое горе, не все еще выплакались старые слезы, не покрылось еще пеплом забвения пережитое и выстраданное иго жизни...

Смерть! Смерть! где же остановишь ты шествие свое? Ужели ни слабость, ни бедность, ни кротость, ни искренность не избегнут косы твоей? Где же будет уютиться жизнь, кому суждено быть сосудом ее? Для кого заалет восток давно желанным светом радости?

И вдруг мне чудится, что я тихо-тихо опускаюсь, что меня со всех сторон обхватывает нечто мягкое, нежащее... Вот заалел восток... вот улеглись тени ночи... в воздухе пронеслось словно неясственное дребезжание и наполнило слух мой... предметы, покрытые цветами радуги, внезапно закружились перед глазами моими... вот ворвалось в мою комнату, неизвестно откуда, облако белесоватого тумана... вот, наконец, и ничего не видно... Сон! ты ли это?

СОН

Встал-встрепенулся дурак Иванушка, пожелал он, голубчик, глаза протереть,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
руки-ноги протянуть, поразмять свое тело белое. Только глянул он – ан в глазах у него белый свет словно мутен стоит; хочет руку поднять – ан рука, ровно чужая, обок болтается; чует ногами, что под ним дорога торная, а куда идти, взад ли, вперед ли – не ведает. Ишь до чего, лежебок, доспался, что забыл, в которую сторону головами лежал!.. Всплакался тогда Иванушка.

– Эко чудо! – говорит, – слышишь, дяденька, никак, я маленько вздремнул, что глаза у меня словно не разлипаются?

– Ишь, соня, хватился! – отвечает дядя, – спал на печи без просыпу, да туда же на свет божий взглянуть хочет! А ты поди сперва да промой глаза-то живой водой!

Побежал Иванушка к тому ручью, где живая вода бежит, обмылся, обчистился, да и в ручеек, по старой привычке, кстати плюнул и пошел на дорогу.

Видит: идут по дороге люди ветхие, идут и руками разводят, словно сомневаются. Шибко не показались они Иванушке.

– Что за мразь! – говорит, – и куда это я попал? Эй вы, господа честные, молодцы удалые! не можно ли вас поспросить, в кои страны больно спешно ползете?

Возопили к нему старцы ветхие:

– Идем мы, младый юношь, Иван сын Иванович, от миру прелестного, от жизни прелюбезныя в страну преисподнюю..

– Ну, мне, видно, с вами идти несподручно будет! – молвил Иванушка и пошел от них прочь.

Пошел Иванушка по той нетореной дороге, где младая жизнь кишит, где цветут цветочки алые, где растет трава шелковая, где поют птицы райские, где бегут ручьи молочные... Любо Иванушке! Глаза у него разгорелися, кудри русые по широким плечам разметались, ходенем пошла грудь могучая, встрепенулось в ней сердце богатырское, пьет не напьется он воздуха вольного..

.

– Ваше благородие! ваше благородие! – раздается в ушах моих знакомый голос, – извольте скорее вставать: Иванушку-дурака за стол посадили!

Слова эти поражают меня, я спешу встать и прихожу в комнату, посредине которой поставлен стол и которая видом и убранством своим напоминает мне нечто знакомое. За столом сидит молодой малый с русыми волосами, круглым и добродушно осклабляющимся лицом..

– Это он самый Иванушка и есть, – объясняет мне тот же голос, который разбудил меня.

Но Иванушке неохота сидеть в креслах; краска робости, или, лучше сказать, той милой застенчивости, которая составляет врожденное свойство истинного сына полей, выступает на лице его; он рвется и мечется в кресле, и если бы не удерживала его сзади сильная рука известного своими административными способностями Зубатова, приставленного к нему в виде дядьки, то нет никакого сомнения, что Иванушка без оглядки бежал бы из этой душной комнаты в те родные равнины, над которыми широко раскинулось серенькое небо, где привольно и беспрепятственно гуляют буйные ветры, разнося из конца в конец перекатистую песню Иванушки.

– Сиди же, Иванушка! сиди, любезный! – увещевает Зубатов.

Но Иванушка продолжает барахтаться. На открытом лице его я безошибочно могу прочесть тревожную думу, которая неотступно преследует его во время этого барахтанья.

«Врешь! не обманешь! – думает он, – разве мы своего места не знаем!»

С этим словом Иванушка ловким маневром выскользает из рук его и совершенно неожиданно скрывается под стол.

– Господи! вот детище-то бог послал! – угрюмо ворчит сторож, отправляясь вытаскивать Иванушку.

– Да сядь же, Иванушка! сядь, голубчик! – продолжает усовещивать Зубатов, – как перед богом, обмана тут нет, а именно посадить тебя от начальства приказано!

Иванушка вслушивается и, по-видимому, начинает сдаваться. Но переход от сомнения к уверенности совершается в нем быстро и резко. Минуту назад он прятался под стол, теперь же, к полному изумлению всех предстоящих, он не только сел на месте, но даже ноги на стол вскинул.

– Не годится, Иванушка, не годится так, – снова вступает Зубатов, – ты пойми, голубчик, что не для озорств здесь посажен... Сядь, Ваня! сядь же смиренхонько, подожми под себя ноженьки, коли совладать с ними невмочь!

Некоторое время, однако, Иванушка сомневается. Видал он на своем веку виды и потому знает верно, что все на этом месте спокон веку именно так сживали, как он сидит! Все думается ему, не издевается ли над ним Зубатов, не надует ли его, не будет ли ущерба его значению, если он сядет, как все люди сидят. Однако добрые его инстинкты возымели свое действие. Не прошло четверти часа, как вижу я: сидит Иванушка на месте прямо и чинно, руками не болтает, ногами не неистовствует, смотрит ласково и радостно.

– Ну, давай, коли так, судить да рядить! – говорит он, предварительно перекрестившись.

НАШ ГУБЕРНСКИЙ ДЕНЬ ВВЕДЕНИЕ

Как там ни шути, а жить скучно. Жизнь сорвалась с прежней колеи, а на новую попасть и не смеет, и не умеет. Люди ходят как сонные или сидят себе сложа руки, вперив взоры в туманную даль – ничего в волнах не видно! Особенно мастерски умеем скучать мы, провинциалы. Там, в Петербурге, что-то затевается, какая-то все стряпня идет; одни болтают, что готовится нечто громадное, другие брешут, что чересчур что-то маленькое. Мы сидим в мурье и недоумеваем; нам-то желалось бы, чтоб все это было маленькое да миниатюрненькое... а вдруг, черт возьми, левиафана хватят? Ведь с нашими робятами и это случиться может!

Вот пронеслись слухи, будто откупа трещат – председатель казенной палаты дрожит и слабеет желудком. «Куда же я с малыми детьми денусь? – спрашивает он сам себя, – да пойми же ты, черт, что у меня восемь дочерей, и каждой надобно по приданому!»

До сведения губернатора доходит, что в губерниях будут заведены новые какие-то учреждения, совсем будто бы независимые учреждения, которых все и назначение будто бы в том заключаться будет, чтоб давать щелчки в нос его превосходительству. «Как же я теперича повелевать буду? – вопрошает он сам себя. – Да пойми же ты, черт, как я за благосостояние губернии-то отвечать буду?»

Губернский штаб-офицер пронюхал, будто отныне всякое дело начистоту надо вести будет. Легкая бледность внезапно отуманивает его красивое чело; надушенные усы дрогнули; в самых манерах, которых благородству удивлялись во время экзекуций все помещики, появилась порывистость и даже некоторое верноподданническое дерзновение (я, мол, свое дело сделал, а там как угодно!). «Ну что ж, это хорошо! Ну что ж, и пускай их! и пускай их! – скрипит он про себя, – только что ж это со мной-то они делают? Да пойми же ты, черт, как же я теперь в люди-то покажусь?»

Председатель судебной палаты тоже узнал кое-что о гласном судопроизводстве и тоже совсем растерялся. Он то застегнет, то расстегнет свой вицмундир, то берется за шляпу, точно идти куда-то собирается, то бросает шляпу на стол и садится. Наконец решается послать за секретарем.

– Иван Ксенофонтыч! слышал?

– Поговаривают-с.

– Ну?

- Поговаривают-с.
- Как же это... в публике-то сидеть?
- Будем прописывать-с.
- Да, но как же, брат, это... в публике-то?
- Будем прописывать-с.
- Да пойми же ты, любезный: ведь кругом-то везде публика понатыкана! Пу-бли-ка!
- Что же-с? Каждому кто что заслужил-с!
- О, черт побери да и совсем!
- Это точно-с.

Одним словом, все повесили головы, все отстали от дела, которое уже признается старым, отжившим свой век, все ждут чего-то нового, а новое не идет.

– Хоть бы развязали, что ли! – слышится со всех сторон. Все эти люди сидят начеку, словно куда-то собираются, словно теперь только почему-то вспомнили, что они лишь временные жильцы этого мира. Очевидно, нечто волнует их, и мы, конечно, поймем и это волнение, и эту озабоченность, если припомним, что это «нечто» – ни более, ни менее, как вопрос о жизни и смерти их.

Скучно жить! Скучно видеть людей, которые разучились смеяться, которых мысль постоянно находится в отсутствии. Подойдешь к губернатору, спросишь: «Не угодно ли вашему превосходительству карточку?» – а он вместо ответа выпучит глаза и бормочет какие-то бессвязные фразы: «Гм... да... что?... об чем бишь мы говорили?» Прошу покорно тут думать о каких-нибудь общественных удовольствиях при виде столь огорченного начальника!

Да и один ли губернатор, один ли председатель опустили носы? Увы! улицы пусты, базары обезлюдели! Полиция слоняется как шальная: не знает, драться ли ей или вежливоенько приглашать: пойдём, дескать, милый мой, я тебя в части посеку! Обыватели тоже пришли в сомнение: не знают, точно ли их бить не велено, или нет-нет да и пойдет треск и гвалт на всю улицу? То, что прежде разрешалось в одно мгновение ока и одним мановением руки, нынче перекладывается с места на место, перевертывается с боку на бок, да так на боку и остается.

– Да разреши ты мою нужду? – пристаёт несчастный обыватель к лицу власть имеющему.

– Нельзя, братец, закона нет! – отвечает лицо власть имеющее.

И добро бы дело о нужном шло! А то ведь об том только и разговор, как сечь: с соблюдением ли законных форм или без соблюдения, просто как бог на душу пошлет... ох, уж эти мне либералы!

– Ох, да хоть бы уж развязали поскорей! – вопит обыватель, и следом за ним эхо из конца в конец перекатывает: – «Ох, да хоть бы уж развязали поскорей!»

Как жить? как поступать? чем быть? – вот вопросы, которые слышатся всюду. Пойдешь направо – назовут ретроградом; сунешься налево – прослынешь прогрессистом... Оба прозвища равно не безопасны. Один мой знакомый говорит: «А мы пройдем середочкой!» Гм... хорошо, коли кто эквилибристике обучался; а каково тому, кто этой науки не знает? Каково идти-то по этой переузине? Каково целую жизнь об том только думать, как бы не покачнуться ни направо, ни налево и не выронить из рук спасительного шеста? Нет, воля ваша, это не жизнь, а какое-то мучительное театральное представление.

Об чем писать? какие подвиги воспевать? Подвигов нет – их место заступило унылое балансирование; героев нет – их место заступили люди, у которых трясутся поджилки; фестивалей и пиршеств нет – их место заступили молчаливые сборища с головными помаваниями, с односложными речами и скорбными дрожаниями уст и

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ноздрей. Что за время! что за время!

Увы! я охотно бы рассказал, например, о том, как Леонид Звонский, протанцевав тур вальса с Пульхерией Пронской, почувствовал, что все его существо внезапно охватило током любовного электричества, но не могу, потому что мне никто не поверит. «Подите! – скажет мне читатель, – да разве вы не знаете, что нынче Леонид Звонский насчет любовных дел совсем слаб стал?» И читатель будет прав, потому что действительно Звонский не тем занят: он думает о том, будет или не будет определен помощником управляющего питейными сборами, и, весь погруженный в расчеты и соображения, взирает на Пульхерию не только с холодностью, но даже не без иронии.

Еще охотнее я начал бы свой рассказ так: «Леонид Звонский принадлежал к одной из великих либеральных партий, которые в последнее время оказали столько услуг для отечественного преуспевания. Он ненавидел откупа со всею искренностью пламенной души» и т. д. и т. д. Конечно, тут было бы больше правдоподобия и больше животрепещущего интереса (ибо кто же, в самом деле, не принадлежит нынче к одной из либеральных партий?), однако я и этого написать не решусь. Во-первых, если я углублюсь в свой предмет надлежащим образом, то рассказ может выйти не совсем цензурный; во-вторых, откупной либерализм уже несколько провонял сивухой и в этом виде давно сдан в архив.

Один мой приятель предлагает такого рода сюжет: Леонид Звонский, начитавшись мемуаров Казановы, ощутил и т. д. «Тут может выйти целый ряд очень миленьких сцен, да и цензура непременно пропустит рассказ!» – прибавляет приятель. Но нет... я не могу писать и на эту тему! Я не сомневаюсь, что цензура пропустит рассказ мой, но сомневаюсь, чтоб нашелся журнал, который решился бы напечатать его.

Что ж остается мне делать? Очевидно, остается грустить вместе со всеми, остается быть летописцем вздохов... поймите, как это трудно!

Да и какой еще вздох? какой его цвет? какой его запах? Во времена счастливые, в те времена, когда жизнь изживается «без тоски, без думы роковой», ответ на эти вопросы дать не трудно. Тогда вздох бывает голубой и пахнет фиалкой. Вот Леонид Звонский, который только что кончил вторую фигуру кадрили с возлюбленной Пульхерией; он садится возле предмета своих страстных, но законных помышлений, и вздыхает... Вздох не задерживается в груди его, не вылетает оттуда ураганом, он выходит легко, ровно, благоуханно. Очевидно, Звонский вздыхает потому только, что он счастлив; он принадлежит Пульхерии, Пульхерия принадлежит ему; кадрили кончатся, и растроганные родители благословят их... Вот патриарх-помещик, в «боях домашних поседалий», который только что получил оброк с возлюбленных домочадцев своих. Он сидит за конторкой, разглаживает замасленные и измятые пачки ассигнаций и вздыхает... Мир царствует во всем существе его; он пересчитывает деньги и, чем больше пересчитывает, тем сильнее в душу его закрадывается уверенность, что недоимки нет и что, следовательно, домочадцы его блаженствуют и живут припеваючи. Веселые картины рисует его воображение: пейзажи гуляют в кумачных сарафанах, пейзажи в синих суконных поддевах; а там горелки, хороводы, орехи, пряники... Тут вздох понятен: тут он служит выражением того кроткого блаженства, которое напояет душу и катится благоуханной струей по всем жилам... Вот чиновник, который сейчас только сходил в карман своего ближнего; он тоже нечто считает, он умилен духом, он чувствует, как дыхание спирается в его зобу, он вздыхает. Понятно, что и тут вздох не может быть горьким.

Все это вздохи голубые, пропитанные запахом фиалки. Человек, который вздыхает таким образом, может сказать об себе: я вздыхаю, потому что во мне играет сердце, потому что природа разыгрывает в мою пользу постоянное увеселительное представление. Я вижу цветок – и радуюсь; я внимаю пению птички – и радуюсь; я слышу мычание осла – и радуюсь; все в божьем мире манит и взирает на меня светлыми очами, все говорит: живи и наслаждайся!

Но я имею дело с миром огорченных, с миром людей трепещущих и скучающих. Они тоже вздыхают, но их вздохи желтые и пропитанные тлением органических остатков. Иметь дело с подобными вздохами почти невыносимо.

А других вздохов нет. Странно изменился мир божий; уже не смотрит он на человека светлыми очами, не приглашает его жить и наслаждаться. Подобно буре, вырывающей с корнем столетние дубы и шадящей молодые, гибкие побеги, смерть прошла крылом своим по рядам человеческого и посекала в один миг все, что считало себя навеки

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
дерзок плясать был!

И вот призываются песенники, шлются гонцы за новыми собеседниками, стол уставляется новыми снедями и питьями, и начинается пир горой до самой ночи.

Увы! этому ликованию, этой вечной масленице суждено было прекратиться!

На днях я посетил утром пустынного и был самым грустным образом поражен происшедшею в нем переменой. По обыкновению, он сидел на диване и, по обыкновению же, кого-то дрожащим голосом величал. Это тоскливое величание и прежде порой досаждало мне; теперь же, как только я его слышал, сердце мое сжалось, как бы томимое тяжким предчувствием. Действительно, закуски на столе не было: пустынный сидел и качал головой из стороны в сторону, словно белый медведь, оторванный от родной стихии и посаженный в зверинец. Казалось, даже лысина его потускнела.

– Что с вами, пустынный? – спросил я его после обычного приветствия.

– Скорблю!

Я посмотрел на него в недоумении. Грешный человек, я подумал сначала, что у него вышел весь запас свежей икры, что откупщик забыл прислать ему обычную дань водки и пива, и эта догадка тоскливо подействовала на мой желудок.

– Мятутся! – продолжал он, и вслед за тем в грустно-минорном тоне запел: – И смятошася людие...

Я все-таки не понимал, хотя нельзя было сомневаться, что нечто произошло. Конечно, мне небезызвестно было, что наше маленькое общество с некоторого времени прониклось гражданской скорбью, но какое же дело до нее пустынному? Пустынный – отрезанный ломоть от общества; пустынный самой природой таким образом устроен, что было бы у него вдоволь ества да поила, да малахай шелковый, так не проймешь его никакою скорбью – это ясно! И вдруг о чем-то скорбит и произносит отрывистые и неподобные речи!

– Да что же случилось, пустынный? – спросил я.

Он, в свою очередь, взглянул на меня, но в этом взгляде виделась скорбная ирония.

– Не велеть ли разве рыбки подать? Мне наместись преотменной из Песчанолесья прислали! – сказал он, но в звуках его голоса слышался укор, и я даже явственно различал, что укор этот относится именно ко мне, как будто он говорит: «Малодушный человек! я знаю, что ты думаешь об осетрине... в такую горестную для отчизны минуту!»

– Да нет, позвольте же, зачем рыбки? Если в самом деле что-нибудь важное случилось, то можно и без рыбки... Скажите, что же случилось?

Он посмотрел на меня строго.

– Да что ты, сударь, смеешься, что ли?

– Нет, не смеюсь.

– Не знаешь, что ли, что делается!

– Да что же такое, наконец?

– А вот, сударь, что! Приходит ко мне сегодня один из моих жеребцов стоялых (пустынный называл таким образом своих дворовых) и кланяется мне... вот эдак (пустынный кивнул головой с невыносимым пренебрежением)! Я на него смотрю и думаю: не в горячке ли малый, не очунется ли? Однако нет: стоит как столб бесчувственный. – Постой! что ты, дама, что ли? – спрашиваю я его. – Нет, говорит, я не дама, а, по вашему мнению, выходит, я жеребец стоялый! – Ну, уж меня, знаешь, и разбирать зачало, однако все терплю. – Что ж, говорю, коли ты не дама, зачем же так кланяешься? – Все еще, знаешь, мыслю, что он очунет... Хорошо. Только что ж бы, ты думал, он сделал? – А коли, говорит, мой поклон тебе не

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нравится, так и нет тебе ничего! Повернулся хребтом-то, да и был таков! А? что? хорошо?

– Гм... да...

Я не знал, что ответить пустыннику, но чувствовал, что в голове моей бродит не то мысль, не то ощущение, одним словом, нечто такое, что можно бы формулировать словами: «Эге! да это явления одного и того же порядка!»

– Так вы думаете?.. – сказал я вслух.

– Чего тут думать... оно!

– Гм... да... это оно!

Мы не объясняли друг другу, что значит это «оно»: мы поняли. Я вознамерился было посетовать, высказать несколько жалких слов, как это обыкновенно делают люди, которых претензии ограничиваются желанием выпить и закусить и которых вместо того заставляют ломать голову над какими-то проклятыми вопросами. Но пустынник оказался и решительнее, и воинственнее меня. Он вскочил с дивана и накинута на меня с такою неистовой яростью, что я одну минуту думал, что он растерзает меня на части.

– Чего же вы-то, гражданское начальство, смотрите? – закричал он на меня, сверкая глазами.

Я поник головой.

– Ведь это зараза, – продолжал он, все более и более наступая, – ведь это чума!

Я почувствовал себя сугубо виновным. Мне не приходило даже в голову сказать в свое оправдание стереотипную фразу: «Да чем же я виноват?» – которую, по заведенному исстари обычаю, оправдываются все птенцы бюрократии. Мне как-то вдруг пришли на ум все пословицы, вроде: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», «Люби кататься, люби и саночки возить» и проч. Я вдруг почувствовал, что на мне лежит какая-то ответственность, что я должен был предугадать, предвидеть, предзаботиться и прототвратить! Держа в руках своих миллионную частицу административной вожжи, имея право, в миллионной части, решить и вязать, я обязан был тянуть свою тягу, насколько ставало моих сил. Если вожжа ослабла, – следовательно, я не натягивал ее с надлежащею заботливостью, следовательно, я не исполнил своего долга, следовательно, я был без оправданий. Виноградник, прежде столь чистый, порос куколом и крапивою – чего смотрели виноградари? где они были? чай, в карты дулись или с метрессами[84] проклаждались?

Пустынник, казалось, понял, что во мне происходит нечто очень тяжелое, и смягчился.

– Да уж не велеть ли рыжичков подать? Мне девки мелконьких таких в уксусе прислали! – сказал он ласково.

Но мне было не до грибков. Черт знает, что бродило в это время в голове моей, но только вместо того, чтоб отказаться и поблагодарить, я отвечал:

– А кто их знает, может быть, они не девки, а бабы!

Пустынник усмехнулся.

– Да ну уж, ну! велеть, что ли? Вижу! все вижу! Обидел я тебя!

– Нет уж, увольте... Лучше потолкуем!

Я был смущен: мне представлялась «зараза». Не могу определительно объяснить фигуру этого существа, но помню, что это было нечто похожее на громадное черное пятно, которое безобразно шевелилось перед моими глазами, словно угрожая лечь мне на грудь всюю своею массой. Стало быть, она поселилась везде, коли проникла даже в такое тихое пристанище, как дом нашего милого пустынника!

– Так потолкуем! – повторил я.

– Потолкуем! – отвечал он.

Но уста наши немели. Было какое-то слово, которое, казалось, вертелось на губах, но оно словно застыло там.

– Вот каково оно тяжко! – произнес наконец пустынный, – что даже слов не измыслишь!

Что за будущее представлялось воображениям нашим! Серое, неприглядное, покрытое бурьяном и колючками! Нужны мы или не нужны? – беспрестанно приходило на мысль. – Или мы тот самый бурьян и есть, который предстоит настоящая надобность скосить? Если мы бурьян, то какое же сделают употребление из нас, подкошенных? Отдадут ли на корм ослам или просто кинут в навоз? Если же мы не бурьян, то за что же, господа! за что же!

– Ну, я с своими-то, пожалуй, справлюсь, – заговорил между тем пустынный, – вот вы-то, гражданские, что будете делать? ведь у вас, государи мои, все врознь полезло!

На это замечание я не мог возражать, ибо в отношении прозорливости оно было поразительно.

– Веселихомся и играхом! – продолжал пустынный, – а теперь вот и нам, подобно древним иудеям, на реках Вавилонских сидящим, приходится обесить органы своя... и шабаш!

Странное дело! В то время, когда наши души были полны скорби, в саду, прилежавшем к пустынному дому, беззаботно чиликали птички. Для них горизонт был чист и безоблачен, им не угрожала ни гласность, ни устность, ни уничтожение откупов; вокруг них природа оставалась неизменною: вчера она радовала, насыщала и убаюкивала и завтра будет точно так же радовать, насыщать и убаюкивать. Майский солнечный день так и врвался в комнату сквозь отворенную дверь балкона, врвался со всем своим влажным теплом, со всеми благоуханиями молодой, только что распустившейся флоры. Хорошо там в саду; хорошо птицам, хорошо жучкам и мошкам, хорошо цветам! Только человеку скверно; скверно везде: и на солнышке, и в тени, и в саду, и на погребе; везде преследует безотвязная дума, везде насквозь прохватывает мысль о заразе...

Но если так скверно жить современному человеку вообще, то можно себе вообразить, сколь пакостно должно быть существование губернатора!

По мнению моему, этот почтенный бюрократ положительно должен целый день «караул» кричать!

«Расхитят! растащат! по кусочкам разнесут!» – должен он ежемгновенно твердить себе, чтоб не ослабнуть духом. Каково тут жить? Каково недреманным-то оком всю жизнь глядеть? Ну, а чем он, например, виноват, если и в самом деле растащат? Разве он не человек? Разве не хочется ему и погулять, и выпить, и с девушками побаловать, и на птичек полюбоваться? Разве весна-то не действует на него?

– А чего вы смотрели, покуда у вас злонамеренные мысли распространялись? – спросят его, быть может, строгие ценители и судьи.

– А я, – скажет, – в это время у Матрены Ивановны пирог с грибами ел, ибо я тоже обязан и о соединении общества подумать.

– Правда. Ну, а где вы были в то время, как у вас в Оковском уезде некоторый продерзостный нахал на полной сходке утверждал, что словесное производство лучше бессловесного?

– А я в это время у себя в кабинете на приговорах уголовной палаты «согласен», «согласен», «согласен» писал!

– Правда.

Такого рода разговор можно продолжать хоть до завтра, и все-таки в результате ничего иного не выйдет, кроме: правда, правда и правда.

Признаюсь, если бы я был губернатором, я отнюдь не затруднился бы никаким вопросом. Я бы заранее для себя такой катехизис составил, в котором начертал бы простодушные, но дышащие истиной ответы на всевозможные вопросы.

Вопрос. Это что?

Ответ. Не разорваться же мне!

Вопрос. А это что?

Ответ. А это правитель канцелярии напутал!

Вопрос. Ну, а это что?

Ответ. Гм... это? Помнится, что я посылал туда своего чиновника, а он ничего не сделал! и т. д. и т. д.

дела пошли бы у меня как по маслу, начальство было бы довольное, я был бы прав, а обыватели славословили бы имя мое.

Размыслив все это, я почувствовал себя облегченным; идея об ответственности уже не лежала тяжелым камнем на сердце; призрак слаботянутой административной вожжи не тревожил воображения. Очевидно, весна подействовала благотворно; я даже не прочь был отвесть грибков.

– Однако вы несправедливы, пустынный, к начальнику-то к нашему! – молвил я, покоряясь новому порядку идей.

– В чем же, сударь?

– А относительно гражданского-то начальства... Ведь его превосходительство даже побледнел от заботы...

– А коли побледнел, так и с богом!

– Намеднись я был у него по делам... Только, знаете, слово за слово, он мне и открылся: «Поверите ли, говорит, Николай Иваныч, вот третий вицмундир приходится бросить с тех пор, как эти слухи пошли!» А уж дальше что будет, так это одному богу известно!

– Что ж, потом, что ли, оно из него выходит?

– Смейтесь там или не смейтесь, а что человек скорбит – это верно!

– Гм... да... чай, расход на одежу большой!

Мне стало обидно и больно.

– Пустынный! – сказал я серьезно, – поймите, что это дело совсем не шуточное! Ведь мы все, сколько нас ни есть, должны будем, так сказать, сократиться... исчезнуть...

– Скорблю! – вздохнул пустынный.

– Вместо того чтоб смеяться друг над другом, нам надлежало бы соединиться!

– О сем мечтаю и всечасно сего желаю!

– Вот у Ивана Николаевича восемь дочерей-невест; ведь ему и с дочерьми исчезнуть придется!

– Яко исчезает дым, да исче-е-езнут! – затынул пустынный.

– Намеднись я у Семена Петровича был; он тоже говорит: что я с этой устностью буду делать?

– Куда прочие, туда и он!

– Да ведь люди-то какие!

– Люди отменные!

– И всех вот словно холерой посекло! Ведь мухе зла не сделали! Иван-то Николаич курицы в супе не съест без того, чтоб не сказать: «Вот, курочка! Кабы не плотоядность человеческая, клевала бы ты да клевала теперь по зернышку!»

– Что и говорить!

– А вы еще обвиняете!

– Поймай! Я в чем обвиняю? Я в том, сударь, и обвиняю, что много в вас добродетели этой развелось... да! Возьмем хоть губернатора: сажает, это, всякого, руку подает-пристойно ли? Нет, вот я с предместником его хлеб-соль важивал, так тот и слово-то молвит, бывало, так словно укусит, того гляди! Вид-от один дикий что предвещал!

– Однако как же руки не подать? согласитесь!

– Да так: не подавай, да и шабаш! Иной еще такой озорник выщется: ты ему руку подашь, а он на нее плюнет!

Признаюсь, это предположение совсем сшибло меня с ног своей непредвиденностью. Во все время моей административной карьеры ничего подобного не приходило мне на мысль – и вдруг!

«А ну, если и в самом деле плюнет?» – подумал я.

Вся кровь во мне закипела; я явственно слышал, как внутри меня разом поднялись тысячи голосов, которые кричали: в острог! в острог его!

– Так-то вот, сударь! Дело-то оно с маленького начинается: там посадишь, там погладишь, а он уж и думает, что и завсегда его сажать да гладить следует... Черти!

– Да ведь велено! – сказал я голосом, полным отчаяния, – кому бы охота, кабы не велено!

– А коли велено, так, стало быть, и шабаш!

Мы умолкли; часы заунывно простонали двенадцать. Странное дело! я еще не завтракал, а между тем был так сыт, как будто целого осетра одолел.

– Сколько добродетельных людей чрез это самое погибнуть должны! – промолвил пустынный.

«Может быть, и я!» – подумал я.

«Может быть, и я!» – подумал пустынный.

В это время, неся поднос и гремя тарелками, влетел в комнату прислужник в длинном кафтанчике на манер ополченского. На подносе красовались вещи знакомые, но вечно милые: янтарный балык, свежая икра, духовая осетрина, копченые стерляди и проч.

– Ну, мы дожде побеседовали; теперь потрапезуем!

– Нет, нет! уж увольте! я сыт!

– Чем же сыт? разве у кого потрапезовал?

– Нет, ни у кого! Я... я просто сыт...

– Гм... оно и вправду... какая нынче еда!

– Какая еда! – повторил я машинально.

– Не о хлебе едином... так-то!

– Прощайте, пустынный!

– Куда же?

– Да надобно бы... тово...

Я хотел было сказать, что надобно бы распорядиться, но вспомнил, что все уже кончено, что зараза уже совершает разъедающий круг свой, – и запнулся.

– Нет, уж прощайте!

– Ну, прощай, сударь, прощай! Я-то с своими справлюсь; вот вы-то, гражданские, как?

Я взялся за шляпу и спешил уйти. Слова пустынного давили меня; никогда еще я не понимал так отчетливо, что все кончено; никогда будущее не представлялось мне в таком черном цвете.

«Зараза! – думал я, возвращаясь домой, – зараза!» И таким образом, погибая от думы, я пробыл в этот день не завтракавши.

II

ОБЕД

Бьет четыре часа; дела покончены, пора обедать. Впереди еще остается целый день, пустой и длинный день... Куда деваться? куда деваться так, чтоб уйти от политических соображений, не слышать политических вздохов, не видеть политических взоров? Свидание с пустынным положительно расстроило меня. Представьте себе, что когда секретарь принес мне к подпису бумаги, то я вместо своей фамилии везде подписался: «зараза», «зараза», «зараза»... Хорошо, если ни одна из этих бумаг не отправлена по начальству, а то ведь от этих приказных станется, что и нарочно пошлют, – каков тогда срам!

Куда деваться? Дома оставаться нельзя, во-первых, потому, что дома нечего делать, а во-вторых, и потому, что мы положительно не привыкли к уединению. Как только останешься один, так вот тебя и томит, так и сосет что-то: десятки да двойки в глаза мечутся, нагие плечи, розовые улыбки, французские речи – так и тревожат воображение... Правду говорил пустынный, что в уединении черти посещают.

– Не зайдете ли к нам отобедать? – вдруг раздался под окном моим ласковый голос, и вслед за тем показался украшенный бриллиантовым перстнем палец, который легонько постукивал по стеклу.

И палец и перстень принадлежали генералу Голубчикову. Разумеется, я поспешил воспользоваться приглашением с благодарностью.

Генерал Голубчиков – тот самый председательствующий старец, у которого восемь дочерей. Он любит и видимо ласкает меня, потому что полагает, что из этого выйдет гименей. Быть может, это предположение и не лишено основания, однако я еще креплюсь: пускай, думаю, старик покопит!

Генерал – очень маленький и чистенький старичок. Когда он бывает в хорошем расположении духа, мы называем его мышиным жеребчиком, когда же в мрачном (а это случается всякий раз, как только зайдет речь об уничтожении откупов), то карим мерином.

– Господа! сегодня наш генерал в образе мышиноного жеребчика! – раздается в одном конце комнаты, как только он войдет.

– Нет, он сегодня в образе карего мерина! – раздается в другом конце.

И таким образом шутки идут не прерываясь, но шутки безобидные, незлостные, доказывающие лишь наше расположение к милому генералу.

Увы! я не могу не сознаться, что с некоторого времени генерал почти постоянно является в образе карего мерина. Глаза его тусклы, нос как-то раздался вширь и

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вытянулся, словно хочет слиться с мясистыми губами; в звуках его голоса слышится нечто похожее на томное, расслабленное ржание; одним словом, по всему видно, что его насковозь пронизывают заботы о любезных восьми дочерях.

Как и все мы, генерал гостеприимен, но в нем это гостеприимство усугубляется вечно присущим воспоминанием о дочерях. Милые птенцы! им необходимы развлечения, им нужно общество, им нужны, наконец, женихи! Рассказывают, будто его зятьям не житье, а масленица: я этому очень верю. Я сам, неоднократно обедая у генерала, замечал каких-то двоих господ, которых генеральша раз навсегда рекомендовала мне так: мужа моих двух старших дочерей (эти дочери были выданы замуж еще до возникновения слухов об уничтожении откупов). Господа имели вид здоровый, ели за обедом с двояким аппетитом, и никто им в этом не препятствовал ни косвенными взглядами, ни тонко брошенным намеком на то, что вот, дескать, есть люди на свете, на которых и пропасти нет. Напротив того, мне даже достоверно известно, что этих господ не только поят и кормят, но даже одевают, обувают и обмывают. По этому случаю их в нашем обществе называют в шутку наемными мужьями.

– Да поскорее! – весело торопил меня генерал, покуда я облекался в сюртук, – вы, может быть, не слышали еще, что сегодня у нас по палате распоряжение получено, которое дает основание заключать, что откупа остаются на неопределенное время... да!

– Ну вот, и слава богу! – отвечал я также весело.

С одной стороны, меня радовала мысль, что хоть на этот раз я уйду от политики; с другой стороны, я все-таки невольно говорил сам себе: пускай старик покопит! пускай его!

Я вышел; мы поздоровались.

– Представьте, как все это неожиданно вышло: сидим мы сегодня в палате и, по обыкновению, рассуждаем о том, что ожидает впереди нашу матушку-Русь православную, как вдруг приходит пакет. Раскрываю – и что же, например, вижу? «Снисходя, говорит, к ходатайству нежинского грека Мерзконоки, оставляем»... ну, одним словом, оставляем, да и все тут!

Генерал хихикнул, как будто его кто-нибудь нечаянно щекотнул пальцем под мышкой.

– Ну, и слава богу! – повторил я.

– Я, впрочем, заранее знал, что это так будет! Да оно, коли хотите, и неправдоподобно! Не было еще примеров в истории, чтоб правительство просвещенное добровольно отказывалось от таких полезных сотрудников...

– Да, об них именно можно сказать, что это истинные верноподданные!

– Это так. Потому живут смирно и никого не задевают!

– Мало того что не задевают, но всегда, так сказать, на общую пользу стремятся!

– И это опять-таки именно так. Кто во время последней войны неестественные суммы, с явным для себя ущербом, на торгах набавил?

– Мерзконоки и Лампурдос!

– Кто нашего губернатора из беды выручил, когда велено было женские училища везде заводить?

– Лампурдос и Мерзконоки!

– Кто обществу угодил, когда оно постоянный театр иметь пожелало?

– Лампурдос, Лампурдос и Лампурдос!

– Как вспомнишь да соединишь все это в один фокус, так оно денег-то и многолько выйдет!

– Что уж и говорить!

– А ведь им тоже с деньгами-то, чай, жаль расставаться! А ведь они даже вида этого не подадут, что жаль! А ведь у них только и слов, что «сейчас» да «с нашим удовольствием»! Самый, то есть, кроткий, безответный народ!

Таким образом славословя Лампурдоса, мы дошли до самой квартиры генерала. Стол был уж накрыт, и нас встретила в зале сама Прасковья Петровна, которая приветствовала меня самым утонченным образом. За нею стояла Nathalie, та самая, на которую старики Голубчиковы наиболее рассчитывали в отношении гименя. Я взглянул на нее, и так как был в отличном расположении духа, то мне опять пришло на мысль: пускай старик покопит! пускай!

Надобно сказать правду, что в наружности Nathalie было нечто двойственное. Когда она имела основание надеяться и, вследствие того, чувствовала себя счастливою, то была похожа на мать и могла нравиться; когда же сладкие надежды гименя покидали ее и будущее покрывалось черным флёром, то была похожа на отца и нравиться не могла. Сколько раз, бывало, видя ее в этом последнем образе, я с досадой восклицал: «Ох уж этот мне карий мерин! даже хамелеонство свое проклятое потомству передал!» Однако делать было нечего.

На этот раз Nathalie была похожа на отца. Вообще с некоторого времени на всем доме генерала лежала словно опала какая-то. Не говоря уж об нем самом, все семейство его, очевидно, скорбело. Прасковья Петровна, несмотря на утонченную светскость манер, предписывающую выказывать как можно больше равнодушия к житейским мелочам, беспрестанно прорывалась. То не донесет до рта ложки с супом и с криком «Ах, это ужасно!» положит ее опять в тарелку; то потянется, чтоб достать соли, но на обратном пути почувствует дрожание в руке и рассыплет свою ношу на стол, и т. д.

– Хоть не евши сиди! – говаривал мне иногда генерал с полными глазами слез.

Да, политические кризисы ужасны; они возбуждают чувства и уничтожают аппетит. Но еще чаще бывает так, что аппетит остается прежний, а орган, долженствующий служить ему, внезапно, вследствие каких-то нелепых политических соображений, отказывается от исполнения своих обязанностей. Несноснее этого положения ничего быть не может. Человек, постигнутый таким несчастьем, постепенно линяя и выцветая, делается, наконец, способным только ронять ножи и вилки, которые, как орудия еды, во всякое другое время могли бы доставить ему полное удовольствие. Только во время глубокого мира, когда политический горизонт совершенно безоблачен, можно найти полную гармонию между аппетитом и чувствами; только тогда они пополняют и даже, так сказать, подстрекают друг друга; чувства рожают новый аппетит, аппетит рождает новые чувства. Веселее и приятнее этого положения нельзя себе ничего вообразить.

– А я, ma chère, [85] приятную новость принес! – начал генерал.

– Ну, вот и прекрасно! А то, признаюсь вам, Николай Иваныч, даже противно жить стало: кругом все только пошлости одни слышишь!

– Да вы спросите наперед, какую новость-то! – сказал я, желая несколько помучить генеральшу, – ведь дозволено оглашать все злоупотребления... и с именами, Прасковья Петровна, с именами-с!

– Да к тому же и гласное судопроизводство вводится! – брякнул за мной генерал, любезно подмигивая мне.

Но генеральша не могла видеть подмигивания, потому что с ней сделалось дурно. Разумеется, генерал струсил и засуетился около нее; он беспрестанно хлопал ей по ладони и нежным голосом ворковал на ухо:

– Ma chère! я пошутил! Этого не будет! этого никогда не будет! Напротив того, откупа продолжены, а типографии все до одной закрыты!

– А! – слабо вскрикнула Прасковья Петровна.

Признаюсь, я не ожидал, чтоб слово «откуп» заключало в себе такую магическую силу. Конечно, все мы, члены великой отечественной консервативной партии, чувствуем искреннюю преданность к откупщику, но это все-таки не мешает нам

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сохранять некоторый *décorum*[86] в выражении чувств наших. Со стороны генеральши подобный поступок мог быть объяснен только силою материнских чувств и деликатностью женских нерв.

– Мамап всегда так! Когда рара в первый раз получил известие, что откупщиков всех выгоняют, она по пяти раз в день в обморок падала! – сфискалила мне на ухо Nathalie.

«Какая, однако, милая девушка!» – подумал я.

– Потому что ведь нам нельзя, – продолжала Nathalie, – у рара денег не будет, если откупщиков выгонят.

«Ну, деньги-то у рара, пожалуй, и теперь есть!» – подумал я.

Между тем генеральша оправилась совершенно; она уж шутила и даже пребольно выдрала генерала за ухо за его неуместную выходку.

– И вам бы то же следовало сделать, – сказала она, обращаясь ко мне, – да так уж и быть, на этот раз я снисходительна.

В глазах ее я прочел: «Прощаю тебя, но сделай же милость, не медли: сделай счастливую мою дочь!»

– Мамап! вы, однако ж, забыли, что к рара письмо из Петербурга есть? – вступилась Nathalie.

– Ах да, действительно, к тебе есть письмо, Jean; enfants, apportez donc la lettre à papa![87]

Я совершенно согласен, что лучше, если бы этого письма совсем не было, но, уж во всяком случае, было бы лучше, если бы оно пришло после обеда. Едва генерал прочитал несколько строк, как уже позеленел от верхнего края до нижнего; сердца всех присутствующих сжались болезненным предчувствием.

– Вот так штука! – сказал наконец генерал каким-то унылым голосом, как будто все внутренности его в одну минуту отсырели.

В письме было изображено:

«Нет сомнения, что вы уже получили, почтеннейший друг, распоряжение насчет продолжения откупной системы. Скажу без хвастовства: нужно было много ловкости, чтоб при настоящем откупновраждебном настроении умов провести нашу мысль, однако мы не пощадили ни трудов, ни издержек и провели. Но не спешите радоваться, ибо радоваться в наше время столь же несовместно, как и мечтать о временах недавнего, но увы! невозвратимого отечественного благополучия. Едва успели мы покончить, как противная партия уже ударила в набат. Что говорилось и писалось по этому случаю, того бумаге доверить не могу, однако, полагаю руку на сердце, скажу: уши вянут! Подобно злым и неотвязным шавкам набросились школяры на наш проект и неистовым своим криком (именно одним криком) успели-таки поколебать величественное здание его.

Мы стояли на твердой почве и упирались в казенный интерес; противники наши приводили возражения мечтательные и опирались на требования нравственности. «Нравственность, – говорили мы, – есть вещь второстепенной важности, когда дело идет об интересе казны и славе любезного отечества» (вам должно быть по опыту известно, почтеннейший друг, что слава без денег мертва есть). – «Интерес казны, – возражали наши противники, – есть вещь второстепенной важности, когда дело идет о нравственности». И таким образом сговориться никак не могли, тем более что и самое прение как бы о том только шло, чтоб сказуемое на место подлежащего поставить, а подлежащее на место сказуемого. Все сие было бы смешно, если бы не заключало в себе, как в зерне, зачатка самых горьких последствий. Границы российские, как вам известно, обширные – войска требуется пропасть; народ русский многочислен и склонен к увеселениям – полиции требуется пропасть; полиция, с своей стороны, обладает некоторою игривостью нравов – губернаторов требуется пропасть, а там генерал-губернаторов, а там министров – всего и не перечтешь... С одной стороны, обширность, с другой, лесистость и

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
малообработанность – вот положение нашего любезного отечества в финансовом, экономическом и административном отношениях!

Доныне все это шло, все это удовлетворялось; войска защищали границы и получали неприхотливое, но верное содержание; полиция воздерживала народ в пределах скромности и не оставалась без возмездия; губернаторы, генерал-губернаторы и министры – каждый обращался в своем круге и, конечно, не без процентов. Таким образом, обширность была обеспечена, лесистость уничтожалась, к возделыванию полей принимались меры. Откуда извлекались средства для всего этого? спрашиваю я вас. Откуда, как не из откупов? Они представляли и для государства, и для общества убежище постоянное и непоколебимое; они изображали собой шкатулку, в которую всякий достойный гражданин свободно запускал руку, без опасений завязить ее. Тут была целая государственная теория, на место которой нынешние мечтатели предлагают что? Предлагают нравственность!.. Скучно слушать! И тем не менее победили! Откупа окончательно и безвозвратно уничтожены...

Не могу по этому случаю не выразить моего искреннего соболезнования о вас и о всем вашем почтенном семействе. Знаю по себе, что подобные удары переносить не легко, но думаю, что упование на милость божию и в сем крайнем случае не оставит вас. Оно одно»... И т. д. и т. д.

Подписал: «Георгий Лампурдос».

Описать сцену ужаса и смятения, которая произошла вследствие чтения этого письма, я не в силах. Скажу одно: лица у дочерей-невест вытянулись, и на лицах этих я очень явственно мог прочесть, что женихи улетели. Наемные мужья, пользуясь общей суматохой, незаметно удрали. Генерал, вдруг преобразившись в карего мерина, шагал по комнате и беспрестанно повторял, что жизнь есть обман. Генеральша, едва заметно вздрагивая ноздрями, возражала, что жизнь совсем не обман, а что, напротив того, дураки сами во всем виноваты.

– Представьте себе, Николай Иванович! – сказала она, обращаясь ко мне, – даже в детях эта зараза действует! Намеднись, на бале у Пеструшкиных, подходит мой Иван Николаич к сыну Шалимова, гимназисту, и хочет, знаете, по щечке его потрепать... Только как бы вы думали, что этот мальчишка сделал? Повернулся эдак к нему спиной, да и говорит: «Я, говорит, с вами незнаком, потому что вы откупа защищаете!»

– Ссс...

– Нет, да каков клоп! Ведь от земли не видать букашку, а туда же в политику лезет!

– Скажите пожалуйста!

– Право! Как же теперь можем мы жаловаться, когда уж детей своих не умеем в истинных правилах воспитать! Когда мы сами везде кричим: откупа гадость! крепостное право мерзость! Ну, и докричались!

– Я, та chère, никогда ничего подобного не кричал! – отозвался генерал.

– Ах, отстань, пожалуйста! Не об тебе и говорят!

– Я положительно от того терплю, что жизнь есть обман! – приставал генерал.

– Да отстань же, сделай милость! Разве кто-нибудь с тобой спорит?

– Я положительно утверждаю, что жить в настоящее время не только гадко, но даже и не безопасно.

Генеральша пожала плечами.

– Взгляните в микроскоп на каплю воды – вы увидите, что инфузории с жадностью пожирают друг друга! Взгляните на наш человеческий мир даже без увеличительного стекла – вы увидите, что люди с такою же жадностью пожирают друг друга, как и бессмысленные инфузории!

– Mais qu'est-ce qu'il a donc?[88] – сказала генеральша, с беспокойством глядя

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru на мужа.

– Я положительно удостоверяю, что Лампурдос подлец! – провозгласил генерал торжественно.

Генеральша вскочила со стула и, вся перепуганная, устремилась к мужу.

– Jean! что с тобой, друг мой? – сказала она.

– Грек Лампурдос подлец, потому что лишил меня аппетита! Грек Лампурдос подлец, потому что, не будь его поганого письма, я был бы в настоящую минуту счастлив! Вот все, что я желал сказать.

Генерал заплакал.

– За доктором! ради бога, за доктором! – вскрикнула встревоженная генеральша.

– Меня ни один доктор лечить не станет! – продолжал жаловаться генерал, – мне даже крошка Шалимов в глаза сказал, что я ретроград... да! О, если бы я был либералом! Я был бы теперь здоров, и всякий доктор согласился бы лечить меня с удовольствием!

Генеральша металась; малые дети взвизгивали и машинально хватались за фалды генерала, словно боялись, что он улетит... Смутно стало на душе моей. С одной стороны, мне представлялся вопрос: неужели я и обедать сегодня не буду? С другой стороны, взирая на генерала, я невольно говорил сам себе: ну нет, брат! копить ты уж больше не будешь!

– Кушать подано! – гаркнул в это время лакей.

Никто не тронулся.

– La soupe est sur la table, maman![89] – робко подсказала Nathalie, которая, надо сказать правду, и в мирное, и в смутное время кушала с одинаковым аппетитом.

Но генеральша так строго взглянула на дочь, что та, наверное, откусила себе язык.

Я увидел, что надеждам моим суждено разлететься в прах, взялся за шляпу и поспешил уйти. На другой день весь город знал, что генерал лишился рассудка, что он без умолку говорит какие-то странные речи, упоминает о греке Лампурдосе и грозит детям, что если они будут дурно учиться, то он отдаст их в ретрограды, а сам останется в либералах и будет носить белый колпак.

III

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Удивительное дело, как все это было пригнано, какая во всем сказывалась система и гармония! Потомство решительно не поверит. Поговорим хоть о губернском надзоре. Всякий согласится, что без надзора нельзя: во-первых, обывателям некому будет жаловаться, во-вторых, куда же денутся все эти лица, которым вверен надзор? в-третьих... ну, да вообще как-то неловко без контроля! Что могли бы сказать о нас иностранцы, если бы у нас не было контроля? Могли бы сказать: у них царствует произвол, потому контроля нет! Могли бы сказать: удивительно, как это люди живут в такой стране, в которой контроля нет! А теперь, как контроль есть, то иностранцы должны молчать, и ничего больше.

Главное дело, чтоб контроль был безобидный и шел, так сказать, в виде непрерывного перекрестного огня. Объясним это примером. Если меня будет контролировать мужик, что может из этого выйти? Разумеется, ничего путного, потому что и он меня не понимает, и я его не понимаю, и станем мы целый день разговаривать, я по-русски, он по-татарски. Совсем другое дело, когда сойдутся люди просвещенные и скажут друг другу: ты надзирай за мной, а я буду надзирать за тобой. Ясно, что здесь не может случиться ни раздоров, ни недоумений; ясно, что просвещенные люди поймут друг друга и будут объясняться единственно по-русски. Таким образом, подозрение о произволе устраняется; обыватели на каждом шагу встречают лицо, которому могут принести жалобу; приличия соблюдены, все довольны, а вместе с тем и раздоров никаких...

Возьмем другой пример, более осязательный.

Наш почтенный начальник края постоянно находится под контролем весьма нелегким; за ним надзирает и губернский штаб-офицер, и губернский прокурор, – а между тем, спросите его по совести, чувствует ли он это? Нет, он не чувствует, ибо, с другой стороны, штаб-офицер и прокурор находятся и под его контролем. Следовательно, сойдутся вместе, переговорах между собой ладком, ан, смотришь, и прекратятся разом все недоумения, смотришь – и пошли опять козырять как ни в чем не бывало.

Наш глуповский полковник был именно такого мнения о контроле. Во-первых, он вообще одобрял всю систему, а во-вторых, хвалил в особенности то, что контроль именно поручен ему, а не кому другому. «Это, – говаривал он, – именно величественное здание, в котором всякий находится при том круге, где кому по способностям быть следует».

Я знаю, что в последнее время развелось много неблагонамеренных людей, которые утверждают, будто бы не предостоят никакой надобности ни в штаб-офицерах, ни в прокурорах, ни даже... в начальниках края! Для управления обывателями, говорят они, достаточно одних законов! Конечно, если рассуждать с точки зрения теоретической, то нельзя не сознаться, что законы в своем роде тоже представляют величественное здание; но, с другой стороны, бывают случаи, когда они говорить не могут и когда личное искусное вмешательство одно может предотвратить величайшие бедствия. В особенности удобно и необременительно сие средство в делах свойства, так сказать, домашнего (ибо в нашем любезном отечестве еще встречаются дела сего свойства). Приходит, например, ко мне жена и жалуется, что муж ее поступает с ней не как супруг, а как человек посторонний. Что сделал бы закон? Закон, во-первых, сказал бы: «Сударыня, докажите!» Во-вторых, если бы и последовало доказательство, то закон отвечал бы: «Это, сударыня, не мое дело!» Напротив того, что сделаю я? Во-первых, я призову мужа и скажу ему: «Как же тебе, любезный, не стыдно! посмотри, какая у тебя жена хорошенькая!» Во-вторых, если он этим не убедится, я пригрожу ему законом: «Да, скажу, любезный! у нас на этот счет и закон есть!» А так как он законов не знает, то и убедится наверное. Смотришь – ан дело-то и покончено к общему удовольствию! Другой пример: приходит ко мне работник и жалуется, что хозяин жалованья ему не платит. Естественно, я за хозяином: «Зачем ты, любезный друг, денег не платишь?» Ну, он мне: так и так. От хозяина я опять к работнику: «Разве ты не можешь, любезный друг, подождать?» Смотришь – ан дело-то и покончено к общему удовольствию!

Но важнее всего то, что мы, россияне, от рождения нашего питаем к судам нелюбовь. Одаренные от природы воображением впечатлительным и характером живым, даже строптивым, мы требуем, чтоб дела решались немедленно, а желания наши удовлетворялись беспрепятственно. Что бы это такое было, если бы существовали одни суды и не существовало начальства? Страшно подумать, но предугадать не трудно. Во-первых, обыватели пришли бы в уныние; во-вторых, в делах произошел бы застой. Результат же всего этого – хаос, среди которого люди стремились бы не к тому, чтоб сделать себе одолжение, но к тому, чтоб поедать друг друга подобно тем прожорливым инфузориям, о которых упоминал огорченный генерал Голубчиков.

Повторяю, наш полковник вполне разделял эти убеждения. Он находил, что в особенности полезен надзор негласный, который благодетельствует, так сказать, в тишине уединения. В таком виде, по мнению его, он уподобляется провидению, всегда нам сопresentствующему. Обиженный не имеет основания унывать, ибо знает, что есть рука, которая защитит его и покарает злодея. При такой уверенности не может не житься легко, ибо жизнь, так сказать, сама выносит обывателя на крылах своих. В этом же, быть может, заключается и действительная причина того, что в государствах, где подобный контроль устроен, лица обывателей принимают вид откровенный и беззаботный, не говоря уже о том, как это приятно начальству.

Вообще, наш полковник чудный малый и слывет в губернии завидным женихом. Он очень мило изъясняется по-французски, а благородной изысканности его манер удивляются все помещики. Он несколько сухощав и вообще сложен, если позволено так выразиться, меланхолически; при этом строен и имеет черты лица не только выразительные, но даже язвительные. Правильности его носа еще не так давно удивлялась купеческая жена Барабошкина, а пристального взгляда его серых глаз не мог вынести сам губернский предводитель дворянства, когда его, по поводу ущерба какому-то казенному интересу, велено было келейным образом допросить. Но человек

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чистый и невинный мог смотреть ему в глаза смело и с уверенностью всегда встретит в них теплое участие. Ко всему этому (как бы в довершение общего очарования), он употребляет какие-то анафемские духи, которыми умащает себе усы и тело и от которых так и разит чем-то таинственным.

Кроме того, полковник не лишен и благородного честолюбия: он желает быть флигель-адъютантом. Однажды он был даже близок к цели своих прекрасных стремлений: это было по случаю экзекуции, происходившей в имени одного значительного лица. Надо сказать правду, полковник покрыл себя неуязвимою славой и даже повредил себе ногу, работая в пользу водворения общественного спокойствия, – следовательно, было за что наградить. В эту достославную эпоху вошедши однажды в кабинет его в ту минуту, как он умащал духами свое тело в соседней комнате, я увидел на письменном столе лист белой бумаги, испещренный надписями: флигель-адъютант полковник Стопашовский, флигель-адъютант полковник Стопашовский, – и тотчас же понял причину меланхолии, которая составляла отличительный характер его телосложения. Бедный! он и до сих пор не получил награды, которую стяжал ценою вывихнутой ноги!

Полковник человек холостой, но не прочь жениться. Если он до сих пор не принес себя в жертву гименею, то это произошло совсем не оттого, чтоб наших девиц не пленяла его обольстительная наружность, но оттого, что он желает сделать партию во всех отношениях блестящую. Ему мало того, что девица, на которую он обращает свои взоры, пышка, ему надо, чтоб и отец ее был пышка, то есть снабжен надлежащими капиталами. «Жена должна принести мужу деньги и протекцию», – говорит он и, совершенно довольный собой, мечет жгучие взоры на сонмище тающих девиц.

Живет он просто, но мило, в доме той самой купчихи Барабошкиной, которая так восхищалась правильностью его носа. Говорят, будто бы он не платит за квартиру, но если это и правда, то, во всяком случае, он обделывает свои дела так скромно, что никто уличить его ни в чем не может. В какое бы время вы ни зашли к нему, всегда можете найти добрый привет, добрую сигару и добрый стакан вина.

Полковник очень приятный собеседник; он проницательный политик и умеренный, но глубокомысленный философ. Трудно поверить, но при всех своих многочисленных занятиях он находит время даже следить за течением планет и, руководствуясь Брюсовым календарем, охотно объясняет обычным своим собеседникам тайное их значение. Так, например, не далее как прошлой зимой он по течению планет очень верно предсказал, что в персидской стране произойдут козни тайных врагов, стремящихся огорчить любезное отечество, но что козни эти будут открыты некоторым царедворцем Олоферном, который и посрамит кознейцев. Все точно так и сбылось: через две недели мы уже читали в газетах, что Олоферн поймал и обличил злодеев, которые были посажены в мешок и ввержены в море. Есть у него и библиотека, составленная исключительно из книг, трактующих о разных видах любви к отечеству. По мнению его, только такие книги и могут услаждать душу государственного человека, да еще сочинения эротического содержания; но сии последние должны быть читаемы с умеренностью и втайне, дабы не породить соблазна в народе, который, по простодушию своему, может, чего доброго, принять преподанные там правила за руководство в жизни.

Одним словом, такие люди, как полковник, составляют истинное украшение городов, в которых поселяются; а так как в России нет губернского города, в котором не было бы подобного полковника, то и оказывается, что все они изукрашены в этом отношении преестественно.

Имея в виду впереди бал у губернатора и потом ночную пирушку у откупщика, я зашел к полковнику, чтоб отвести душу в умеренно-либерально-политико-философской беседе.

Я застал его за чтением нового обширного трактата о любви к отечеству; неподалеку, на случай отдохновения, валялся новый роман Поль де Кока.

Прежде всего мы, разумеется, разговорились о различных благодетельных реформах, ожидающих наше любезное отечество, потом о действии, которое они оказывают на обывателей. Оказалось, что это действие покамест ограничилось тем, что генерал Голубчиков сошел с ума в ожидании уничтожения откупов да председатель уголовной палаты запил мертвую в ожидании судебной реформы. Мы, разумеется, погоревали.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Удивляться тут нечему, – сказал мне полковник по поводу неприятного происшествия с генералом Голубчиковым, – такая весть может поразить и более крепкие организмы.

– Какой, однако, удар для всего семейства!

Полковник только махнул рукой, как бы говоря: погоди! то ли еще будет!

– Странно одно, – продолжал он, – как это Иван Николаич до сих пор не приготовился! Посмотрите на меня: я уж давным-давно ко всему готов!

– Что, разве получили что-нибудь?

– Не получил, но получу!

Полковник сказал это с таким дрожанием в голосе, что я не сомневался, что он получил нечто, но до поры до времени скрывает. Любопытство задело меня за живое.

– Вот вы говорите, что генерал не приготовился, – сказал я, желая увлечь его в откровенную беседу, – да помилуйте, как же тут и приготовиться-то! Ведь он еще нынче утром получил радостное для себя известие!

– И все-таки надо было приготовиться!

– Да как же это, однако ж?

– Поверьте мне, что ничего нет легче. Нужно только соображение и христианское смирение! – возразил полковник и, немного помолчав, прибавил: – Да, главное все-таки христианское смирение, как там кто ни говори! – Полковник, который курил в это время трубку, стал дуть в нее с такою силой, что искры целым облаком посыпались на ковер. – Я был сегодня у обедни и молился, – продолжал он таинственным голосом, – только, когда пропели херувимскую, я вдруг почувствовал, как будто что-то кольнуло меня в самое сердце... Я, знаете, впал в забвение, стою и молюсь, стою и молюсь... Ах, что я видел в эту сладкую минуту! ах, что я видел! Скажу одно: с этого мгновения бремя жизни скатилось с души моей! с этого мгновения я... готов!

«Черт возьми! а ведь дело плохо, коль скоро полковнику видения являются!» – подумал я, невольно припомнив катастрофу, приключившуюся с генералом Голубчиковым.

– И представьте себе, друг мой, едва я возвратился из церкви, как мне подают письмо от одного петербургского приятеля: он у нас в штабе по секретной части служит... Не угодно ли полюбоваться!

Он подал мне дрожащей рукою письмо, в котором я прочитал следующее:

«Мы провалились, любезный друг Simon, и ты можешь укладывать свои чемоданы, не опасаясь на этот раз быть введенным в ошибку. На днях все покончено: нас не будет! Мы должны перестать существовать, превратиться в дым – мы и дела наши! Первою мыслью моею было, разумеется, подумать о тебе, и знаешь ли, что я придумал? На днях наши финансисты скомпоновали какой-то невинный проект по винной части: не удрать ли нам с тобой штуку, пристроившись по части хе-ресов и розничной продажи сивухи? Говорят, такой состряпали проектец, что пальчики оближешь; следовательно, надежда есть. А я, к тому же, коротко знаком с самим его сивушеством князем Целовальниковым, следовательно, и тут надежда есть! Вспомни, дружище, стишки: «Надежда, кроткая посланница небес»... и еще: «надежда утешает царя на троне» – дальше, хоть убей, не помню – и валяй в Питер! А не то и еще имеется в виду убежище: поговаривают, что учреждается серьезный надзор над пристанищами праздности и разврата и что по этому случаю также потребуется много деятелей. Что ж, можно махнуть и по части клубнички! Конечно, деятельность не очень почетная, но наш брат опричник за толчком не погонится: видали виды! Со мной, дружище, даже на днях случилось происшествие в этом роде. Послали меня за одним фигурантом – ну, я, разумеется, разлетелся, однако обращаюсь к нему учтивым образом: пожалуйста, говорю, так и так: наша прискорбная и даже, можно сказать, гадкая обязанность – ну, одним словом, все, что в подобных случаях говорят. – А кто, говорит, вам велел брать на себя такую обязанность, которую вы сами называете гадкою? Да как хлопнет меня по щеке! Однако я не растерялся. –

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Вы огорчены, милостивый государь, говорю ему. – Да, говорит, огорчен... да как хлопнет в другой раз! Верить ли, друг, ведь я выдержал – истинным богом! Только и сказал ему, что в другое время я, конечно, вызвал бы его на дуэль, но теперь и так далее, одним словом, все, что в таких обстоятельствах говорится. И за все это, за все такие, можно сказать, рылопожертвования – вдруг абшид! [90] Но надежда еще блистает: не там, так тут исполнять священные обязанности долга везде сладостно!

Ожидающий тебя с нетерпением

Никифор Малявка».

– Однако вам еще не изменила надежда! – сказал я, прочитавши письмо.

– Не изменила-то не изменила, а все-таки больно.

Полковник размахнулся и ударил чубуком об стену.

– Больно, Николай Иванович! Больно в особенности с точки зрения благородного человека! – сказал он, останавливаясь предо мною, – поймите, ведь наша служба была самая благородная! Ведь мы были почти... масоны!

– Ссс...

– Да, масоны! Это я берусь доказать, хоть и знаю, что в нашем отечестве масоны не допускаются. Но мы масоны очищенные, мы масоны, у которых, кроме любви к отечеству, ничего в предмете не осталось!

– Да скажите мне, ради бога, полковник: что такое были эти масоны?

– Масоны были и будут существовать, покуда стоит мир; масоны – это просто благонамеренные люди, из которых некоторые заблуждаются, а некоторые не заблуждаются!

– Гм... это, конечно... всякой вещи бывает в мире по два сорта...

– Заблуждающиеся масоны имели между собой разные таинственные знаки, без дозволения начальства называли друг друга вымышленными именами: Никифора Петром, Петра Степаном, и тому подобное... Согласитесь, что в государстве этого допустить невозможно!

– Да, оно конечно... как-то подозрительно.

– Ну, и вся эта принадлежность перешла от масонов к нам. Мы те же масоны, но масоны, так сказать, от правительства!

– Если я вас понял, любезный полковник, то, стало быть, цель этих масонов заключается в том, чтоб покровительствовать несчастным.

– Совершенно так. Видишь, например, утопающего, ну, подойдешь, подашь ему руку – и он опять пошел себе жить да поживать. Или, например, обыграли вас в карты; вы приходите, объясняете... Я с своей стороны призываю лицо, воспользовавшееся вашей доверчивостью, и говорю ему: «Отдай деньги, потому что иначе тебе может быть худо!»

– Знаете ли что, полковник? Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что такого рода учреждение – истинное благодеяние для человечества. Тихо, смиренно, миролюбиво, без разговоров – сколько тут одного сокращения переписки!

– Да еще то ли мы дельвали! ведь на нас, можно сказать, лежало благоденствие и спокойствие целого отечества – поймите это! Ведь, можно сказать, ни одной мысли в голове не зарождалось без того, чтоб эта мысль не была нам предварительно известна... Ведь это целый роман!

– На вашем месте, полковник, я непременно писал бы свои мемуары.

– Я думал об этом.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Полковник задумался и улыбнулся. Видно было, что над мыслями его пролетали воспоминания и что воспоминания эти улыбались ему.

– Да, были дела! – сказал он, щипля свой надушенный ус, – были дела!

Я знал отчасти эти дела. То были дела чудодейственной ловкости, то были дела ночных розысков и таинственных похищений. Полковник целую жизнь все ловил и хватал и, наконец, доловился и дохватался до настоящего скорбного положения. Согласитесь, что это сразит хоть кого.

– Не то больно, – сказал он, – что жалованья там какого-нибудь на время лишусь, то больно, что практики-то этой не будет!

– Да, привычка – великое дело!

– Грудью, вот эту самую грудь жертвовал! И что ж в результате? – абшид!

Полковник, видимо, впадал в лиризм, потому что колотил себя в грудь самым неестественным образом.

– Что мне нужно? – декламировал он, став в позицию, как это обыкновенно делают благородные, но огорченные люди, – что мне нужно? Добрую сигару и стакан доброго вина!

Добрую сигару я отдам приятелю; стакан вина разделю с ним же!

Теперь у меня нет ни того, ни другого! Последнюю сигару я выкурил вчера, последний стакан вина выпил каналья денщик сегодня, в то время, как я молился богу!

Новых я купить не в состоянии. Я не знаю даже, буду ли в состоянии сшить себе новые сапоги!

Это горько! это неблагоприятно!

– Яшка! – прибавил он совершенно неожиданно, кликая денщика, – ступай, подлец, к Барабошкиной и спроси, не осталось ли у ней хоть одной бутылки моего любимого вина?

Последний возглас оживил меня несколько. Нет ничего несноснее, как присутствовать при посторонней горести. Конечно, эта горесть не могла назваться и для меня совсем постороннею: ибо и я, наравне с другими, мог погибнуть в стремнине политического переворота; но все-таки я страшных писем еще не получал, следовательно, гибель моя представлялась еще отдаленною, и мысль о ней не портила еще моего аппетита в такой степени, в какой портила аппетит других моих сотрудников по вертограду администрации. Одним словом, от этих унылых стонov мною начинало уже овладевать нетерпение, и я имел основание думать, что появление бутылки вина хоть несколько изменит направление разговора.

– Тут была целая система, – приставал между тем полковник, – система, могу сказать, строго соображенная во всех своих частях и подробностях. Мы связаны между собой вот как!

Полковник соединил обе руки и просунул пальцы одной из них между пальцев другой.

– Спрашиваю я вас теперь, можно ли оставаться без системы? – добивался он.

– Знаете ли что? – отвечал я, как бы озаренный свыше вдохновением, – ведь я думаю, что без системы оставаться решительно никак невозможно!

– Стало быть, можно, коли оно так есть: взгляните и судите! – иронически заметил он.

Такого рода разговоры обыкновенно продолжают до бесконечности. Источником им служат раны человеческого сердца, а раны эти, как известно, сочатся до тех пор, покуда не иссохнут из себя всего гноя обид и оскорблений, в них накопившихся. Наш разговор был прерван появлением подлеца Яшки, который доложил, что купчиха Барабошкина с дерзостью отозвалась, что у нее никакой бутылки вина для

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
полковника нет и не было.

– Вот видите! даже Барабошкина – и та отвечает! – сказал мой амфитрион, окончательно сраженный, – подлая! пронюхала, должно быть!

Полковник неистово зашагал по комнате.

– Любопытно! любопытно это будет, как-то они без нас обойдутся! Поверите ли, Николай Иванович, когда мне в первый раз сказали, что нас не будет, – я думал, что это насмешка, я даже недалеко был от мысли, что насмешка эта прямо относится к высшему начальству...

– Да, оно похоже на то.

– Нет-с, это была не насмешка. Намеднись приезжаю я в Москву, являюсь к своему старику, и первое слово, которое от него слышу: А мы, брат, с тобой в трубу вылетели! – Кто же теперь следить будет? – спрашиваю я его, – кто доносить будет, ваше превосходительство? – И знаете, стою эдак перед ним, весь вне себя от изумления. Только что ж бы, вы думали, он мне в ответ? – Я, братец, говорит, в пенсию все свое содержание получаю, так мне до этого дела нет!!! – Так-то вот, ни в ком, просто ни в ком сочувствия нет.

– Скажите на милость!

– А намеднись вот у Пеструшкиных на бале, мальчишка Шалимовский, гимназист, подходит ко мне, мерзавец, и говорит: «А вы, говорит, знаете, Семен Мнхайлыч, что вас уничтожают?» Спрашиваю я вас, каково мне эти плюхи-то есть?

– Даже мальчишки, и те!

– Да в мальчишках-то и сила вся! Откровенно скажу, что если бы не мальчишки, мы и до сих пор благоденствовали бы! Это они своим твяканьем, это от них все загорелось. Господи! жили-жили, и вдруг напасть!

– Да и старики-то, Семен Михайлыч, хороши!

– И мальчишки, и старики, и Барабошка, и весь мир заодно!

– Однако ж ведь вам недавно мундир переменили: по-видимому, это должно бы поощрить!

– Да, и переменили, и поощрили! Ну да, и переменили, и поощрили! Что ж, и поощрили!

– Как же это, однако?

– Вот видите, Николай Иванович, я целый месяц об этом знаю... Вы понимаете, что у меня должно тут происходить? – Он указал на грудь. – Все это время я думал... все думал...

– И что же?

– Я просто пришел, к заключению, что все это не более как страшный сон!

– Тсс...

– Да, это страшный сон, потому что этого не может быть!

– Однако вы имеете письма?

– Имею действительно, но в то же время питаю уверенность... что мы возродимся!

– То есть как же это?.. Вы думаете, значит, что вам опять дадут новый мундир?

– Да нет, не то, не в мундире тут сила: дух времени не таков! Но что мы возродимся – это верно. Потому ненатурально! Опять-таки спрашиваю я вас, возможно ли существовать без системы?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Нет, я положительно убежден, что без системы и одного дня пробыть невозможно.

– Ну, а какого же тут черта систему выдумашь! Следовательно, мы возродимся: в мундирах ли, без мундиров ли, но мы возродимся – это верно! Конечно, сначала все это будет как будто под пеплом, а потом оно потеплится-потеплится, да и воспрянет настоящим манером!

– Да вы-то? вы-то? что с вами будет?

– Что обо мне говорить! Я... я могу найти для себя убежище в одном из новых учреждений, о котором пишет Малявка... Но это все равно! Главное все-таки в том, что мы возродимся!

Полковник был велик: я понял это и позавидовал ему. Мне думалось о том, как сладко и велико должно быть гражданское чувство, в силу которого человек забывает о себе, чтоб всем существом своим устремиться к одному предмету – любезному отечеству!

Мы расстались утешенные и облегченные. Всю дорогу я твердил себе:

– Мы возродимся, ибо без системы существовать нельзя!

IV

НА БАЛЕ

В бывалые времена, когда губернаторша желала повеселить себя и своих *demoiselles*, [91] то просто говорила губернатору:

– Губернатор! что ж ты не прикажешь откупщику бал дать?

– Можно! – отвечивал обыкновенно губернатор и тотчас же посылал за откупщиком.

– Бал? – вопрошал губернатор.

– Можно-с, – отвечивал откупщик.

И дело устраивалось легко, просто и умирительно. Губернатор оставался доволен, что он дал возможность откупщику повеселиться; откупщик оставался доволен, что он хотя на несколько часов мог послужить в некотором смысле административным орудием для соединения общества.

Наш глуповский губернатор не дальнозорок (употребляю это слово не в обидном для этого сановника смысле, но просто желая выразить, что он близорук). Помещики знают это и говорят: «это ничего»; чиновники знают это и говорят: «это ничего»; наконец, местные либералы знают это и говорят: «это ничего». Для всех «ничего» – стало быть, очень хорошо.

С своей стороны скажу: это хорошо именно потому, что это «ничего». Горе тому граду, в котором «князь» юн, усерден по службе и не чужд разговоров о самоуправлении. «Князь» может забрать себе в голову, что он благонамереннейший и образованнейший человек, и черт знает чего наделает! Почнет купцов за бороды трясти, а помещикам реприманды делать, почнет женские гимназии устраивать, почнет заботиться о распространении обществ трезвости... одним словом, учредит нечто вроде временного землетрясения.

Наш начальник края принадлежит к так называемой старой школе. Он управляет с прохладой, любит поесть, попить и поврать с барынями, о самоуправлении же не имеет никакого понятия. Зато чиновники боготворят его, зато помещики беспрестанно зовут его к себе откусать, зато откупщик устраивает в честь его обжорные торжества и говорит на них благодарственные речи, в которых сравнивает его с Минервою; зато землетрясения ни временного, ни постоянного у нас нет и не бывало. Зато он приехал к нам на губернию худенький и мизерненький (словно кошка, у которой от голода шерсть вылезла), а в два года отъелся так, что сделался совершенной кубышкой, и только последние моральные потрясения возвратили его к первоначальной худобе и мизерности.

На днях как-то губернаторша, по старой привычке, обратилась к мужу с обычным вопросом относительно устройства какого-либо увеселения.

– Губернатор! – сказала она, – ты забываешь, душа моя, что откупщик уж третий месяц ничего не делает!

– Мож... – отвечал было губернатор, но потом спохватился и, махнув рукою, прибавил очень решительно: – Нельзя!

– C'est inconcevable! [92] – сказала губернаторша.

– Чего тут «inconcevable»! – запальчиво возразил губернатор, – ты знаешь ли, сударыня, что за нами с тобой нынче тысячи глаз наблюдают?

В это время маленький Володя (сын их превосходительств) навел на тапан свое зеркальце (на детском языке это называется «устроить зайчика»), и отражение света на минуту ослепило глаза ее. Губернаторша подумала, что это смотрят те самые тысячи глаз, о которых только что упомянул губернатор.

– Во всяком случае, хоть нам самим, да следует что-нибудь устроить! – сказала она, – ведь это невозможно! *Aglaé* и *Cléopâtre* (*pauvres petites!* [93]) совсем никаких развлечений не имеют!

– Я сам об этом... да! надо положить конец этим распрям, надо соединить обе партии! – пробормотал губернатор, как бы обдумывая нечто грандиозное.

– Ну, вот и прекрасно! Кстати же мы так давно не доставляли никаких удовольствий обществу!

Слово «партия» не ново в провинции, но значение его на наших уже глазах совершенно изменилось. В прежние времена у нас обыкновенно свирепствовали две партии: старого предводителя дворянства и нового предводителя дворянства. Обе партии исключительно занимались тем, что объедали и опивали своих патронов и бушевали на выборах, кладя им шары направо, поднося им шары на блюде и вообще оказывая самые разнообразные знаки верноподданнической преданности. Тут борьба не имела никакого политического оттенка, тут дело шло единственно о том, кто кого перекормит. И, господа! что за обеды проистекали из этого благородного соревнования! Петр Петрович шесть недель спаивает с круга какого-то благородного тельенка, холит и ублажает некоторую необычайную свинью; белые как снег поросята визжат и мнуттся от желудочных болей, следствия неслыханного обжорства... Партия Петра Петровича притаила дыхание, взирая на эти приготовления, и заботится только о том, чтоб Иван Яковлевич как-нибудь не прознал об них и не успел отразить удар чем-нибудь в том же роде. Но Иван Яковлевич тоже не промах; с помощью преданных ему клеветов он зорко следит за своим противником, и в то время, как тот торжествует мысленно победу, он наносит ему удар в самое сердце, посылая в Москву за такою провизией, о которой мудрецам глуповеки и во сне не снилось.

– фазанов! фазанов! фазанов! – кричит он восторженно и от нетерпения даже подпрыгивает.

И вот через какой-нибудь день после обеда у Петра Петровича, где гости до оглушения объедались неслыханными колбасами и чудодейственной телятиной, устраивается обед у Ивана Яковлевича, где гостям предлагают фазанов и тончайшее вино в бутылках с золотыми ярлыками... Чудное время! где ты?

Мы, предержавшие власти, а также те из благоразумных людей, которые находили для себя выгодным равно уважать и Петра Петровича, и Ивана Яковлевича, – мы с одинаковым рвением ели и у того и у другого. Мы ели и радовались, что в отечестве нашем процветает гостеприимство, что в отечестве нашем откармливаются неслыханные свиньи и что это-не мешает фазанам населять отечественные леса. Души наши ничем не возмущались, ибо мы были сыты; сердца наши стучали в груди ровно, ибо мы были пьяны: понятно, какое благотворное влияние оказывало это обстоятельство на дела.

Увы! партии остались, но это партии, так сказать, голодные. Нынче не едят и не пьют, но разговаривают. Порою кажется, что мир должен потонуть в потоке словес, стонов и восклицаний. Завелись ретрограды, завелись либералы красные, либералы умеренные, завелись даже такие люди, которые соглашаются и с одними, и с другими, и с третьими и надеются пройти как-нибудь посередке (не потомки ли это

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru доблестных мужей, которые во времена оны обедывали и у Петра Петровича, и у Ивана Яковлевича?). И странное дело! прежние люди партий, встречаясь в обществе, все-таки подавали друг другу руки и даже взаимно друг у друга обедывали; нынешние же не только взаимно не угощаются (и самим-то, видно, перекусить нечего!), но даже выказывают друг другу совершенное презрение, выражая оное шлепками, пощечинами и плеванием в глаза... Вот как ожесточилось человечество в какие-нибудь два года!

У нас в настоящее время две партии: ретрограды и либералы (разумеется, умеренные). Представителем первых служит Сидор Петрович (сын Петра Петровича), представителем последних – Эмманюэль Иванович (сын Ивана Яковлевича). Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы – понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию, с другой стороны, либералы являясь ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованье. Повторяю: понять очень трудно. Если же захотеть объяснить, какой смысл имеет у нас слово «оппозиция», то наверное въедешь в такой дремучий лес, из которого потом и дороги не найдешь. Скажу одно: если гнаться за определениями, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградную либералией, а вторую – либеральную ретроградней.

Наш начальник края искренно сокрушался, взирая на все эти раздоры.

– Ах, mon cher, [94] – не раз говаривал он мне, – мне хотелось бы, чтоб все это было полегче да потише...

Желание вполне законное. По мнению его, благосостояние губернии было нарушено, ибо благосостояние это тогда только возможно, когда помещики совершенно довольны. Сколько положил он труда, чтоб умирить враждующие стороны! Сколько истинно своднических способностей выказал он, перебегая из одного лагеря в другой и успевая пошептать *à parte* [95] со всяким из враждующих членов! И все вотще! Члены, вместо исполнения его желания, показывали ему языки (да, нынче и это делается!) и даже с дерзостью замечали, что он суется не в свое дело. Бал представлялся последним, крайним средством для сближения врагов.

– Если и после того я не успею, – сказал начальник края, – тогда...

Он хотел сказать: «тогда выйду в отставку», но запнулся и подумал: «тогда... я останусь на службе по-прежнему!»

Когда мы приехали, бал был в полном разгаре. Волнующееся море танцующих пестрело самыми яркими и разнообразными цветами; дамы грациозно колыхались; кавалеры, большею частью из правоведов, нашептывали любезности и выделяли такие па, которые положительно доказывали, что они с честью выдержали весь курс петербургских шпизбалов. В одном углу интересная блондинка млела под звуки речей местного льва, Свербиллы-Замбржицкого, который рассказывал, что вчера проиграл в стуколку последние пять целковых, что сегодня утром он успел изобличить во взятке своего надсмотрщика и что однажды в Петербурге в него влюбилось разом пять княгинь. В другом углу очень бойкая брюнетка спрашивала своего кавалера: «что вы зеваете?» Танцующих обступила густая толпа праздных зрителей, которых довольные лица, казалось, говорили:

– Эге! да ведь это всё наши!

Хорошая вещь бал, господа, но в особенности хорош бал в провинции. Он хорош тем, что служит как бы продолжением наших домашних дел, что никто из нас не переделывает себя по этому случаю, что все мы находимся как бы в семейном кружке своем. В этой непринужденности отношений есть своя особенная, неисчерпаемая прелесть. Хотя мы знаем друг друга наизусть, хотя все эти женщины с благоухающими плечами и цветущими улыбками суть, если позволено так выразиться, наши «общие жены», хотя я, например, совершенно достоверно знаю, в каком месте и какого вида находится родимое пятнышко у Варвары Соломоновны, но это не мешает нам видеть друг друга каждый раз все с новым и новым наслаждением. Причина такого явления, я полагаю, заключается в том, во-первых, что мы сами очень уж милы, а во-вторых, в том, что нам не нужно много затрудняться и насиловать воображение, чтоб найти предмет для разговора. Предметы эти общи нам всем в равной степени, и хотя мало разнообразны, но зато прямо вытекают из нашего существования и потому затроги-вают нас гораздо сильнее, нежели какой-нибудь вымученный разговор о преимуществе Тамберлика перед Кальцоляри. Те, которые

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru распространяют мнение о чопорности провинциальных балов, те или клеветают на провинцию, или не знают сами, о чем говорят и пишут. Да, они не видали тех подмигиваний и улыбок, которые пересылаются от одного конца зала в другой, они не слышали тех веселых побрякиваний, которыми сосед соседу выражает свою мысль. Что же касается до того, что на провинциальных балах царствует чиновничество, то это и не может быть иначе: чиновничество существует в природе, а потому нет резона не быть ему и на балах.

В самых дверях зала я встретился с Сидором Петровичем и с первого же взгляда убедился, что предприятие нашего почтенного начальника края совершенно не удалось.

– Скажите, пожалуйста, что это с вашим префектом сделалось? совсем, что ли, он голову потерял? – обратился ко мне этот ретроград.

Сидор Петрович в шутку называл всех вообще губернаторов «префектами», ибо стоял за self-government, [96] а централизацию признавал вредным порождением наплыва французских демократических идей. С другой стороны, Эмманюэль Иваныч называл всех губернаторов «пашами», потому что был сторонником самой строгой административной централизации и находил, что наше губернское учреждение есть горький плод нашей древней азиатской распушенности.

– Разве что-нибудь случилось? – спросил я.

– Чего «случилось»? Он, кажется, вознамерился нынче потешать публику увеселительным представлением! Вообразите:

ведь он выдумал сводить меня с нашим доморощенным Лафайетом... да ведь так и толкает, так и толкает! А тут ему сдуру Лампадников взялся помогать: тот Лафайета на меня толкает – чуть было носы нам не разбились! Извольте видеть, это у них называется примирять враждующие стороны!

– Вероятно, однако ж, его превосходительство имел при этом в виду какую-нибудь благонамеренную цель...

– Да черт его дери с его благонамеренными целями! да какое нам дело до его дурацких целей!

– Однако ж согласитесь сами, Сидор Петрович, его превосходительство, как начальник края...

– Нет, да вы представьте себе: ведь так и толкает! так и толкает! «Позвольте, господин префект, – говорю я ему, – разве в ваших instructions [97] написано, чтоб толкаться? Да вы за маленького, что ли, или за вашего adjoint или substitut [98] меня принимаете?» Так ведь нет, не унялся: щекотит у меня под мышками, да и полно! Насилу ведь освободился!

– Ах, как это неприятно! Куда ж вы теперь?

– Домой, батюшка, домой, и с этой минуты на все эти bals de la préfecture [99] ни шагу! Нет, да каков, однако? Щекотаться выдумал!

– Послушайте, Сидор Петрович, ваш отъезд может глубоко огорчить начальника края... Конечно, я советовать вам не смею, но с своей стороны, полагал бы, что благоразумное снисхождение и, так сказать, покорность воле начальства...

Но я не успел кончить, потому что Сидор Петрович как-то странно обзрел меня с ног до головы и тотчас же начал спускаться по лестнице. «Эге! – подумал я, – да какой же ты ретроград! Ты, брат, либерал, да еще какой – в нос бросится!»

Между тем в кабинете его превосходительства разыгрывалась другая история. Начальник края стоял посреди комнаты совершенно растрепанный и застенчиво выслушивал заносчивые речи Эмманюэля Иваныча. Гости сжались и притаились; некоторые изъявили явное намерение улизнуть, другие попрятались к стороне, но ни один не пикнул. Среди этой всеобщей тишины привольно было раздаваться громкому голосу нашего либерала.

– Вы обязаны были, государь мой, – кричал он, – предварительно осведомиться,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
приятно ли будет мне... да, мне! а не подмигивать какому-нибудь башибузуку
Лампадникову толкаться!

– Эмманюэль Иваныч! поверьте, я никак не думал, чтоб вы так горячо приняли такое действие, которое, в сущности, заключало в себе лишь желание примирить двух благонамеренных сограждан и...

– Я, государь мой, ни с кем не ссорился! Я имею свои политические убеждения, а Сидор Петрович – свои! Мы можем оспаривать друг друга, мы можем даже враждовать, но толкать себя никому не позволим! *Jeu de mains – jeu de vilains*; [100] время пашей прошло безвозвратно, государь мой! Вы должны бы более других помнить и понимать, что мы живем в цивилизованном государстве, которое некогда имело во главе своей блаженной памяти государя императора Петра Великого и которое мы имеем честь и счастье называть своим отечеством!

– Но поверьте...

– Извините, мне здесь не место!

Сказав эти слова, Эмманюэль Иваныч вышел, гордо потрясая головой. Зрители мгновенно вышли из оцепенения и зажужжали, как шмели в рю. Все до одного выражали непритворное соболезнование о нашем добром начальнике, который за свое усердие и благонамеренность вознагражден столь пакостным образом. Но начальник стоял бледный, приложив палец к носу, и как бы в забытьи повторял:

– Стало быть, толкаться нельзя... славно!

– Мое почтение, ваше превосходительство! – сказал я, подходя к нему.

– Здравствуйте! Вы слышали, что он говорил?

– Отчасти, ваше превосходительство; я пришел уж на самом кончике...

– Да, у него отличный дар слова! я всегда это утверждал и теперь утверждаю! Тот... Сидор... тот ничего! Поболтал-поболтал руками – и дело с концом! А этот... орел!

Я смутился; я уже надеялся, что во второй раз буду свидетелем умственного расстройства.

– Он говорит, что толкаться не следует – это так! – продолжал между тем начальник края, – но разве я толкался? Я просто хотел их свести... я просто желал, чтоб общество наше не помрачалось...

– Несомненно, что цель вашего превосходительства была самая благонамеренная...

– Не правда ли? Ведь я имел не только право, но и обязанность так поступить? Ведь мое назначение какое? Мое назначение быть миротворцем, мое назначение улаживать, соединять, предотвращать... а он говорит, что я толкаюсь!

Но хотя мы все хором спешили подтвердить, что сводить людей еще не значит толкаться, гармония была уже нарушена. Губернатор повесил нос, губернаторша бросала окрест беспокойные взоры, губернаторские *demoiselles*, танцуя, болтали руками, что случалось с ними лишь тогда, когда их волновали политические соображения.

– Я бы этого старого Манюшку (презрительное от «Эмманюэль») за ног повесил! Просто всю картину испакостил, подлец! – шепнул мне на ухо тот самый Лампадников, который помогал начальнику края примирять враждующие стороны.

– Я просто не знаю, что делать! – нашепывал мне с другой стороны начальник края, – управление губернией сделалось решительно невозможным!

– Я полагаю, ваше превосходительство...

– Вот вы увидите, что они на предстоящих выборах наделают!

– Я полагаю, ваше превосходительство, что относительно этих обывателей надлежит быть строже! – осмелился заметить я, возмущенный всем мною виденным и слышанным,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– необходимо, чтоб они всегда чувствовали руку над собой...

– Нельзя, mon cher! – отвечал он мне решительно, – зайдите ко мне завтра утром, и я объясню вам подробно, où nous en sommes! [101]

– N'est-ce pas quel esclandre? – обратилась ко мне губернаторша, – ces vieux grigous qui se donnent des airs! [102]

– Ах, матушка! – прервал ее губернатор.

– Да помилуй, Nicolas!

– Ах, матушка! – вновь настаивал губернатор.

– Папасецка! ты, навейное, этих гьюбиянов в тьюму посадишь? – сказала старшая губернаторская demoiselle, подлетевшая к нам в эту минуту и имевшая обыкновение при посторонних картавить, как маленький ребенок.

– Ах, матушка! – опять возразил губернатор.

Губернаторша и ее demoiselle спешили удалиться, потому что по опыту знали, что когда губернатор начнет говорить: «Ах, матушка!», то из него уж ничего, кроме этих слов, и не выбьешь. В этом отношении он несколько походил на попугая; бывало, вдруг нападет на него стих говорить: «Нельзя-с» – ну, целый день и говорит «нельзя-с»; в другой раз вздумает говорить: «Закона нет» – так и пойдет на целый день «нет закона». До такой степени зарепортуется, что даже когда докладывают, что кушанье подано, он все-таки кричит: «Нет закона!» – Ах, Nicolas, какой ты рассеянный! – заметит, бывало, губернаторша.

– Ах, матушка! – возразит губернатор и с этой минуты вместо «нет закона» почнет пилить: «Ах, матушка!»

Надо сознаться, что с непривычки это крайне затрудняет сношения с нашим начальником края, а незнакомых с его обычаями повергает даже в крайнее изумление. Я помню, один эстляндский барон, приехавший из-за двести верст жаловаться, что у него из грунтового сарая две вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальник губернии, вместо всякой резолюции, сказал ему: «Ах, матушка!» – и чуть ли даже не хотел довести об этом до сведения высшего начальства.

– На что это похоже! – сказывал он мне, – у него ищут правосудия, а он: «Ах, матушка!»

Но когда присмотришься к людям, когда поймешь, что все это от незлобивости происходит, тогда все делается ясно, и в сношениях никакой помехи происходить не будет.

Вдруг по зале пронесся зловещий шепот. Пьер Уколкин, цвет и надежда нашей молодежи, весь взволнованный, переходил от одного гостя к другому и таинственно передавал какую-то новость. «Телеграфическая депеша! телеграфическая депеша!» – слышалось всюду, и внезапно, вопреки всем приличиям, по углам образовались кружки, так что губернаторское семейство осталось совершенно одиноким посредине залы.

– Да что там такое? – спросил меня губернатор, встревоженный горьким предчувствием.

Губернаторша озиралась во все стороны, губернаторские demoiselles с изумлением смотрели на мать, как бы говоря: татап! татап! да что ж мы не танцуем!

– Господа! ваше поведение крайне изумляет его превосходительство, – сказал я, подходя к той группе, в которой ораторствовал Пьер Уколкин.

– Шт... le gouverneur est flambé! [103] – отвечал Уколкин.

Я не понял: я все еще думал, что речь идет об этой поганой истории между Сидором Петровичем и Эмманюелем Ивановичем, и поспешил выразить все мое изумление.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Mais non, il ne s'agit pas de cela! – шепотом сказал мне Уколкин, – je vous dis que le gouverneur est flambé![104]

В глазах у меня завертелись зеленые кружки. С одной стороны: «бедный старик!» – с другой стороны: «черт возьми, нельзя ли как-нибудь мне на его место!» – все это странным образом перемешалось в моей голове. Во всяком случае, я был крайне смущен, ибо на мне лежала тяжкая обязанность предупредить обо всем губернатора. К счастью, ее добровольно принял на себя Лампадников.

– Ваше превосходительство! – сказал он, – в древности знаменитейшие философы, будучи настаигаемы ударами судьбы, венчали себя розами...

Кругом оратора мало-помалу образовалась толпа.

– Ваше превосходительство! от лица всего общества принимаю смелость выразить вам наше соболезнование! – вмешался Пьер Уколкин.

Губернатор все еще хлопал глазами.

– Vous n'êtes plus gouverneur![105] – шепнул я ему на ухо.

Губернатор не изумился, не заплакал и не закричал. Он только инстинктивно расшаркался и сказал:

– Честь имею поздравить!

– Mais qu'est-ce que c'est donc cela? mais qu'est-ce qu'ils ont, Nicolas?[106] – приступала губернаторша.

– Честь имею поздравить! – повторил губернатор.

– Mais dites donc! mais dites donc![107]

– Честь имею поздравить! – неизменно отзывался губернатор на все приставания.

Легко можно представить себе, в какое положение были поставлены присутствующие! Ясно, что танцы должны были прерваться, ясно, что ужин... При этой мысли волосы мои встали дыбом.

«Да ведь Лампадников говорит, что в древности философы венчались розами, – думал я, – стало быть...»

Но скоро сомнения мои рассеялись окончательно. Я собственными глазами увидел, как гости один за другим брались за шляпы и незаметно исчезали.

– Какая неблагодарность! – шептала губернаторша, не объясняя, однако ж, к кому относятся ее слова.

– Честь имею поздравить! – отозвался губернатор, – а впрочем... увенчаем себя розами, как говорит Лампадников! Эй, человек! шампанского!

Но зала была пуста.

– Честь имею поздравить! – в последний раз уныло повторил начальник края.

«Кумир развенчанный все бог!» – не без иронии подумал я, надевая калоши, – однако поужинать так-таки и не удалось!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы не завтракаем, не обедаем и не ужинаем. Хотя я сам отчасти делаю то же самое, но порою, когда голод уже слишком настоятельно дает себя чувствовать, в голову мою невольно закрадывается сомнение, действительно ли мы правы, поступая столь самоубийственным образом?

Действительно ли нам угрожает опасность?

Действительно ли мир погибает под гнетом новых идей, утопает в разврате реформ и преобразований?

Действительно ли в воздухе пахнет фиалками, а не скотным двором?

Оглядываюсь кругом себя – и с удовольствием примечаю, что все обстоит благополучно. Те же попечения, та же ревнивая заботливость о благе обывателей, те же благонамеренные усилия, направленные к водворению между ними нравственности и смиренномудрия. Правда, что появилось множество неслыханных прежде промышленных обществ, но действия их ограничивались доселе только невыдачею дивиденда простодушным акционерам. Правда, что появилось множество разнообразнейших комиссий и комитетов, которые как будто намереваются перевернуть вверх дном вселенную, но действия их доселе даже и не ограничивались, а как-то лезли все вширь да вглубь да ввысь, так что вряд ли когда-нибудь и насладишься плодами их. Правда, что заварилась какая-то каша насчет трезвости, устности и гласности, но каша так и осталась кашею. Правда, что старики вымирают или кротко стушевываются, но молодые, которые взлезают на упраздненные места, отнюдь их не хуже. В них тот же запах, тот же вкус, та же закваска. Собственно, отечество нисколько от того не теряет.

Скажу более: отечество даже много выигрывает.

Мы, старики, смотрели на божий мир слишком простодушно; мы не строили систем, не добивались принципов; мы жили и действовали сплеча. Решаясь на что-либо, мы справлялись только о том, так ли было поступаемо в подобных случаях прежде; но почему поступалось именно так, а не иначе, почему Петр всегда оказывался правым, а Иван всегда виноватым, почему добродетель и смирение служат украшением простолюдинов, а пороки и непокорливость, не украшая их, служат лишь к огорчению начальства – все эти вопросы, вся эта философия жизни ускользала от нас. Мы благодетельствовали единственно по доброте сердца, и если были у нас под руками рецепты на различные административные случаи, то это были рецепты, механически списанные из домашнего лечебника, без исследования причины целительности их свойств. Напротив того, молодое поколение успело привести все это в ясность, и там, где мы говорили: «Видно, так богу угодно», – сумели доискаться до системы, а там, где мы говорили: «Сам черт не разберет», – дорылись до принципов. Таким образом, хотя сущность осталась та же, что и прежде, но Иван уже знает, почему он должен оставаться виноватым, а простолюдины не оставлены в неведении насчет того, что именно должно считаться их украшением и что посрамлением. Ясно, что жизнь сделалась несравненно более приятною.

Конечно, наш милый полковник Стопашовский и грек Лампурдос справедливо выразились, что без системы нельзя, но они ошиблись, сказав, что именно в настоящее время мы живем без системы. Удостоверяю их, что никогда «система» не сказывалась столь настоятельно, как в настоящую минуту. Прежние системы были не что иное, как младенческий лепет перед теми, которые воздвигаются ныне. Легко выговорить: мы масоны! но не легко доказать это. Разумеется, нельзя отрицать, что в полковнике, как и во всех нас, было нечто масонское, но это было масонство, если позволено так выразиться, нелепое, носящее на себе признаки галиматый. Спрашиваю полковника: имел ли он таинственные совещания насчет постепенного и неторопливого развития человечества с другими масонами-полковниками? Был ли составлен у них руководящий кодекс чернокнижия? Усматривали ли они связь явлений, чувствовали ли необходимость дисциплины, и не действовали ли единственно в силу личных ощущений? На все эти вопросы он сам, конечно, не дает иного ответа, кроме отрицательного: скажите же на милость, какая тут может быть система?

Я не говорю уже о том, что у каждого из нас, старых масонов, были правители канцелярий и секретари, которые также в своем роде были масонами; важнее всего то, что мы не имели понятия о том, что такое дисциплина, что такое корпорация. Мы думали, что всякий из нас может дуть в свою дудку, как ему угодно; мы свободно яшались с суетными и непосвященными; мы охотно прохаживались с ними по хересам, отнюдь не подозревая, что это общение приучает их смотреть на нас как на простых смертных и поселяет в них вредную мысль о возможности кормить нас со временем подзатыльниками. Напротив того, истинный масон всегда живет особняком и сохраняет гордую неприступность; подобно идолу, он стоит где-нибудь в углу, одетый сумраком; жрецы (правители канцелярий) сметаю с него пыль, а обыватели только кадят и славословят – и ничего более.

Истинные масоны только теперь нарождаются на Руси и, надо отдать им справедливость, понимают свое дело отлично. Несмотря на молодость и неопытность,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru они сразу постигли, что галиматья, взятая сама по себе, есть вещь отличная и что вся штука заключается в том, чтоб возвести ее в перл создания. Вот они и возводят; собирают воедино разрозненные клочки, сдобривают их принципом законности, подправляют и упрощают принципом формальности, освещают принципом неприступности и наконец скрепляют все это особою меркуриально-административною подболткою. Какое выходит из этого кушанье, про то знают обыватели. Что нового произошло? – Ничего.

Какие вторглись в нашу жизнь новые идеи? – Никакие.

Какие такие реформы гложут нас и заставляют ежечасно бледнеть? – Никакие.

Итак, галиматья осталась, но галиматья, возведенная в перл создания. Отчего же мы испугались, отчего потеряли аппетит, составлявший доселе лучшее украшение нашей жизни? Я вам скажу – отчего.

Несмотря на дряхлость и истощение сил, мы желаем жить. «Послужил бы, ей-богу, еще послужил бы!» – повторяем мы беспрерывно: до такой степени слова «жить» и «служить» сделались в понятиях наших синонимами. Привыкнув действовать всегда во имя личных ощущений, мы и на все происходящее в мире смотрим в силу этих же ощущений. Если бы мир разрушался, но нас это разрушение не коснулось, – мы не почувствовали бы его, мы не ощутили бы ни озлобления, ни негодования. Но худо то, что мир стоит, а мы разрушаемся. Это мы уже считаем дерзостью, и на все, что не валится кругом нас, смотрим как на посягателей, отнимающих наши лакомые куски. Отсюда стоны, раздирающие воздух, отсюда вопли о вторжении новых идей, угрожающих будто бы смертью старым порядкам.

История эта не новая. Всякий раз, как какой-нибудь Иван Петрович сходит с деятельного поприща и на смену его является Петр Иванович, мы уже трясемся и надсаживаем себе грудь, крича, что послезавтра имеет быть революция. Кто нашептывает нам эту мысль, кто внушает нам такое обидное мнение о Петре Ивановиче – мы и сами затруднились бы объяснить это, но несомненно, что явление это повторяется без ошибки каждый раз, как на горизонте восходит новое светило. Нам и в голову не приходит, что светило это вовсе даже не светило, а просто-напросто новый милостивец, что ни сущность дел, ни течение их нимало от того не изменяются и что вся штука ограничивается тем, что на место Ивана Петровича, покровительствовавшего многочисленной династии Трифоновичей, поступил Петр Иванович, покровительствующий не менее многочисленной династии Сидорычей. А кто же и в какие времена мог уловить политические признаки, характеризующие эти две разновидности?

Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифоновичей – вот, благодарение богу, все политические перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка королей и вальтеров может назваться революцией, то, конечно, нельзя не согласиться, что она совершается и на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время она совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифоновичей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые.

Но вопрос не в этом; вопрос в том, следует ли из этой перетасовки заключать, что на том месте, где ныне стоит любезное отечество, будет завтра дыра? Следует ли полагать, что те куски, которые нынче, по естественному ходу вещей, попадают нам в рот, с завтрашнего дня начнут попадать в рот Иванушкам? – Отнюдь! Напротив того, я даже уверен, что благодаря усугубленной деятельности нео-Трифоновичей, у нас будет со временем не одно, а полтора отечества, и что в наши рты попадут даже те куски, которые, по всем правам, следовали бы Иванушкам...

Соображая все вышеизложенное, я нахожу, что мы имеем более причин радоваться, нежели унывать. Что нужды, что нас оттирают, а отчасти и умерщвляют? Подобно полковнику Стопашовскому, мы обязаны в этом случае позабыть о себе и иметь в виду одно отечество. Если оно довольно, если преемники наши не только не отступают от мудрой политики своих предков, но даже видимо оную совершенствуют – этого достаточно для успокоения уязвленных сердец наших!

Итак, забудем наши горести и станем жуировать жизнью в надежде, что доблестные потомки не посрамят имен и дел доблестных отцов своих. Благо тому, кто в этой сладкой уверенности может встретить тихий закат жизни своей! Благо тому, кто, взирая на резвящуюся юность, может без озлобления сказать: «да, и я был молод! и я в свое время проказничал!»

ЛИТЕРАТОРЫ-ОБЫВАТЕЛИ
Пчелка золотая!

Что ты жужжишь?

Все вокруг летая,

Прочь не летишь?

Конечно, вам случалось, читатель, пробегать в газетах и журналах последнего времени различные «голоса» из всевозможных концов России: и из Рязани, и из Елабуги, и из Астрахани, одним словом, отовсюду, где только слышится человеческое дыхание. Вы, вероятно, заметили также, что характер этих «голосов», «заметок», «впечатлений» и проч. совершенно не тот, каким отличались подобные же литературные произведения, еще столь недавно находившие себе убежище в «Московских ведомостях». В них уже не идет речи о том, что вчерашнего числа в городе N выпал град величиною с голубиное яйцо, но повествуется преимущественно о предметах, близко касающихся нашего умственного и гражданского развития, о граде же хотя иногда и упоминается, но вскользь, и единственно для того, чтоб заявить, что при единодушных усилиях местных полицейских властей и этот бич не мог бы иметь тех пагубных для земледельца последствий, с которыми он сопряжен в настоящее время. Не говорится в них даже и о том, что такого-то числа в городе Б., на бульваре, играла музыка белобородовского пехотного полка, а господа офицеры наслаждались благоприятною погодой и очаровывали дам своим благонравием; напротив того, если порою и встречается рассказ о каком-либо происшествии подобного рода, то музыка и самая погода являются здесь делом побочным; главные же усилия автора направлены к тому, чтоб заявить, что во время музыки произведен был скандал, причем прапорщик К*** ущипнул жену винного пристава («не сын ли это вышеволоцкого готтентота?» – спрашивает анонимный корреспондент).

Не знаю, как кого, а меня это явление очень радует. Как человек благонамеренный и современный, я с удовольствием взираю, как любезное наше отечество полегоньку выворачивается наизнанку. И не то чтоб мне нравился собственно процесс этого выворачивания, но я искренно убежден, что только благодаря ему наша изнанка в непродолжительном времени перестанет быть скверною и дырявою, какою была до сих пор, и с помощью соединенных усилий калужских, рязанских и астраханских корреспондентов заменится, хотя неизящною, но зато несокрушимую подкладкою из арестантского холста.

И действительно, многие уже заявленные в этом смысле попытки самым отрядным образом убеждают меня, что если корни гласности горьки, то плоды ее отменно вкусны и сладки. Таким образом, например, следя за «голосами из Рязани», я с удовольствием вижу, что город этот решительными и быстрыми шагами изготавляется к совершенству. Там процветает женская гимназия; там открыты воскресные классы и публичная библиотека; там, в Зарайском уезде, благоденствовали общества трезвости, покуда известный публицист и либерал (по-русски: «свободный художник») Василий Александрович Кокорев (он же и местный откупщик) своими очаровательными манерами вновь не приковал мужичков к кабаку; там в недавнее время устроен бульвар в таком месте, где со времен Олега сваливался навоз («куда же мы теперича навоз валить будем?» – спрашивают друг друга смущенные обыватели – не литераторы); там имеет быть выстроен, стараниями откупщика, каменный театр, и носятся даже слухи об устройстве водопровода... Отдыхая сердцем на этих утешительных известиях, я живо представляю себе и обывателей города Рязани, спешащих принести свою лепту на общественное устройство, и душу-откупщика, устремляющегося выстроить не питейный дом, как бывало прежде, а храм искусств, в котором будут приноситься посильные жертвы Талии и Мельпомене! И все это без малейшего подзатыльника, без самоничтожнейшей административной затрещины; по одному только искреннему убеждению, что пора и нам... тово... тово воно как оно! И я невольным образом восклицаю: «Ах! если бы можно было умереть в Рязани!»

Но если хороша Рязань, то не дурна и Калуга. И в ней с большим рвением принимаются за анализирование отечественных нечистот, и в ней болезненно звенит в воздухе вопрос о женской гимназии, и в ней идет усердная очистка улиц и деятельно освобождаются площади от наслоившегося на них навоза. Одним словом, все шло бы хорошо, если бы, несколько месяцев тому назад, не подпакостили шесть или семь молодых прогрессистов, которые, являсь пообедавши в театр, неизвестно почему вообразили себе, что пришли в баню и начали вести себя еп

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru consequence. [108] «Не дурно умереть и в Калуге!» – размышляю я, ибо надеюсь, что упомянутые прогрессисты потому только действовали столь бесцеремонно, что были пообедавши и что перед обедом они парни смиренные.

Меня до слез трогала полемика между селом Ивановом и Вознесенским посадом. «Коварные вознесенцы!» – восклицал я, читая статейку ивановского обывателя. «Да куда же, однако, вы лезете, ивановцы!» – думал я, с другой стороны, смакуя возражение обывателя Вознесенского. И я до сих пор не мог уяснить себе, в чем заключаются обиды и язвы, которыми преисполнен этот знаменитый спор двух муниципий, но лицам, имеющим чувствительное сердце, не советую читать относящиеся до него документы, так как чтение это может довести до идеи о самоубийстве.

Вот сладкие плоды гласности! Подобно лире Орфея, она приводит в движение утесы, в гранитности которых никто доселе не сомневался, и заставляет плясать бессловесных, которые до настоящей минуты паслись по привольным равнинам обширного нашего отечества. Под влиянием тихого ее веянья умственные тундры наших бюрократов населяются цветами проектов и предположений, а сердца обывателей воспламеняются неутолимою жаждой просвещения и добровольных пожертвований. Под сенью ее весело засыпают все «Ивановы», «Батраковы», «Калужане», «Угличане», «Проезжие», «Прохожие» в сладком убеждении, что и они не бесполезные члены общества, что и им удалось пролить капельку в обширную лохань родного преуспеяния.

И если противники гласности указывают мне на какой-то Краснорецк, где будто бы и до сих пор, подобно ветру пустынь, рыскает по улицам Рыков, сокрушая зубы попадающимся навстречу обывателям, то я отнюдь не смущаюсь этим обстоятельством. Во-первых, рассуждаю я, свету истины не суждено проникать с одинаковою легкостью во все закоулки земного шара, и если существуют на свете целые страны, погруженные в скверну исламизма, то почему же Краснорецку не быть погруженным в скверну зуботычин? Во-вторых, если Рыков и действительно не внемлет спасительным увещаниям гласности, то это составляет лишь частный случай, доказывающий, что голова Рыкова подобна каменоломне, для разработки которой потребен железный лом, а не гласность. И в-третьих, наконец, что значит мрачный скрежет зубов одинокого Краснорецка перед радостными кликами, раздающимися в пользу гласности в Пензе, Тамбове и других центрах отечественного просвещения?

И, не обращая более внимания на унылый Краснорецк, я с сердечным замиранием жду каждого нового номера «Московских ведомостей». Из них я узнаю, во-первых, что у нас, в городе Глупове, городничий совсем от рук отбил; на главной площади лежит кучами навоз; по улицам ходят стаями собаки, готовые растерзать всякого indiscret; [109] в трактирах вонь и мерзость; торгующее сословие продает втридорога и притом дурной товар; в довершение же всего, на днях виден был на небе метеор, но никто не заблагорассудил обратить на него внимание, ибо купцы и мещане в это время уж спали, а городничий и прочие аристократы играли в карты. «Да, брат, плох ты! совсем, старик, плох! – обращаюсь я мысленно к глуповскому городничему, – пора бы тебе в отставку да с женой на печку спать!» Во-вторых, я узнаю, что в городе Нововласьевске был предложен обществу вопрос о женском училище, но общество оказало при этом не только равнодушие, но даже невежество, соединенное с тупоумием; городничий, как урожденный насадитель просвещения, простер было десную свою, чтоб учинить бородотрясение одному из ревнителей тьмы, но должен был остаться при одном намерении, ибо общество единодушно оскалило зубы. «Да, брат! – обращаюсь я мысленно и к нововласьевскому городничему, – лет шесть тому назад попытки твои, всеконечно, увенчались бы успехом: и бороды были бы вытрясены, и Нововласьевск не остался бы без просвещения, а теперь вот... ахти-хти-хти!» И еще, наконец, узнаю, что в окрестностях города Ляказина ухаёт в болоте какая-то птица; что крестьяне в один голос говорят, что это ухаёт леший и предвещает войну, а исправник и не думает об истреблении этих предрассудков, как будто бы это и не его дело!

Прочитавши все это, я ощущаю спокойствие во всем моем организме. Я убеждаюсь до очевидности, что нет уголка на Руси, который не имел бы своего песнопевца, карателя пороков и оградителя чистоты и невинности; что десница его оградит меня в моих странствиях и удержит стационарного зрителя от отказа мне в лошадях, если сии последние действительно находятся налицо, а не в разгоне. Я сознаю себя безопасным; я чувствую, что могу жить и дышать свободно; что если кровожадный откупщик отпустит мне скверной водки, то не останется без обругания; что если ночью на улице нападут на меня собаки, то бдительный градоначальник выскочит

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru из-за угла и не допустит растерзать меня; что если у меня в доме случится пожар, то местная пожарная команда распорядится мною и моим имуществом прежде даже, нежели я о том проведаю.

Вот сладкие плоды гласности! – снова восклицаю и, полный прочитанного, спокойно засыпаю себе с «Московскими ведомостями» в руках, а во сне между тем бесчисленными группами восстают передо мной все новые и новые родные срамоты!

Не могу до сих пор позабыть то ужасное, потрясающее действие, которое произвело в нашем родном городе Глунове получение первой обличительной статьи, направленной против нашего градоначальника. Погода в этот день стояла тихая и радостная; дороги были в самом исправном положении, и почта по этому случаю пришла необыкновенно рано, как бы сговорившись с редакцией «Московских ведомостей», чтоб сколь возможно неотложнее поразить наш город скорбью. Почтенный наш градоначальник, как нарочно, встал утром с постели правой ногой и, будучи в отличном расположении духа, отправился обрезать сухие сучья у недавно посаженных им яблонь; супруга его, сидя на крыльце, варила варенье из только что поднесенной ей сочной и крупной клубники; маленький Коля и крохотная Ляля прыгали и резвились, поминутно перебегая от нежно любимой баловницы-матери к строгому, но справедливому отцу.

– Мамаса! эту кубнику купец пьсьяй? – пищала суетливая, от природы наделенная замечательным хозяйственным взглядом Ляля.

– А вцеласнее сено папаса Иван Фомич пьсьяй! – задумчиво рассуждал Коля, заглядевшись на вкусные пенки, налипавшие на варенье.

– Мамаса! это за то, стоб папаса Андююску ихнего высек? – допытывалась резвая Ляля.

– Цыц, пострелята! – отозвался наш градоначальник, вслушавшись в долетавшие до него отрывки невинного детского разговора, – уйми ты их, сударыня! этак они, пожалуй, при губернаторе сдуру ляпнут!

Одним словом, все здесь дышало идиллией, но не той приторно-сладкой идиллией, в которой действующими лицами являются раздурянные пастухи и пастушки, а нашу родную, отечественную идиллией, которая преимущественно избирает себе убежище в самом сердце полиции (по пословице: «невинное к невинному льнет») и в которой замечается полное отсутствие барашков (барашки эти, в виде брюхастых купцов и изворовавшихся мещан, обыкновенно пасутся там, где кончается картина, а именно в глуповском гостином дворе), – одним словом, идиллией, в которой нередко слышатся доносящиеся с пожарного двора крики: «Ай, батюшки, не буду!»

Но в мире всегда так бывает, что чем чище и непорочнее невинность, тем менее она приобретает прав наслаждаться плодами своей безукоризненности. Невинный ягненок едва успел подойти к ручью, чтоб утолить жажду, как на него уже наскакивает хищный волк и самым наглым образом придирается к нему, что он мутит воду («а я совсем и не мутил!» – пищит ягненок). В реке Ниле беспечно купается бедный мальчик, а из-за камышей уже стережет его крокодил. В городе Нововласьевске некоторый фабрикант, благодетельствуя своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю, как вдруг налетает на него бюрократ и как дважды два – четыре доказывает, что товаром сим спекулировать воспрещается («Ваше превосходительство! позвольте мне двадцать тысяч на общепольное устройство пожертвовать!» – как белуга ревет фабрикант, сиюсь освободить попавшую в капкан лапу. «Изволь, братец», – отвечает его превосходительство). Тем менее должен был ожидать себе от судьбы пощады наш градоначальник, который, несмотря на чистоту своих побуждений, все-таки был менее невинен, нежели упомянутые выше ягненок, купающийся мальчик и нововласьевский благодетельный фабрикант. И действительно, царствовавшая в городническом доме с утра идиллия была возмущена самым неожиданным образом, и крокодилом на этот раз явился уездный стряпчий.

Стряпчий вбежал прямо в сад, как говорится, словно с цепи сорвался.

– Необыкновенная вещь! удивительная вещь! – во все горло кричал он, еще издали махая только что полученным номером газеты.

У градоначальника во рту сделалось горько: ему представилось, что в руках у стряпчего указ губернского правления о предании его за невинность суду, и вдруг,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не более как в несколько секунд, он пережил всю прежнюю жизнь свою.

– Что такое? что такое? – мог он только проговорить, устремляясь навстречу гостю.

– Вот уж подлинно гость хуже татарина! – ворчала между тем градоначальница, которая от испуга чуть-чуть не выронила из рук тазик с вареньем.

– А вот-с, прочтите-с! – отвечал стряпчий, тыкая пальцем в одно место развернутого листа.

В этом месте было изображено:

«Что сказать вам о нашем городе? Несмотря на всеобщее стремление к преуспеянию, у нас оказывается полное равнодушие к общественным интересам, а в кругу наших аристократов только и слышатся что толки о вчерашнем преферансе. Грустно! За доказательствами, впрочем, ходить не далеко. В недавнее время был в нашем городе пожар; сгорели холостые постройки при доме мещанки Залупаевой, и как бы вы думали, кто последний явился на пожаре? Стыжусь за свой город, но из уважения к истине (*amicus Plato, sed magis arnica veritas*) должен во всеуслышание объявить, что последнюю прибыла наша пожарная команда, и притом прибыла в то время, когда пожар был окончательно потушен усилиями частных лиц. Говорят, будто городничий был в то время на пульке у одного из наших аристократов и не мог оторваться от интересной игры; говорят, будто и пожарная команда была занята совсем другим делом... Мало ли что говорят! Поневоле вспомнишь описанный в вашей многоуважаемой газете пожар в городе А**, во время которого начальник губернии действовал лично, и притом с таким самоотвержением, что у него обгорели фалды! А пора бы, кажется, и нам!

Туземец».

Когда наш градоначальник прочел эту рацею, окружающие предметы внезапно исчезли из глаз его, и воздух наполнился зелеными струистыми кругами, которые то отделялись друг от друга, то снова сплывались. За ними, словно сквозь дымку, виднелась черная пропасть, из которой грозилось губернское начальство. Уничтоженный и ошеломленный, стоял он, выпустив газету из рук и ухватясь за фалды. Конечно, в эту минуту он ничего так страстно не желал, как того, чтоб глупые его фалды сгорели дотла и он уподобился бы тому герою, который прославил собою город А**.

– Что там за глупость еще написана? – вступилась градоначальница. – Ляля! подай-ка сюда газету!

– Да-с, пощелкивают-таки нашего брата! – задумчиво заметил стряпчий, – эта гласность, доложу вам, словно тля: раз заведется, так и съест поедом человека дотла!

– Да и вы хороши! разбежались с маху, точно и бог знает радость какую принесли! – колко отозвалась градоначальница. – Это все, я думаю, учителяшки пакостят!

Голос дорогой супруги возвратил градоначальника к сознанию горькой действительности, но этот возврат выразился в нем как-то беспорядочно.

– желал бы я! желал бы я! – вдруг вскрикнул он таким неестественным голосом, что стряпчий затрясся и побледнел как полотно, а дети в испуге заметались и, в довершение всего, разразились самым неистовым плачем.

Вероятно, он имел намерение выразить этим восклицанием, что желал бы знать, кто был неизвестный составитель пасквиля, но по стиснутым кулакам можно было догадываться, что восклицание имело и другой смысл.

– Я тебе говорю, что это учителяшкп пакостят! – отозвалась градоначальница, которая одна не потеряла присутствия духа.

– Жив не хочу быть, коли не изуродую! – вопиял градоначальник.

– А я бы на вашем месте презрел-с! – заметил стряпчий.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Нет, уж это аттанде! [110] Истинным богом клянусь, что зубы в пепел обращаю.

– Еще неизвестно, как губернское начальство посмотрит! – благоразумно увещевал стряпчий, – с следующей же почтой запросца надо ожидать-с!

– Ну что ж, я так и отвечу, что распоряжение сделано!

– Ну да-с... а все-таки будто сомнительно! Нынче, Федор Ильич, пасквилянты-то не долу смотрят, а больше вздравши нос ходят! Я с своей стороны полагал бы не горячась, а исподволь... домашними средствами... через час по ложке...

– А что ты думаешь? ведь Иван-то Пахомыч правду говорит! – заметила градоначальница.

– Сквозь строй жизненных обстоятельств пропустить, – задумчиво пояснил свою мысль стряпчий, – чтоб человека сего, так сказать, постепенными и неторопливыми мерами огня и воды лишить... так-то-с!

– Понимаю, – отвечал градоначальник.

– Например, если человек этот имеет привычку прогуливаться, можно неизвестных людей на него напустить, которые, будто пьяные, могут легонько бока ему помять, а потом скрыться-с!

– Понимаю, – сказал градоначальник.

– Ах, это бесподобно! – воскликнула градоначальница.

– Или, например, Яшку-вора научить, чтоб он у того человека в квартире пошарил!

– Понимаю!

– Или, например...

– Понимаю! – воскликнул градоначальник, переходя от уныния к восторгу и благодарно сжимая в руках своих обе руки стряпчего. – Анна Петровна! водки и закусить!

– Так-то лучше будет! – задумчиво заключил стряпчий.

Выпивши и закусивши, градоначальник наш, по обычаю, отправился пешком осматривать город, и глуповские мещане могли собственными глазами убедиться, что в лице его было что-то ангельское. В этот достопамятный день в городе Глупове не было разбито ни одной рожи, а торговля и промышленность внезапно процвели яко крин сельный. Пришедши в лавку мясника Брадищева и увидев, что мясо покрыто не холстом, а грязной рогожей, градоначальник не полез на хозяина, как озаренный, но кротко и учтиво сказал, что говядина, любезный мой, по Своду законов, должна быть чистым полотенцем покрыта. «Это не я, милый мой, говорю, а Свод законов!» – На такую речь Брадищев мог лишь выпучить глаза, как бы говоря ими: «Да что ж ты по зубам-то меня не бьешь?» – но и за всем тем градоначальник не воспользовался своим правом, а только вздохнул и отправился тихим манером в лавку мясника Усачева, где также действовал кроткими мерами убеждения.

На возвратном пути из обзора встретился исправник, который, по всему было видно, поспешал к Федору Ильичу, чтоб поделиться с ним свежую новостью и сообща пособлезновать.

– Скажите, какая новость! – крикнул он ему с дрожek, остановив на минуту ретивую пару кругленьких саврасок.

Но Федор Ильич, не прекращая шествия, лишь улыбнулся кротко и махнул рукой.

– Да стойте же! – закричал ему вслед исправник, – на пульке-то сегодня будете?

Градоначальник остановился и несколько секунд пребывал в мучительной борьбе с самим собою.

– Буду! – сказал он наконец решительно и плюнул при этом в сторону, как бы

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
отбиваясь от дьявольского наваждения.

– То-то же! – присовокупил с своей стороны исправник, – смотреть-то на них нечего!

Вслед за тем встретился судья, который шел пешком и, по причине тучности, до того запыхался, что, ставши лицом к липу с градоначальником, некоторое время разводил только руками. Федора Ильича несколько покорило.

– Скажите, какая новость! – проговорил между тем судья.

– А вам что за дело? – со злобою отвечал городничий и, отвернувшись от судьи, пошел своею дорогой.

Но не успел он пройти и десяти шагов, как из-за угла вскинулся на него почтмейстер.

– Скажите, какая новость! – кричал он, как-то странно всхлипывая.

– Эк вас, чертей, развозило! – процедил сквозь зубы градоначальник и потом, в свою очередь наскочив на почтмейстера, не без азарта спросил: – Позвольте, Иван Максимыч, вам что от меня угодно?

– Помилуйте, Федор Ильич... я ничего-с... я собственно по чувству христианского человеколюбия-с...

– Ну, так я вам вот что скажу: когда про вас будет в газетах написано, что вы на почтовых лошадях по городу ездите, что вы с почтосодержателей взятки берете, что вы частные письма прочитываете... тогда я вам крендель пришлю! А теперь прошу вас оставить меня в покое!

Сказав это, градоначальник почти бегом добежал до дому, и только тогда отдохнул душой, когда взялся за скобку двери.

Одним словом, в среде нашей уездной аристократии переполох был решительный. Каждый из членов ее счел нужным сойти в глубину души своей и проверить свою служебную и даже домашнюю деятельность. Оказалось, что дело совсем дрянь выходит. Почтмейстер простер свою щепетильность в этом отношении до того, что вдруг почувствовал, будто в квартире его пахнет чем-то кисленьким, и в ту же минуту приказал покурить везде порошками. Окружный начальник сначала храбрился и не прочь был даже посочувствовать неизвестному корреспонденту, но потом, пошептавшись о чем-то с исправником, вдруг побледнел и с этой минуты начал звонить во все колокола, что это ни на что не похоже и что этак, чего доброго, незаметно можно подорвать величественное здание общественного благоустройства. Один исправник остался совершенно равнодушен к общей тревоге и в этот же вечер, обыграв, по обыкновению, своих партнеров в карты, с самым убийственным хладнокровием произнес: «По мне, лишь бы выигрывать, а затем милости просим!.. хоть в каждом номере!»

Весть о посрамлении городничего дошла и до граждан города Глупова, но здесь эффект, ею произведенный, был совершенно особого рода. Прежде всех, как и водится, узнал городской голова, к которому прямо от городничего забежал стряпчий. Должно быть, рассказ стряпчего был особенно умилителен, потому что голова, слушая его, совсем растужился.

– Ишь ты что! – сказал он, когда стряпчий кончил, – что ж теперича мне-ка делать?

– Да надо бы... тово...

– Опчество собрать, видно, надоть, – продолжал голова и жалобно вздохнул.

– Общество не общество, а именитых.

Голова вновь вздохнул.

– Однако, как же это? – произнес он, – не в пример, значит, прочим?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Ну, так что ж такое?

– Ничего-с... я так только – к примеру, что опчество собрать, видно, надоть... ничего-с, можно-с!

На скорую руку были собраны в дом головы именитые, к которым хозяин держал речь.

– Ну, именитые, – сказал он, – градоначальника нашего обидели... Бог грехам терпел, царь жаловал, губернии начальник благодарность объявлял, а пес борзой облаял... подит-кось!..

– Значит, смириться должен! – произнес один из именитых.

– Это, Федор Афанасьевич, значит, для смирения ему бог послал, – произнес другой.

– Божьи дела судить нам не приходится, – сказал голова, – а выражение от нас по этому случаю потребуется!

Именитые переглянулись.

– Что ж, именитые, почтить начальника в горести, по мере силы-возможности, есть каждого долг и обязанность...

Молчание.

– Итак, возблагодарим создателя! – произнес голова, вспомнив, что однажды начальник губернии именно этими словами кончил речь свою. Одним словом, совещание кончилось благополучно, и именитые вполне оправдали при этом звание граждан города Глупова, которое они с честью носили.

И вот таким образом «Московские ведомости» сделались причиной, что наш градоначальник был в этом году лишний раз именинником.

В этот же вечер, в трактире купца Босоногова, собрались всех шерстей приказные. Разговор, как и следовало ожидать, шел об афронте, полученном городничим, но все решительно терялось в догадках насчет сочинителя этого афронта. Спор шел горячий и оживленный; говорили и pro и contra; [111] находились защитники и у городничего, но справедливость требует сказать, что большая часть спорящих оказалась приверженною благодетельной гласности.

– Нельзя достаточно похвалить неизвестного корреспондента, – произнес секретарь уездного суда Наградин, – в настоящем случае он явил себя истинным гражданином.

– Лихо откатал городничего! – отозвался столоначальник Благолепов.

– Чего уж откатал! в самое рыло угодил! – присовокупил секретарь магистрата Столпников.

– Не об откатании идет здесь речь, – заметил Наградин, – ибо статья написана без излишеств, и истина является в пристойном ей одеянии. Достохвально то, что неизвестный корреспондент отважился взять на себя защиту прав человечества против посягательства лица сильного и власть имеющего!

– Не могу, однако ж, не сказать, что неизвестный поступил крайне неосторожно, – возразил секретарь полиции Попков, – ибо городничий, какой бы он ни был, все-таки установленная власть!

– Патрона своего защищаете, почтеннейший!

– Нет, не патрона защищаю, а сужу дело по существу!

– Несть власть, еще не от бога! – вздохнув, сказал архивариус Пульхеров и как-то тоскливо заглянул в следующую комнату, где на большом столе, в симметрическом порядке, красовались графины с различными сортами водок.

– Против этого не возражаю, но не могу от себя не заметить, что и в Писании не похваляются глупые девы, погасившие светильник; в настоящем же случае

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
градоначальник наш едва ли не уподобился означенным глупым девам.

При этих словах в залу трактира вошло новое лицо; при появлении его собеседники значительно переглянулись, как будто бы всех их озарила одна и та же мысль. И действительно, вошедший был не кто иной, как учитель глуповского уездного училища Корытников.

– Иван Фомич! милости просим побеседовать! – радушно пригласил Столпников.

Корытников был еще молодой малый, только что преодолевший трудности гимназического курса. Поселившись в Глупове с недавнего времени и имея слишком ограниченные средства жизни, он вообще редко показывался в обществе; но на этот раз почему-то нашел нужным изменить своей обычной нелюдимости и, войдя в трактир, обнаружил особенную потребность к душевным излияниям. Он выступал какою-то смелою, бойкою поступью, и все его молодое лицо как будто светилось улыбкою.

– Что, господа, не о сегодняшнем ли номере газеты рассуждаете? – спросил он.

– Вообще о гласности, – отвечал Наградин, – желательно бы знать мнение ученого сословия на этот счет.

– А что? ловко статейка написана? – спросил Корытников, которого, по-видимому, более интересовало впечатление, произведенное статьею, нежели отвлеченные рассуждения о последствиях гласности.

– Нечего сказать, лихо откатал неизвестный! – отозвался Благолепов.

– Угодил в самое рыло! – повторил Столпников, которому, очевидно, понравилось это выражение.

Корытников, смеясь, пожал Столпникову руку.

– Я, господа, так рассуждаю, что настоящее время – самое благоприятное для гласности! – сказал он, становясь в позу и незаметно впадая в дидактизм, – для России наступает, так сказать, эпоха очищения. Потребность очищения чувствуется повсюду; она разлита в воздухе; она проникает все слои нашего общества; она до такой степени присуща всем нам, что если я, например, встречаю на улице подлеца, то не могу воздержаться себя, чтоб не высказать ему во всеуслышание, что он подлец!

– Не будет ли слишком шибко? – возразил Попков, сомнительно посмеиваясь.

– Нет, это будет только священной обязанностью со стороны каждого гражданина, сознающего свой долг в отношении к обществу! Я убежден, что если все мы будем так действовать и мыслить, то очевидно, что подлецам, негодяям и тунеядцам невозможно будет существовать на свете! Единодушия, милостивые государи! единодушия требует от вас страждущее общество, и вы сами изумитесь, как скоро и как естественно воцарятся на земле добро и истина!

– И подлецов будут по рылу бить! – воскликнул Благолепов, весело подпрыгивая.

– А учителя и архивариусы будут господствовать! – задумчиво заметил Пульхеров, почесывая себе колени.

Все засмеялись.

– Позвольте, господа! – отозвался Наградин, – заключение Ивана Фомича хотя и нельзя признать безусловно верным (ибо подлецы бывают телосложения различного, и не всякий из них допустит сказать ему в лицо слово истины!), но вместе с тем нельзя и отрицать, что обличение, выраженное в форме легкого нравоучения, несомненно должно принести пользу. С этой точки зрения я не могу не радоваться, что и наш родной Глупов нашел своего дееписателя.

– А что? ведь ловко статейка написана?

– И ловко, и благоразумно... нет недостатка в словесных украшениях, но нет и излишеств...

Корытников, при такой похвале, весь вспыхнул от наслаждения.

– Одним словом, – продолжал Наградин, – если неизвестный сочинитель скрывает себя в лице вашем, то позвольте приветствовать вас и поздравить с успехом!

Наградин протянул руку Корытникову, а за ним и все прочие бросились поздравлять его. Со всех сторон посыпались восклицания и радостные возгласы; причем Столпников не преминул в третий раз сказать: «Угодил в самое рыло!» Один Попков смотрел как-то сумрачно и исподлобья.

– Вы угадали, господа! – сказал Корытников взволнованным голосом, – автор статьи, вызвавшей ваше сочувствие, действительно я! Но не могу не оговориться при этом, что я действовал в этом случае не сам собою; я был не что иное, как орудие, выразившее общую потребность! Повторяю, господа, времена созрели! Умолчи я, несомненно нашелся бы другой, который, быть может, еще с большею резкостью выразил бы чувства общего негодования! Так или иначе, но кара была неизбежна – таков непреложный закон общественной Немезиды!

– Это справедливо! – выразился Наградин, как бы давая тем почувствовать, что и он не прочь бы попытать счастья на поприще гласности.

– Стой, братцы! – воскликнул Благолепов, – уж коли на то пошло, так и я... тово... решился!

– Ура! – загремели присутствующие.

– Давеча прочитал я статью Ивана Фомича, и вдруг как будто свыше меня озарило! Думаю: катать так катать... чем наша изба хуже городнической!

– При тебе? – лаконически спросил Наградин.

– При мне-с, – отвечал Благолепов, робея.

– Послушаем, – сказал Наградин.

Благолепов вынул из бокового кармана бумагу, откашлялся и совсем было приступил к чтению, но вдруг смалодушествовал и застыдился.

– Валяй! – поощрили присутствующие.

Благолепов начал:

«У нас судья очень хороший человек. Тучности столь необыкновенной, что даже когда в кресле сидит и ничего не делает, то и тут, по времени, столь запыхается, как бы верст тридцать не кормя сделал. А фанты и он вынимать мастер».

Автор остановился.

– Продолжай! – сказал Наградин.

– Все-с, – отвечал смущенный Благолепов.

– Недостаточно, – сказал Наградин.

– Отделки мало, – отозвался Корытников, – мысль есть, но не мешало бы, так сказать, округлить ее, чтоб она являлась не в наготе, а окруженная приличными атрибутами!

– У меня еще другое есть написано-с! – проговорил Благолепов.

– Послушаем, – произнес Наградин.

«У нас заседатели хорошие люди»...

– Это можно изменить-с, – сказал он, вдруг остановившись.

– Ничего, продолжай! – сказал Наградин.

«У нас заседатели хорошие люди. Придут в суд и ковыряют в носу, доколе секретарь не сунет в руки докладного и не заставит резолюции переписывать. Один на днях начал с оборота листа переписывать и сим образом весь докладной перепакостил...»

– А ведь это истинное происшествие! – прервал Наградин, снисходительно улыбаясь.

«...и сим образом весь докладной перепакостил. Другой, дабы избежать надзора секретаря, почасту выбегает из присутствия в сторожевскую и услаждает свой вкус неприхотливой беседой со сторожами и приводимыми арестантами. Прелюбопытно это видеть, как они сидят на своих местах, уткнувшись в докладные, и, держа перья всеми пальцами (на манер малолетних), пыhtят и отдуваются, машионально списывая резолюции с заготовленных нарочито лоскуточков, меж тем как мысли их заняты совсем не отправлением суда, а предстоящими щами и кулебякой!»

– Тут есть уже факт, – сказал Наградин, между тем как присутствующие единодушно смеялись.

– И все-таки голо! – отозвался Корытников.

– Помилуйте? отчего же-с? – возразил Благолепов, несколько обиженный.

– Обработки мало!

– С этим, конечно, нельзя не согласиться, – сказал Наградин, – но в сравнении с первой статьей успех заметен.

– По мнению моему, обе статьи следовало бы соединить в одну, и тогда, с помощью некоторой переработки, может быть, что-нибудь и выйдет! Если автор дозволит, это можно сейчас же.

И так как Благолепов не возражал, то через полчаса, благодаря Корытникову, статья явилась на суд публики уже в следующем обновленном виде:

«В настоящее время, во всех концах России, все, даже самые отсталые люди, начинают сознавать живую потребность в суде правом и нелицеприятном. И действительно, что может быть святее, что может быть естественнее этой потребности? Но наши глуповцы и тут умудрились выделиться из общей массы, жаждущей возрождения! Справедливо гласит русская пословица: «Не бойся суда, а бойся судьи»; мудрость этого изречения нам приходится испытывать на боках наших! Как бы вы думали, чьим рукам вверены у нас весы Фемиды? Я не буду ни слова говорить о личных качествах наших «судей праведных»... Бог с ними! Быть может, все они хорошие семьяне, подают нищей братии, неуклонно исполняют христианские обязанности – все это остается при них! Но способны ли они, но имеют ли они право судить подобных себе? – вот вопрос. Для разрешения этого вопроса, позвольте мне представить вам портретную галерею наших «судей праведных». Предупреждаю: не ищите в этих портретах остроумия – ищите одну истину, одну голую истину! Судья отличный человек: тучен до того, что даже когда, ничего не делая, сидит в креслах, то и тут, через каких-нибудь полчаса, так запыхается, как будто не кормя во весь дух тридцать верст проскакал. Не дурные люди и заседатели: придут в суд и слоняются из угла в угол, покуда секретарь почти насильно не засадит их за докладной и не заставит резолюции переписывать. Казалось бы, работа не головоломная, но и тут бывают смехотворные случаи. На днях один заседатель, переписывая с черновой довольно длинную резолюцию, занимавшую две страницы, что бы вы думали ухитрился сделать? Начал с оборота листа, а кончил началом! И это бывает сплошь да рядом! А другой заседатель, чтоб избежать надзора секретаря, беспрестанно, как школьник, бегаёт в сторожевскую, где проводит время в разговорах с сторожами и арестантами. Вообще довольно любопытно заглянуть в наш суд и видеть, как наши «судьи праведные» сидят за докладными и, пыhtя и потея, бессознательно списывают резолюции с листочков, на которых они предварительно пишутся секретарем, между тем как мысль их «далече отстоит» от предмета их занятий и поглощена исключительно щами и кулебякой, ожиданием которых уже с утра раздражено их воображение. Таков состав нашего суда! Можно ли после этого удивляться, что если бы не почтенный секретарь суда Р. Е. Н., то у нас не только правого, но и никакого суда не было бы. А фанты вынимать и наши судьи мастера!»

– Превосходно! – отозвались присутствующие. Наградин крепко пожал руку

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Корытникову и тут же заказал для всей компании пуншу.

– Я, с своей стороны, на переделку согласен, – отозвался Благолепов, – но зачем же вы опустили, что заседатели в носу ковыряют?

– Это подробность, которая мало идет к делу, – отвечал Корытников.

– Нет, я не могу с этим согласиться! нет, это не подробность, а, так сказать, занятие их жизни! Я требую, чтоб это обстоятельство не было выпущено из вида!

– Что ж, Иван Фомич, можно потешить малого! – снисходительно заметил Наградин.

– Я желаю, чтоб было сказано так: «придут в суд и, ковыряя в носу, слоняются из угла в угол»... – настаивал Благолепов.

Спор был в самом разгаре, когда появился пунш. Купец Босоногов, как бы в ознаменование важного события, превзошел самого себя, и по комнате внезапно разлился тот острый запах клопов, который, по мнению канцелярских служителей, составляет неперемное условие отличного пунша.

– Пожалуйте! – сказал Наградин, приветливо приглашая присутствующих.

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, – произнес Пульхеров, вздыхая и почесывая себе колени.

– Разве за здоровье гласности выпить! – отозвался Столпников.

И вновь полилась шумная беседа, вновь полились словоизвержения, словопрения, словоизлияния... И вечер кончился бы прекрасно, если бы не подгадил предатель Попков. Когда уж было достаточно выпито, он вдруг ни с того ни с сего начал придирается к автору.

– А ведь ты тово... ты, брат, сквернослов! – сказал он, обращаясь к Корытникову.

– Господину Попкову, кажется, не нравится статья моя? – возразил Корытников, несколько приосанясь.

– Да ты скажи, чему в ней нравится-то? – сквернословие пополам с пустословием – вот и все!

При этих словах Корытникову сделалось холодно, несмотря на достаточное количество выпитого пунша. Только теперь он сообразил, что сделал великую глупость, признав себя перед Попковым автором неприязненной городничему статьи.

– Я надеюсь, однако, господа, что здесь сидят благородные люди, которые не употребят во зло моей откровенности! – проговорил он, несколько заикаясь.

– Держи карман, «благородные»! – сказал Попков, язвительно усмехаясь.

– Да он не скажет! – успокоивал Наградин.

– Ан скажу! отсохни у меня язык, если не скажу! – с своей стороны уверял Попков.

– После этого, позвольте мне возразить вам, господин Попков, что вы подлец! – сказал Корытников, сам не помня, что говорит.

– Ну, и пуцай подлец!

– Позвольте, однако ж, просить вас...

– А коли подлец, так зачем у подлеца прощения просишь?

– Я не прощенья прошу, я прошу...

– Нет уж, сказано: «Подлец!» – так подлец и есть; следовательно, и неестественно тебе у подлеца прощения просить!

Одним словом, Попков утвердился на том, что он «подлец», и нашел позицию эту

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
столь для себя выгодною, что соединенные усилия всей компании не могли вышибить его из нее.

Не могу сказать утвердительно, что произошло после этого, но знаю, что в скором времени послышались звуки битой посуды, и купец Босоногов, для собственного своего спасения, вынужден был преждевременно потушить свечи и дать знать в полицию.

Целую ночь, со связанными назад руками, провел Корытников в так называемой сибирке; на нарах, занимавших почти все пространство тесной и душной каморы, в которую он был брошен, во всю мочь храпела пьяная нищенка, а в другом углу беспокойно метался парень, за полчаса перед тем пойманный в воровстве. Напрасно Корытников протестовал, напрасно заявлял, что он учитель, напрасно бранился и угрожал: сторож сначала только посвистывал в ответ на его протесты, а потом разостлал на полу шинель, перекрестился и, затушив ночник, преспокойно растянулся себе на полу.

Бывают минуты в жизни, когда, несмотря на всю очевидность явления, рассудок человека упорно отказывается верить в возможность происходящего. Кажется, что все это видишь в каком-то страшном бреду, в какой-то горячечной тоске, что вот-вот пройдут горячечные симптомы, и сама собой исчезнет эта невозможная, гнетущая обстановка. Игрок, окончательно проигравший все свое состояние, человек, сделавший подлость, в которой тут же его уличили, господин, не привыкший получать по лицу и получивший, бедняк, у которого украли последний рубль, – должны именно находиться в этом мучительном состоянии неверия очевидным свидетельствам рассудка. В таком точно положении был и Корытников. Сначала он еще находил в себе довольно силы, чтоб браниться и протестовать, но потом, когда сторож потушил свечу, когда камору вдруг охватил со всех сторон густой мрак, когда кругом воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь безобразным храпом пьяной бабы, когда окончательно исчезла надежда услышать откуда-нибудь живое слово, им овладел ужас и оцепенение. Инстинктивно он еще продолжал изредка стучать ногами от злобы и порывался разорвать веревку, связывавшую его локти, но потом опять стихал и так же инстинктивно начинал то плакать, то скрежетать зубами. Измученного физически и нравственно застало его утро.

Когда его привели в полицию, градоначальник наш был крайне изумлен и даже огорчен.

– Ба! Иван Фомич! какими судьбами! – воскликнул он, простирая к нему руки.

– Да вот, благодаря вашим сбиррам.. а быть может, и лично вам, – ответил Корытников и вдруг затрясся всем телом.

– Ах, что это за свиньи народ! – в отчаянии закричал Федор Ильич, – ну, что прикажете с такими анафемами делать! Эй, кто тут есть! позвать ко мне старшего!

– Прикажете, по крайней мере, мне руки на первый раз развязать! – осмелился заметить Корытников.

– Как! и руки связаны! ну, скажите на милость! – счел долгом вновь изумиться Федор Ильич.

Одним словом, оказал отеческую заботливость; назвал себя свиньей и старым дуралеем; извинился за полицейских; извинился за себя; извинился чуть не за всю полицию Российской империи. Оказалось, что это было одно недоразумение, происшедшее от того, что подлецы полицейские не наметались еще отличать людей образованных от необразованных. Попкову, как главному виновнику недоразумения, была посулена отставка, причем Федор Ильич энергически погрозил ему кулаком.

Не стану описывать дальнейших приключений Корытникова; скажу, однако ж, что программа стряпчего была не только выполнена, но даже и украшена значительными присовокуплениями. Происшествия и так называемые истории как будто взапуски ловили бедного публициста; не успевал он освободиться от одного казуса, как из-за угла ждал его уже другой. Явились девицы, которые положительным образом доказывали, что они шли себе по ровному месту, и шли бы благополучно таким манером и до сей минуты, но, повстречавшись с Корытниковым, вдруг оступились. Число этих оступившихся было так велико, что весь город отшатнулся от виновника стольких падений, а городничиха даже отплевывалась каждый раз, как при ней

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru произносили фамилию Корытникова. Сам начальник края усумнился и счел долгом пригласить к себе на совет директора училищ.

– Что это у вас в Глупове... Дон-Жуан какой-то... mille e tre![112] – сказал начальник края, кстати вспомнив фразу Ле-порелло из Моцартова «Дон-Жуана».

– Молодой человек-с, ваше превосходительство! – отвечал директор, умильно ослабляясь.

– Однако ж, все-таки! Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать! – заметил начальник края, вспомнив кстати фразу из «Ревизора».

– Как прикажете, ваше превосходительство!

– Да я полагал бы покончить это домашним образом... ха-ха!.. mille e tre! я полагаю, всего лучше перевести его в другое место... подальше от Дульциней!

И таким образом, en petit comité,[113] был решен вопрос о переводе публициста Корытникова из города Глупова в город Дурацкое Городище.

К чести Корытникова я должен сказать, что несправедливость судеб отнюдь не заставила его упасть духом и понурить голову. Проникнутый убеждением в святости своего гражданского назначения, он с легким сердцем отправился в Дурацкое Городище, твердо уверенный, что и там найдется мещанка Залупаева, и там найдется градоначальник, не брегущий о благосостоянии и здравии пасомого им стада.

Что, если бы Залупаевой не оказалось? Что, если бы градоначальник, вместо того чтоб играть в карты, непрестанно тушил пожары и ходил по городу не иначе, как с обгорелыми фалдами? Что, если бы ни один метеор, ни одна комета не проходили в городе Глупове незамеченными? Что, если бы заседатели не ковыряли в носу? Угомонилась ли бы тогда публицистская деятельность Корытникова? Произнес ли бы он тогда «nunc dimittis»[114] и обмакнул ли бы обличительное перо свое, вместо чернильницы, в песочницу, в знак того, что дальнейшее служение его обществу становится бесполезным?

К общему удовольствию всех «Проезжих», «Прохожих», «Калужан», «Угличан» и проч., ответить на эти вопросы столь же мудрено, как и на то, когда бы кто, не шутя, спросил: что было бы, если бы русский народ не был мужествен в боях, тверд в перенесении бедствий и великодушен в счастии? И в самом деле: «что было бы тогда?» – А черт его знает, что бы тогда было! – отвечаю я и нахожу, что ответ мой есть единственно приличный в этом случае. Что было бы, если бы русский народ и т. д.? Признаюсь, я даже не могу прийти в себя от потрясения, произведенного во мне этим непристойным вопросом. – А что было бы, если бы ты ходил вверх ногами, а вниз головой? А что было бы, если бы у тебя, вместо двух глаз во лбу, был один на затылке? И я столь близко подхожу к лицу вопрошающего, что он бледнеет и в то же мгновение просит меня извинить его.

Но если дико и непонятно кажется нам сомнение в доблестях наших соотечественников; если, с одной стороны, не предвидится конца мужеству русских в боях, твердости их в перенесении бедствий и великодушию в счастии, то, с другой стороны, кто дает нам право предполагать, что когда-нибудь умрет мещанка Залупаева, а заседатели перестанут ковырять в носу? Поистине, никто!

Допустим, что вы живете далеко от Глупова, допустим, что, вы лишены даже удовольствия дышать благорастворенным воздухом Дурацкого Городища. Что ж из этого? Не думаете ли вы, что вот так-таки и избавились и от Залупаевой, и от городничего, приносящего жертвы мамоне, а не современным интересам? Ошибаетесь, мой милый! Ваш родной Глупов всегда находится при вас, и никуда не уйти вам от Дурацкого Городища!

Вы выходите на улицу. Вон бедный Ванька, с заиндевевшею от мороза бородой и с побелевшими щеками и носом; на улицах пустынно и тихо! ковыряющие в носу заседатели сидят себе в тепле по домам и едят пироги с начинкой; нет седока бедному Ваньке, и он со злобой настегивает свою худую клячу, которая в ответ на это помахивает хвостом, как-то учтиво, кротко, умиленно помахивает. Этот Ванька – мещанка Залупаева; эта ободранная, избитая кляча – мещанка Залупаева! Вот, на базаре, принесла старуха салоппница продать поношенную и разрозненную пару шерстяных носков; подходит служивый и предлагает за товар девять копеек; что ж,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
цена, по-видимому, хорошая, но старуха упрямится и просит двенадцать; с одной стороны, кавалер готов в ступе старуху истолочь, с другой стороны, старуха не прочь горло кавалеру перервать – и все из-за трех копеек! Эта старуха – мещанка Залупаева! Этот кавалер – мещанка Залупаева!

Увы! мир кишит Залупаевыми! Они ходят по белому свету и с бородами, и без бород, и в паневах, и в зипунах, и о двух ногах, и о четырех! Если вы любитель русской фауны и имеете крошечку любознательности, то не стесняйтесь, сделайте милость, пронзайте булавочкой всех этих Залупаевых и, пришедши домой, насаживайте их на лист белой бумаги – увидите, какая у вас образуется коллекция!

А городничие, поклоняющиеся мамоне? А заседатели, начинающие переписывать с оборота листа? Ужели иссякнет родник их? Да чем же тогда будет сладка наша жизнь? Чем будет сдобриваться наше горькое существование? Воображаю я себе, если бы наш (не глумовский, а полоумновский) Федор Ильич не заигрывался до запоя в карты и не наедался до оупения золотыми стерлядями, вытаскиваемыми из орошающей наше отечество реки Большой Глуповицы... Господи! что бы это было! Во-первых, чело Федора Ильича навеки задернулось бы непроницаемым мраком начальнического всемогущества; во-вторых, он с утра о том бы только и думал, как бы кого-нибудь оборвать, как бы сокрушить кому-нибудь зубы! Коли хотите, это был бы своего рода Катон, но нам едва ли пришлось бы от этого легче. Нет, я решительно держу сторону Федора Ильича в том виде, в каком он представляется мне *au nature!* [115] По крайней мере, теперь я знаю, что и он не изъят своего рода слабостей и, следовательно, как человек, снизойдет и к моим прегрешениям. По крайней мере, теперь я знаю, что наступит вечер, зажгутся в квартире исправника огоньки, Федор Ильич весь углубится в карты – ан Глумов-то и поотдохнет мало-мало!

Messieurs! [116] сознаюсь откровенно, я человек слабый и терпеть не могу Катонов, которые прут вперед, сами не зная куда! Я понимаю русского человека, который расшибет своему ближнему нос, да тут же и водочки поднесет, и я понимаю русского человека, которому расшибут нос и в то же время водочки поднесут. Кулак, рассматриваемый с этой точки зрения, утрачивает свою свирепую, искаженную злобой физиономию и принимает в моих глазах какое-то благодущное, почти ангельское выражение.

Итак, мы логическим путем приходим к тому заключению, что всякое сомнение в неиссякаемости Залупаевых и заседателей должно быть устранено. Но, с другой стороны, передо мной возникает новый, не менее важный вопрос: возможно ли, естественно ли при такой обстановке не сделаться публицистом? Я замечаю, что рассуждения увлекли меня слишком далеко и что я, сам того не подозревая, попал, так сказать, в самое сердце болота, составляющего предмет настоящей статьи. О боже! что это за удивительное болото! и как должно трепетать сердце охотника, взирающего на неоглядные глазу равнины его! Сколько в нем кочек! сколько ржавых трясин и колдобин! сколько куликов и чибисов! Стон стоит в воздухе от разнообразных взвизгиваний этих добродетельных птиц, которые не имеют в жизни иной цели, кроме высиживания бесчисленного множества невинных цыплят! Что, если бы не было охотника, от времени до времени разрезающего своими меткими выстрелами эту сплошную массу пернатых? Что, если бы вверху, над облаками, не реял коршун, высматривающий с тактом знатока-помещика, который из цыплят покормнее и пожирнее?

Но к делу.

Прежде всего я должен оговориться, что всей душой сочувствую Корытникову. Cher [117] Корытников! вашу руку! Прохожий! прими меня в свои объятия! Житель Ярославля!

Лобзай меня! твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина!

Но шутки в сторону; я сердечно убежден, что все вы почтенные люди и горячо и искренно сочувствуете тем начаткам истины и добра, появление которых приветствуете с такою радостью. Горесть мещанки Залупаевой не может не трогать вашего сердца, ибо в сердце этом всегда найдется отклик для всякого истинного горя. Преступная беспечность Федора Ильича не может не возбуждать вашего негодования, ибо в ней заключается источник зол действительных, невымышленных, зол, которых жало преимущественно обращено против бедного и беспомощного. Сосредоточиваясь в самих себе и размышляя о вещах мира сего, вы невольным образом переносите мыслью к временам вашей юности, к тем золотым временам,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru когда с кафедры к вам обращалась живая речь, если не самого Грановского, то одного из учеников его, вызывая к деятельности благороднейшие инстинкты души, когда с иной, более обширной кафедры, лилось к вам полное страсти слово Белинского, волнуя и утешая вас, и наполняя сердца ваши скорбью и негодованием, и вместе с тем указывая цель для ваших стремлений! Будем же верны добру и истине! будем верны памяти наставников наших! – восклицаете вы, и бодро выступаете вперед на честный бой с лицемерием, равнодушием и неправдою!

Да, замечательное было это время! То было время, когда слово служило не естественною формой для выражения человеческой мысли, а как бы покровом, сквозь который неполно и словно намеками светились очертания этой мысли; и чем хитрее, чем запутаннее сплетён был этот покров, тем скорбнее, тем нетерпеливее трепетала под ним полная мощи мысль и тем горячее отдавалось ее эхо в молодых душах читателей и слушателей! То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу раз вынуждена была окунуться в помойных ямах житейского базара, чтоб выстрадать себе право хотя однажды, хотя на мгновение засиять над миром лучом надежды, лучом грядущего обновления! И чем тяжелее был гнет действительности, тем сильнее крепла в сердцах бодрых служителей истины вера в будущее, вера в человечность! И, стало быть, крепки были эти люди, если и при такой обстановке они не изолгались, не измелочничались, не сделались отступниками!

Я верю, о «Прохожий»! что когда ты берешься за перо, чтоб обличить раба спящего и лукавого, то перед тобой невольно и неотразимо восстают те светлые личности наставников, которым ты жадно внимал в былое время. И в душе твоей заманчиво рисуется живая преемственность мысли и стремлений, на служение которым ты хочешь принести посильную лепту твою.

Повторяю, я верю твоей искренности. Но ты не замечаешь, что иные люди, иные вещи, что целый новый мир народился кругом тебя. Ты забываешь, что и в устах твоих наставников отвлеченные интересы человечества служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной деятельности. Ты забываешь, что ты перенял от учителей только фразу и что переимчивость, как бы ни была она счастлива, не представляет еще достаточного права, чтоб поучать людей!

Но странная и неудержимая сила обстоятельств! В то время, как ты мучишься в потугах рождения, чтоб бросить миру какую-нибудь высокопарную мысль о человечестве и постепенном поступании его на пути совершенствования, трезвая и неподкупная действительность силой приковывает тебя к тесной твоей раковине, к родному твоему Глупову! И выходит тут нечто нелепое: Глупов – и человечество, судья Лапушников – и вечные законы правды..

Корытников! именем той же преемственности, убеждаю вас – бросьте под стол перо ваше или обуздайте вашу мысль!

Неужели вы не можете снежевничать без того, чтоб этот акт вашей жизни не сопровождался целым громом тромбонов и труб?

Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вечно светит в душе вашей, до того лучезарно, что мешает вам просто и без ужимок подойти к той навозной кучке, которую вы взяли, которую вам фаталистически суждено описывать?

Юный друг мой! если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою в помой, то вы совершенно добровольно, совершенно никем не вынуждаемые окунаете ее в многочисленные солнца души вашей, и я принимаю смелость заверить вас, что эти солнца неизмеримо неприятнее помой Белинского и Грановского!

Зачем, когда вы беретесь за перо, вас внезапно одолевает какое-то адское самоуслаждение? Зачем вы с самозабвением склоняете набок вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькие глазки, уподобляясь соловью, слушающемуся своих собственных песен? Зачем это?

Вспомните, топ cher, [118] что соловей потому имеет право наслаждаться самим собой и заслушиваться до опьянения своих песен, что песни, которые он поет, суть его собственные песни! Сделайте-ка нам ваше собственное «фю-ию-ию-ию», и тогда я

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
первый готов буду признать ваше право на самонаслаждение.

Вспомните и то, что мир кишит кругом вас примерами горьких последствий самоуслаждения. Я могу указать вам на целый кружок весьма почтенных людей, которые, заручившись одной идейкой, до того перемололи ее на все лады и образцы, что в настоящее время не могут без тошноты взирать друг на друга («Господи! и в нем сидит эта треклятая идея!»), не могут без ужаса вспомнить о той минуте, когда надобно будет вновь вести беседу, и вновь на ту же тему... потому что иной в запасе не обретается!

Если этого мало для вас, то укажу еще на каплунов. Этот достойный сожаления народ, не имея никаких иных видов в будущем, кроме удовольствия быть обкармливаемым до отвратительности, также с неистовством предается самоуслаждению, в продолжение всего того времени, покуда грецкие орехи, комки творогу и прочая дрянь переваривается в зобах их. А тут между тем не имеется даже ни одного наличного достоинства, а есть лишь весьма неприятный изъясн, из чего вы можете убедиться, что для того, чтоб считать себя вправе наслаждаться самим собою, вовсе нет необходимости быть бог весть каким соловьем, а достаточно в иных случаях быть и простым каплуном.

Зачем вы взираете на себя как на историка и философа, тогда как вы просто-напросто летописец, а быть может, отчасти и водевилист?

На вашем месте я писал бы статьи мои так:

«Января... дня 18.. года. Город Полоумнов. Сего числа Удар-Ерыгин, в присутствии всех, проглотил шпагу, или, точнее сказать, целое скрал дело (имярек); он показал при этом столь замечательное проворство, что никто даже не ахнул.

Туземец».

И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, летописную форму, менее задерет

Удар-Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная рассуждениями о том, что «в наше время, когда, казалось бы, воровство преследуется повсюду», или о том, что «в наше время, когда привычки законности мало-помалу проникают во все административные трущобы» и т. п.?

Смею вас уверить, Корытников, что нет. Прочитавши вашу статью, он скажет: «Что за черт! о каком это он воровстве говорит! разве я вор?» – ибо он убежден, и вслед за ним убеждено и большинство, что воровством называется только похищение чужих платков из карманов; акт же, подобный тому, который им совершен, он называет административною ловкостью. Или еще скажет: «О каких это привычках законности он там проповедует? Э! да он, кажется, позабыл пословицу: «что русскому здорово, то немцу смерть!» и наоборот: «Хорош бы я был, кабы действовал на законном основании!» И с своей точки зрения, он будет прав; конечно, это будет точка зрения удар-ерыгинская, но все-таки точка зрения, с которой, быть может, согласятся и многие другие: иные по слабости, другие из страха, третьи из корысти, четвертые, наконец, по привычке во всем соглашаться с лицом, обладающим известною степенью нахальства. Напротив того, прочитавши мою статью, он позеленеет, и губы его затрясутся. Поймите, что я оскорбил его в том, в чем он считал себя непогрешимым: в его проворстве! Затроньте его честность – он скажет, что честность понятие относительное; затроньте пользу общественную – он скажет, что еще бабушка надвое сказала, черное ли бело или белое черно. Но не затрогивайте его проворства! Он думал, что никто не подозревает, что он глотает шпаги; он воображал, что все глаза устремлены на него с детскою доверчивостью, что никому и на мысль не приходило видеть в нем фокусника... и вдруг! Уверю вас, что он устыдится; устыдится хотя того, что был недостаточно искусным фокусником...

Столоначальник Благолепов гораздо с большим тактом попал пальцем в небо, когда кратко доложил читателю, что «судья у нас хороший человек» и проч. (зри выше). Вы испортили статью его, драгоценную по своей наивности; вы напустили туману туда, где следовало бы только исправить орфографические ошибки и проставить знаки препинания. Я уверен, что будь Благолепов не столоначальником, а секретарем уездного суда, он не дозволил бы вам переменить ни йоты в своем произведении, и был бы прав. Итак, больше краткости, любезный Корытников! больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно впивается в самую морду

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
заподозренного в гнусности субъекта – и тогда смело дерзайте на поприще гласности!

И еще позволю себе одно замечание: вы не всегда удачно выбираете темы для ваших обвинений и не вполне удачную берете для них обстановку.

Начнем хоть с Федора Ильича. Слова нет, что происшествие, которое послужило канвой для вашей красноречивой статьи, весьма печальное происшествие, ибо оно лишило мещанку Залупаеву ее холостых строений. Но с другой стороны, если бы вы потрудились объяснить с обвиняемым, то, может быть, и вполнину не были бы так строги к нему. Вспомните, Корытников, что вы не просто нравы и обычаи административные описываете, а желаете поучать!

Итак, если бы вы спросили Федора Ильича: «По какому случаю вы, государь мой, не явились своевременно на пожар, бывший в доме Залупаевой?» – я уверен, что, вместо ответа, почтенный наш градоначальник молча повел бы вас на пожарный двор.

Там он представил бы вам:

1) Две пожарные трубы, из которых одна носит название новой и действует плохо, а другая именуется старою и, что называется, только колобродит, то есть брызжет во все стороны и обливает водой одних зрителей.

2) четырех лошадей (отчего ж и не двух?), из которых две изъявляют сильное желание окунуться в купель силоамскую.

3) Десяток инвалидов, из которых двое в эту самую минуту, что называется, без задних ног.

– Что ж вы не представляете куда следует? – спросите вы.

– Представляем-с!

– Что ж отвечают?

– И отвечают-с!

– Да что отвечают?

– А отвечают: здорово живешь-с!

Таким образом, один пункт обвинения устранен, и Федор Ильич осязательно доказал вам, что никакой в свете пожар не может и не обязан бояться его, под опасением прослыть за трусишку и дурака.

– Но как же вам не стыдно, только и дела, что в карты дуться? – продолжаете вы свои обвинения.

– Помилуйте, отчего же-с? день-то деньской слоняешься, день-деньской всякую нечистоту по городу прибираешь – надо же и отдохнуть-с.

Вы начинаете понимать, что не виноват же Федор Ильич, что карты служат для него единственно доступным средством отдохновения; что тут есть нечто, кроющееся в самой среде, в которой он процветает; что Федор Ильич сам по себе не может ни жить, ни действовать иначе, нежели как он живет и действует. И вы невольным образом повторяете: «Отчего же и не отдохнуть хорошему человеку?»

Я же, с своей стороны, могу, в оправдание нашего градоначальника, прибавить, что он вовсе не так равнодушно принял весть о пожаре. Напротив того, когда ему доложили: «Мещанка Залупаева горит, ваше высокоблагородие!» – то он стремительно бросил карты и воскликнул при этом: «Ведь дернула же ее нелегкая гореть в такую пору!» Стало быть, он страдал.

Но, кроме изложенных выше обвинений, вы позволили вашей фантазии увлечь вас дальше, нежели сколько было нужно для выполнения вашей же собственной задачи. Вы указали на героя, прославившего собою город А***, и пожелали, чтоб Федор Ильич, подобно этому герою, ходил с обгорелыми фалдами. Позвольте сказать вам, что упрек этот сколько несправедлив, столько же и неоснователен.

Сам Федор Ильич всего более возмущен был именно этим местом вашей статьи.

– Ну, скажите на милость! – говорил он в тот самый вечер собравшейся у исправника компании единомышленников, – ну, что ж было бы хорошего, если бы я, как профан какой-нибудь, без фалд по городу бегал? Да и на чей я счет, кукиш с маслом, буду фалды новые покупать?

Резоннее и складнее этого ответа я ничего придумать не в состоянии.

Или опять судья: чем виноват он, что тучен? Или заседатели: чем виноваты, что ковыряют в носу? Благолепов правду сказал, что это занятие всей их жизни, а если это так, то, следовательно, никто и не имеет права лишать их возможности предаваться этому занятию.

Извините меня, Корытников, но мне кажется, что вы скользите только по поверхности; вы только подозреваете, что есть где-то, в окрестностях ваших, болото, но где оно и какого оно свойства – это тайна, которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть.

Но времена созрели, и как бы ни была малоискусна песня Корытникова, он не может не петь. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концерт задают там воробьи! Стадами они перелетают с одной крыши на другую; вприпрыжку и как бы торопясь куда-то, снуют по улице; суетливыми и веселыми обществами хлопчут около обнажившихся кучек старой ветоши, и что за неистовые чирикания оглашают в то время теплый, насыщенный влагою воздух! Воробка, воробка! зачем так подпрыгиваешь? зачем, дурачок, так весело чирикаешь?

Но не дает ответа воробка, а только пуще и пуще чирикает, уморительнее и уморительнее подпрыгивает.

Подобно сему и Корытников, объятый весенним чувством, поет возрождение природы, поет красоту гласности и самоуправления, поет взволнованность своих собственных чувств. Спросите, зачем поет он песню про городничего, он в ответ споет вам песенку про почтмейстера; спросите, зачем поет про почтмейстера, он споет вам песню об исправнике... Дальнейших объяснений от него не требуйте, ибо это объяснение лежит в его артистически устроенном горлышке и в той весенней тепелели, которая чувствуется в воздухе.

И потому Федор Ильич поступил не только нечестно, но даже и нерасчетливо, преследуя Корытникова с такою неумолимостью. Во-первых, он этим преследованием ничего не выиграл, ибо хотя и удалось ему изгнать Корытникова, но место его тотчас же занял Благолепов, занял Наградин, занял Столпников, и в настоящую минуту нет в России города, в котором так часто раздавалось бы чирикание воробьев, как в нашем родном городе Глупове. Во-вторых, не достигши своей цели, Федор Ильич сделался грустен и раздражителен. Он без разбора хватал и ловил приезжающих на базар мужиков и торговцев, везде предполагая измену, во всяком неизвестном ему лице заподозревая насадителя клеветы и распространителя ложных слухов. Взятки стал брать пуще прежнего: पहले всего, следующие ему вообще, по установленным праотцами обрядам, а потом следующие ему же за страх будущего обругания.

– Пускай пишут! пускай пишут! – приговаривает он, с каким-то диким наслаждением пересчитывая и разглаживая на столе ладонью поднесенные ему ассигнации.

Но нет! он обманывает лишь себя, говоря таким образом! В ту самую минуту, как он притворяется равнодушным к филиппикам Благолепова (доказывающего, между прочим, что Федор Ильич до того беспечен, что не дает себе даже труда выдергать вылезавшие из его носа волосы), он чувствует, что внутри его нечто колышется и хохочет, что руки его судорожно сжимаются, как бы обвиняя мысленно длинную шею Благолепова.

– Желал бы я! – восклицает он в бессильной ярости, но уже не тем здорово-зычным голосом, которым восклицал в начале нашей статьи, а тонами двумя пониже.

И все оттого только, что он чирикание воробья принял за крик орла! все оттого, что дернула нелегкая какую-то мещанку Залупаеву гореть в такое время, когда к нему, градоначальнику, привалило восемь в червях, а пожарные лошади отъезжали в

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
луга за сеном для собственного своего прокормления!

Да! разрушительно действуешь ты, о гласность, на организмы человеческие! Пенза! Уфа! Саратов! Ужели никто, никто не избежит ее всепожирающего зева! Везде, даже там, где прежде спокойно грабили почту на главной улице, даже там, где некогда, среди бела дня, безнаказанно застреливали людей (и никто не слышал выстрела!), везде восстает свой домашний бард, берет в руки гармонику и воспекает славу или стыд своей отчизны!

Сам генерал Зубатов смутился и поистине не знает, что ему делать. И до него доползло весеннее чувство, но не подновило, а, напротив того, произвело лишь расслабление в ветхом его организме.

– Что это за женские гимназии? что это за воскресные училища? – восклицает он, ломая в отчаянии руки.

И в ту же минуту отправляет гонца за откупщиком.

Откупщик изумляется и вызывает кассира.

– За майскую треть дадено? – спрашивает он.

– Дадено, – отвечает кассир.

– Что за черт!

Однако, делать нечего, напяливает фрак и отправляется.

– Ну, мой милый! – еще издали кричит ему генерал, как-то особенно приветливо улыбаясь, – вот теперь-то мы посмотрим, действительно ли вы патриот?

Его сивушество слегка съезживается, точно ему змею за пазуху пустили, но в то же время старается сохранить веселый и непринужденный вид, ибо вздумай он нахмуриться – генерал, чего доброго, скажет ему: «Невежа! пошел вон!»

– Что прикажете, ваше превосходительство? – говорит он, развязно расшаркиваясь.

– Для себя – ничего, для отечества – многое! – отвечает генерал, пронзая откупщика взорами и как бы измеряя глубину его патриотизма.

– Прикажете бал-с... маскарад-с... ваши слуги, ваше превосходительство!

– Гимназию! – восклицает генерал неожиданно.

Его сивушество стоит озадаченный, очевидно недоумевая, какое может иметь отношение очищенная и трехпробная к отечественному просвещению.

– Гимназию; женскую гимназию! – повторяет генерал, полоснув себя краем ладони по горлу в знак того, что гимназия у него вот где сидит.

Откупщик покраснел как рак. Он понимает, что как тут ни вертись, а от издержек не отвертеться, но не умеет еще сообразить, какую сумму можно отделаться. А ну, как ляпнешь сдуру такой куш, какого совсем и не требуется!

– Да, мой милый! – грустно говорит между тем генерал, – было... было! Было время, когда мы думали о том, как бы общество наше соединить... чтоб пикники там... parties de plaisir...[119] Теперь это все надо кинуть!

Генерал умолкает и как будто начинает грустить, но через несколько минут поправляется и продолжает уже с некоторою молодцеватостью:

– Теперь мы о гимназиях рассуждаем... да!

Но его сивушество все еще не собрался с духом. Ему слишком отчетливо представляются и недавнее пожертвование спирта для освещения города, и недавняя покупка десяти фунтов чаю для больницы, и другие посильные жертвы... ах, черт поberi, да и совсем!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Конечно, ваше превосходительство, – говорит он наконец, – гимназия... и в особенности для благородных девиц... очень приятное заведение.

– Ну-с?

– Я к тому, ваше превосходительство... что еще в недавнее время... освещение города... а также и другие общепользные устройства-с...

– Ну-с? – повторяет генерал.

Откупщик откашливается.

– Я ничего, ваше превосходительство... мы гимназиям не препятствуем-с... мы, напротив того, с нашим удовольствием... я только насчет того, что еще в недавнее время...

– Гм?... стало быть, вы допустите, чтоб в какой-нибудь мерзкой газетишке на всю Россию опубликовали, что у меня нет гимназии?

– Помилуйте, ваше превосходительство, зачем же-с?

– Стало быть, для вас все равно, что какой-нибудь щелкопер осмелится выразиться обо мне, что я не имею достаточно энергии, что я человек несовременный... что у меня нет гимназии, наконец?

– Я, ваше превосходительство...

– Так я вам докажу, милостивый государь, что у меня еще есть энергия! – восклицает генерал, величественно выпрямляясь.

Одним словом, его сивушество смиряется, и вопрос о женской гимназии, едва-едва не претерпевший крушение, разрешается благоприятно. В следующем же номере местных ведомостей редактор уже предвкушает ее учреждение в особо написанной по этому поводу статье:

СЛУХИ

Слух носится, что, благодаря неусыпным попечениям (чьим, на это ответит всякое сердце Полоумновской губернии), у нас в скором времени будет открыта женская гимназия и что все нужные распоряжения уже сделаны. Мы уполномочены объявить, что старания начальства в этом истинно полезном и благотворительном деле встретили полное и просвещенное содействие со стороны местного управляющего акцизно-откупным комиссионерством купца М., готового, как известно, на всякого рода пожертвования, имеющие целью счастье и пользу ближнего.

Носятся и другие, не менее отрадные слухи (как, например, об открытии в нашем городе воскресных классов), но покамест умолчим о них, предоставляя себе право поделиться с читателем нашими надеждами в то время, когда они будут более близкими к осуществлению.

Но так как всякая медаль имеет свою хорошую и свою дурную сторону, то не можем пройти молчанием, что дело просвещения и в нашей губернии не везде встречает одинаковое сочувствие. Так, например, дикие и невежественные нововласьевцы и доселе упорствуют в своем коснении и твердо принятом намерении оставаться безграмотными во что бы то ни стало. Когда же луч солнца осветит это непроходимое болото?

– Вот тебе и с праздником! – говорит нововласьевский городской голова Прудов, прочитав эту любезность.

– За что ж он нас по зубам-то треснул? – спрашивает, в свою очередь, гласный Клубницын.

– А так вот: проезжал поблизости – и заехал! Поди, судись с ним!

И я, в свою очередь, спрошу вас, почтенный редактор полоумновской газеты: за что вы треснули по зубам граждан города Нововласьевска?

Я с вами наперед соглашаюсь, что просвещение – хорошая вещь, что учение – свет,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
а неучение – тьма и т. п. Сознаю также, что образование, которое дается нашим девицам, убийственно. Образованнейшая из них еще может порассказать вам кое-какие подробности о Гвадалквивире, потому что

Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит Гвадалквивир...
или о Бренте, потому что
Ночь весенняя дышала
Ароматной тишиной.
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.

Но чуть дело коснется Мансанареса, последует неизбежный тупик, ибо Мансанарес речка маленькая и, должно полагать, очень вонючая, если ни в одном русском романсе об ней не упоминается. Согласен, что при таком уровне образования девицы наши не в состоянии интересоваться полезной деятельностью географического общества, ни даже принять участие в споре, возникшем по поводу определения действительного дня смерти Бориса Годунова.

Но чем виноваты во всем этом нововласьевские граждане? Тем ли, что в среде их не отыскалось, как в Полоумнове, благодетельного откупщика? Тем ли, что их уж тошнит от общепольных устройств и сопряженных с ними жертвований? Тем ли, что они, быть может, имеют причины (по их разумению, даже весьма законные) не желать именно ваших общепольных устройств?

И между тем, не разобравши дела порядком, вы разогорчили нововласьевских граждан всех до единого!

Повторяю: разрушительно действуешь ты, о гласность! и не только на отдельных людей, но и на целые общественные организмы. Несмотря на учреждение женских гимназий и воскресных школ, несмотря на процветание трезвости, несмотря на успехи, которые в последнее время сделала мысль о самоуправлении, провинциальный наш люд скучает и бьет в баклуши. Прежняя привольная жизнь провинции исчезает все более и более; вместо нее является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особым рода метанием взоров, расширением ноздрей, покорблением уст и общим рылокошением. Старая веселая Русь (old merry Russia) прячется по домам и втихомолку переворачивает анекдоты о загнанных жидах и обманутых немцах. Подобно стыдливым фиалкам, члены ее собираются друг у друга интимными кружками, и тут, сокрушаясь и вздыхая, беседуют о временах минувших, когда и солнце горело светлее, и земля, без помощи удобрения, приносила сам-двадцать, и фильки отправлялись на конюшню беспрекословно, и винокурные заводчики уделяли милостивцам по четыре копейки с ведра, а не по две, как ныне. Вот они все тут: вот и заиндевший обладатель множества филек и Прошек, и застенчивый откупщик, и облизывающийся аристократ из казенной палаты, – одним словом, все те, которым дорого, чтоб наша отечественная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками.

– Какое изобилие рыбы в реках было! – тоскует помещик Птицын.

– И какая была все крупная-с! – вздыхает недоросль из дворян Сагитов.

Присутствующий при этом разговоре отставной капитан Постукин хотя и не принимает словесного участия в разговоре, но оттопыривает губы и отмеривает руками два аршина, чтоб показать наглядно, каких размеров водилась в реках рыба.

– Во всем, во всем изобилие было! – вступается генерал Голубчиков, облизываясь и сгорая нетерпением дать разговору винокурное направление.

– И музицки больсе вина кусали! – подвिलивает хвостом Герш Шмулевич.

– И винокурные заводчики свой расчет находили! – подхватывает Голубчиков.

– Да и люди были какие-то особенные! – рычит отставной корнет Катышкин, – примерно доложу хоть насчет дорог – что это за бесценный народ в дорогах был! Засядешь, бывало, в трущобу, экипажи были все грузные, от лошадей так и валит пар – ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: «Трошка!» Слезет это Трошка с козел: тут ногой, там плечом – и пошла в ход колымага!

– Сердечный народ был! любовный!

– И как, бывало, все просто делалось! Угодил, бывало, финизерв какой-нибудь к обеду сочинил – рюмка водки тебе; сплосал, таракана там, что ли, в суп пустил – не прогневайся, друг! сейчас его *au nature!*, и марш на конюшню!

– И не роптали!

– Не только не роптали, а еще бога за господ молили, поильцами, кормильцами называли!

Но – увы! как ни велики, как ни искренни сетования Постукина и Сагитова, не подлежит сомнению, что прежнее веселое время исчезло без возврата. Какое-то мрачное шпионство, какое-то пошлое подглядывание и подслушивание всасываются повсюду: и в присутственные места, и в клубы, и в частные дома, не говоря уже об улицах, переулках, распутьях и местах пустопорожних. Садитесь ли вы в клубе за карты, вы, даже зажмурив глаза, ощущаете, как из темного угла сверкают на вас глаза местного публициста, как будто говоря вам: «Малодушный! как мог ты найти в себе решимость заниматься презренными картами в то время, когда отечество столь сильно нуждается в хороших людях!» Идете ли вы по улице и, зазевавшись по сторонам, ощущаете необходимость заняться носом, перед вами из земли вырастает другой публицист и, прерывая ваше занятие, вопиет: «Время ли, сударь, ковырять в носу, когда отечество требует служения беспрестанного, неуклонного и неумытного?» Вздумаете ли созвать к себе гостей, перед вами восстает третий закорузлый в обличениях публицист и, поедая приготовленные закуски и яства, в то же время неистовствует руками и ногами, мечет огненные взоры и одаряет веселящихся язвительными улыбками, ясно говорящими: «Смейтесь! веселитесь! скоро, скоро наступит благорастворение воздухон, и помелом очищено будет ваше нечистое торжище!»

Одним словом, нет возможности предпринять самое простое действие: сшить себе новое пальто, купить фунт икры и т. д., чтоб действия этого не подсмотрел местный бард и тут же бесцеремонно не выразил, что «чем икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать!».

О, Корытников! дай мне вздохнуть на минуту! Я готов умереть, если это может доставить тебе удовольствие, но не смотри же на меня своими черными глазами, покуда я говорю последнее «прости» жене и детям!

Но нет, даже здесь, даже в моем уединении, ты не оставляешь меня! Покуда я дописываю настоящую статью, из-за тонкой перегородки, отделяющей мою квартиру от соседней, долетают до моего слуха знакомые звуки. То беседуют два друга-публициста, и в разумной их беседе принимает участие и жена моего соседа.

– А трезвость продолжает-таки делать успехи! – говорит гость, – еще несколько усилий, и победа за нами!

– Ах, какой циркуляр насчет этого в Самаре вышел! – восклицает моя соседка.

– Н-да, нашему генералу такого не написать! – отзывается хозяин дома.

– А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! Представьте себе, там трезвых людей бунтовщиками называют!

– Всякая плодотворная идея имеет своих мучеников! – говорит гость.

– Нет, воля ваша, а со стороны саратовских властей это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести.

– Ах, Марья Ивановна! разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие? – уныло спрашивает гость.

– Конечно... однако ж, какое варварство!

Разговор стихает; звуки стаканов и чашек мешают мне следить за продолжением его. Одна только фраза долетает до меня, и рука моя невольным образом передает ее печати:

– А я сегодня читала «Морской сборник»! – говорит жена соседа. – «Правительственные распоряжения» до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась!

1860 г.

КЛЕВЕТА

(Посвящается добрым моим приятелям)

Что Глупов возрождается, украшается и совершенствуется, это, я полагаю, давно всем известно. Он не имел никаких понятий – явились понятия; он не имел страстей – явились страсти. Глупов задран за живое.

Глуповцы спокойно жили доселе в своем горшке и унавоживали дно его. Когда-то какая-то рука бросила им в горшок кусок черного хлеба, и этого было достаточно для удовлетворения их неприхотливых потреб. Постепенно этот кусок сделался истинным палладиумом глуповского мирозерцания, глуповских надежд и глуповского величия. В нем одном находили для себя глуповцы источник жизни и силы; он один имел привилегию пробуждать от сна и вызывать к деятельности этих зодчих праздности, этих титанов тунеядства и чревоугодничества. Они суетились, бегали и ползали; они плевали друг другу в глаза, и в нос, и в рот (и тут же наскоро обтирались); они толкались и подставляли друг другу ногу... и все из-за того, чтоб стать поближе к лакомому куску, чтоб вырвать из него зубами как можно больше утучняющего вещества.

Настало другое время; явилась другая рука. Стало казаться странным, что божий дар обгаживается самым непозволительным образом; возникли опасения, что при дальнейшем обгаживании божий дар может окончательно утратить свой первобытный образ; почувствовалась необходимость, чтоб та же рука, которая бросила приваду в горшок, взяла на себя труд и вынуть ее оттуда. Рука явилась и ошпарила глуповцев.

Понятно, что после этого Глупову невозможно не развиваться и не стремиться к совершенству. Он и рад бы снова юркнуть в горшок, но видит, что кипятку еще предостаточно, и потому сгрубить не осмеливается. Но не менее понятно и то, что Глупов, хотя и доведенный столь решительным оборотом дела до раскаяния, не должен, однако ж, питать никаких особенно благодарных чувств.

Свои чувства он таит про себя и, чтоб успешнее надуть публику, шевелит усами, целует ручку и уверяет, что исправился и вперед не будет. Но не увлекайся, о неопытный путник, манящую наружностью зеленого ковра, покрывающего трясины! Не успеешь ты поставить на него ногу, как трясина уж засосет тебя; не успеешь ты войти во вкус глуповских протестаций, как Глупов уж засосет тебя!

Я достаточно наблюдал над нравами глуповцев, чтоб уметь распознавать истинные движения сердец их от движений мнимых. Я знаю, что если глуповец, несмотря на мое упорство, ловит у меня руку поцеловать, то это значит, что он почему-то меня боится, что он ждет от меня какой-то милости. Быть может, он заблуждается; быть может, я не имею возможности сделать ему ни добра, ни зла, но я напрасно стал бы заверять его в этом: не поверит ни за что в свете. Он подлец и потому убежден, что всякий, кто имеет силу, имеет ее для того, чтоб бить, и что от этих побоев можно избавиться только кривляниями. В таких обстоятельствах, если я сам человек глупо-нравный и бесстыжий, то могу делать над глуповцем все, что моей душе угодно: могу заставить его снимать с меня сапоги; могу заставить его брать сигару зажженным концом в рот, пить из полоскательной чашки, представлять фанни Эльснер и вообще производить все увеселительные упражнения, на изобретение которых так торопато глуповское воображение. Но зато я знаю также, что если я чуть-чуть оплошал, если глуповец почему-либо утратил веру в мою силу, если он не имеет побуждения ни бояться меня, ни ждать от меня милости, он сейчас же подбежит к столбику и поднимет ногу.

И потому, когда глуповец гримасничает и говорит мне «ха-ха!» – я всегда совершенно явственно слышу, что в утробе его бурчит «хо-хо!»; когда глуповец жмет мою руку, я всегда самым положительным образом ощущаю, что в его руке есть трясение какое-то, есть ехидная какая-то судорога; когда глуповец лезет целоваться со мной, я знаю на верное, что в это время у него щелкают зубы.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Зрелище унижительное и в высокой степени безнравственное! Надо без оглядки бежать из этой страшной среды, чтоб не засосаться в нее, чтоб не осквернить свою душу.

Во всяком случае, глуповскими протестациями в любви увлекаться нельзя. Во-первых, глуповец слишком ошпарен, а во-вторых, он ищет только случая, как бы поудобнее и побезнаказаннее поднять ногу. Повторяю: не доверяй слишком опрометчиво, о неопытный путник, манящей наружности зеленого ковра, покрывающего сию трясины! Ковер – это распухшая от водки рожа глуповца; трясины – это исполненная ехидства душа его!

Самая простая и вместе с тем самая действительная манера поднимания ноги – это сплетня и клевета, и глуповец пользуется ею до пресыщения. Я бы сказал, что сплетня разъедает Глупов, что со временем она должна вконец уничтожить его, если бы не знал наверное, что тут ни разъедать, ни уничтожить нечего, что тут живет одно тление, которое потому и живет, что оно тление. Сплетню и клеветой занимался Глупов еще до ошпаривания, еще в то время, когда он, в веселии сердца, унавоживал дно горшка. Он был великий на это художник и предпочитал этому искусству разве искусство смешить и увеселять своих добрых начальников. Первое он называл своим незаконпротивным упражнением души и сердца, второе – своею политикой. Первое доставляло ему утешение; второе бросало ему в рот катышки со стола богатого Лазаря.

По-видимому, какое дело Флору Лаврентьичу Ржаницеву, что у Николая Семеныча Примогенова нос вавилонами вырос? Ан дело, потому что Флор Лаврентьич об том только и печалится.

Какое дело Федьке Козелкову, что Сеня Бирюков и лег и встал у Катерины Силантьевны? Ан дело, потому что Федька Козелков находится по этому случаю в больших попыхах: он наскоро сообщает об этом по секрету своему другу Володьке Паршивину, а Володька Паршивин приходит в ужас и тут же делится полученною новостью с Петькой Перетыкиным.

Какое дело кабаньей жене, что поросенков брат третьего дня с свиной племянницей через плетень нюхался? Ан дело, потому что кабанья жена до исступления чувств этим взволнована, потому что кабанья жена дала себе слово неустанно искоренять пороссячью безнравственность и выводить на свежую воду тайные пороссячьи амуры.

Какое дело всем этим Терентьичам, Сидорычам и Трифонычам, что я ел сегодня пирог с капустой, потом заходил к Матрене Ивановне и у нее ел пирог с налимьими печенками? Ан дело, потому что едва я вхожу в залу клуба, как ко мне подлетает Терентьич.

– А вы сегодня пирог с капустой ели? – говорит он и при этом строит такую рожу, как будто хочет спросить: «А раскуси-ка, брат, как я это узнал?»

– Ну да, ел.

Не отлетел еще Терентьич, как подлетает Сидорыч:

– А вы сегодня у Матрены Ивановны были?

– Ну да, был.

За ним подлетает Трифоныч:

– А вы сегодня у Матрены Ивановны пирог с налимьими печенками кушали?

– Ну да, ел.

И благо мне, если я ограничусь краткими ответами. Но если я истинный глуповец, то непременно пущусь в разыскания, буду мучиться мыслью, каким образом все это узналось, буду допытываться, буду приставать. И выйдет из этого такая благодатная штука, которая самым приятным образом наполнит мое существование в продолжение нескольких дней.

Все это, однако ж, было очень невинно и потому мало кого трогало. Конечно,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru рассказ о лежании и вставании Сени Бирюкова довольно пакостного свойства, но свойство это значительно умерялось тем, что если Федька Козелков рассказывал о похождениях Сени, то и Сеня, в свою очередь, передавал под величайшею тайной, что вчера ночью достоверные люди видели, как Федька влезал через окно к Матрене Ивановне, и что вследствие этого сегодня утром у Федьки появились золотые часы. И оба были довольны, и оба не питали ни малейшей друг к другу претензии.

Да и можно ли было оставаться недовольным? Если Флор Лаврентьич треснет Николая Семеныча по уху, а Николай Семеныч также треснет за это Флора Лаврентьича по уху, – стало быть, они квиты. Если Федька Козелков плюнет Володьке Паршивину в лицо, а Володька Паршивин за это также плюнет Федьке Козелкову в лицо, – стало быть, они квиты. «Гарсон! подай шампанского!» – и все тут. Это круговая порука, в которой не было ни одного не битого и насквозь не исплеванного.

Однако бывали клеветы и погнуснее.

Поверит ли, например, благосклонный читатель, что в одной из глуповских палестин некоторый старец десять лет состоял под судом по жалобе эстляндской уроженки девицы Фрик на оболъщение ее тем коварным старцем и что жалоба эта и самая девица оказались впоследствии остроумным вымыслом некоторых развеселых глуповских робят, в котором принимал участие и сам глуповский судья? А между тем такое дело было, я видел его собственными моими глазами!

Девица Фрик! – а позвать старца к ответу! Хи-хи!

– Милостивые государи! – взывает старец, – никогда такой девицы не бывало! Сами вы видите, что это пасквиль!

Нужды нет! – отнестись к начальству Эстляндской губернии о разыскании девицы Фрик... Хи-хи!

– Нет девицы Фрик! – отвечает начальство Эстляндской губернии.

А сделать девице Фрик повсеместный по Российской империи розыск... Хи-хи!

А предписать глуповской земской полиции произвести по прошению девицы Фрик настрожайшее следствие... Хи-хи!

А объявить старцу, что, по свойству взводимого на него обвинения, он обязывается отыскать лицо, которое согласилось бы взять его на поручительство... Хи-хи!

И вот старец, который, быть может, мечтал только о том, чтоб остаток дней своих посвятить посыпанию песком аллея своего сада, чувствует существование свое отравленным. Он день и ночь строчит ответы и объяснения; он мечется как угорелый и сорит деньгами, чтоб достать по себе поручителя («Чего доброго, еще напляшешься с таким сорванцом!» – не без иронии говорят глуповцы), он подает жалобу за жалобой, он ездит, он кланяется, он умоляет... Но нет ничего мрачнее глуповцев, когда они принимаются остричь! Напрасно кланяется и умоляет старец – они не внемлют; они стоят себе в кружке да покатываются.

– Скажите пожалуйста, какая неприятная история! – говорит один из них огорченному старцу.

Старец клянется, что он невинен.

– Да как же ты, Панфил Пантелеич, не умел концы в воду схоронить? – говорит другой.

Старец вновь клянется, что невинен.

– Э! да ты Дон-Жуан, Панфил Пантелеич!

– Э! да тебя, брат, семейному человеку в дом к себе опасно пускать!..

И, проводя таким образом жизнь, глуповцы возносили к небу благодарные молитвы, блаженствовали, наслаждались и умирать отнюдь не желали. Казалось бы, что такого рода занятие следовало бы оставить, особливо в настоящее время, когда и т. д. Казалось бы, что кабаньей жене надлежало бы более интересоваться тем, что в

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Глупове о сю пору не заведено женской гимназии, нежели амурными похождениями поросенкова брата. Но, увы! все это только «казалось бы»! Отнюдь не следует забывать, что глуповское возрождение есть в полной мере глуповское и что, следовательно, самые проявления и последствия его должны быть глуповскими.

Глуповец упорен, и от привычки своей (особливо если она ему прилась по сердцу) не отстанет ни за что в свете.

Разрушайся в глазах его вселенная, лопайся откуп, сокрушайся крепостное право – он останется верен своей привычке и тверд как скала. Казалось бы, какая дрянная привычка (и как бы легко ее бросить!) ковырять в носу, класть в рот пальцы, плевать, когда говоришь, а глуповец и ее не оставил! Как же после этого требовать от него, чтоб он бросил сплетничать и клеветать, когда в этом заключалась вся отрада его жизни, весь внутренний смысл ее? Очевидно, что такое требование было бы не только не практично, но даже и крайне притязательно.

А потому никто и не предъявляет подобного требования, а потому никто и не мечтает, чтоб глуповец когда-нибудь мог перестать быть глуповцем.

Но глуповец ошпарен, и потому клевета его принимает другой характер. Прежде она была легкой забавой, бесценным препровождением времени; теперь она делается клеветой злобною, клеветой, имеющею, черт побери, политический оттенок.

Глуповец любит пригибаться к земле и прикидываться Сидоровой козой, но он помнит. Он так хорошо помнит то огорчение, которое причинило ему внезапное ошпаривание, что даже дает себе слово пересказать об этом в назидание всему свинью потомству («вот, мол, друзья мои, какое страшное дело было, что у нас в горшке словно мгла поднялась»). На первый раз он был как будто ошеломлен, но теперь он уже шевелит усами и нюхает, но теперь изъязвленные места начинают уж вновь мало-помалу зарастать шерстью. Он нюхает, откуда бы могла прийти на него такая напасть, но так как голову высоко поднять не может, то нюхает больше поблизости. И всякий смертный, не разделяющий безусловно глуповских убеждений, не погрязший безусловно в болоте глуповского мирозерцания, кажется ему личным врагом, которого надлежит приличным образом опакостить. Всякий, кто заблаговременно выполз из горшка, кого ошпаривание не застало врасплох, кажется ему отступником от отеческих преданий, против которого дозволительна всякая гнусность. Эта мысль охватила все существование глуповца. С тех пор как она в нем засела, он видит веселые сны, он чувствует в себе какую-то страстность, он уподобляется тому немощному старцу, который, женившись на молодой и здоровой девушке, явственно ощущает, как ветхое его тело крепнет и восстанавливается на счет молодого и свежего организма. Он позабыл даже о девице Фрик, он не обращает внимания на похождения поросенкова брата. Ненависть сделала его почти красавцем; она сделала его почти умным...

Но если цель и намерения клеветы изменились, то приемы и содержание ее остались те же, какие были и прежде. Поговорим наперед о содержании.

Страннее всего то, что глуповцы не могут придумать клеветы более гнусной и омерзительной, как назвать своего противника глуповцем же. В этом отношении они патриоты самые несостоятельные. Русский, например, никогда не скажет в укоризну французу: «Ах ты, русак-вахлак!» – но либо назовет его мусью беспардонным, либо напомнит ему то славное время, когда

Барклай де Толли и Кутузов
В Москве морозили французов...

Но глуповец – совсем дело другое. Он так и прет вперед с своим «глуповцем». – Мотри, мотри, робята! – говорит он, – ведь это наш! ведь это наши робята на солнце онучи сушат!

Я полагаю, это происходит оттого, что горизонт глуповской мысли еще не достаточно расширился, что глуповец еще не успел выработать себе иных понятий, кроме тех, которые дала ему жизнь в горшке. Например, он драл взятки с живого и с мертвого, и по писку, который поднимали обыватели горшка, подвергнутые такой реквизиции, заключал, что им не должно быть очень сладко. И хотя это соображение отнюдь не останавливало его от дальнейших подвигов на том же поприще, но в голове его уже рождалось смутное понятие, что взятки дело нехорошее и что тот, кто занимается таким делом, есть подлец. От этого, даже в его понятии, слово «взятчик» сделалось словом ругательным. От этого, если он хочет уязвить своего

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru врага, то распускает слух, что он взяточник. И выходит тут нечто странное, потому что, в сущности, глуповец ругается здесь своим собственным именем. И выходит это столь же странно, как если бы Сила Терентьич, вздумав хорошенько отделать Терентья Силыча, не нашелся сказать ему ничего более гнусного, кроме фразы: «Ах ты, Сила Терентьич!»

Возьмем другой пример. Глуповцу нередко приходилось претерпевать побои, и он всякий раз чувствовал, что это больно. Сверх того, как он ни был обмят и обколочен, но не мог в то же время не сознавать, что это и стыдно. Но если даже ему казалось больно и стыдно принимать побои, то каково же должно это казаться тому, кто в продолжение целой жизни не испытывал ни малейшей затрешины? Это соображение проникает страшным лучом света в его голову. Глуповец понимает, что положение этого человека должно быть нестерпимо, и потому, если хочет уязвить своего противника, то распускает слух, что его побили. И тут глуповец обругал своим собственным именем, и тут Сила Терентьич назвал Терентья Силыча – Силой Терентьичем!

Возьмем третий пример. Известно, что глуповец имел совесть покладистую и готов был на всякий подвиг, лишь бы инициатива подвига исходила от лица, могущего дать на водку. Стоило только поманить глуповца рукой и сказать ему: «Вот тебе, Сидорыч, двугривенный: поди и подслушай там-то и там-то!» – и Сидорыч устремлялся стремглав; он уделял гривенник своему сообщнику и на остальной гривенник не только подслушивал и подсматривал, но даже и присочинял. С такими теплыми парнями можно было действовать широкой рукой: и дешево, и сердито. Однако подобные подвиги не всегда же сходили глуповцу с рук удачно. Случалось, что ему с замечательною щедростью накладывали за это и в зубы, и в нос, и в скулы, а нередко повреждали и самые бока. Глуповец помнит это и по степени полученных повреждений заключает о непригодности ремесла. «Стало быть, – рассуждает он, – скверно подглядывать! если меня бьют за это!» А потому, если он хочет уязвить своего врага, то дает почувствовать, что он подкуплен, что он действует так, а не иначе, не потому, что это согласно с его убеждениями, а потому, что так велено.

А глуповцы ахают и верят. Дыхание спирается от радости в их зобах; им сладко и жутко от этих рассказов; они молодеют и переносятся мыслью к тем незабвенным временам, когда их били ежеминутно, били, не зная усталости, били и притом мазали сальной свечой по морде, били и притом приговаривали: «Не подслушивай! не мошенничай! не передергивай в карты!» Они верят, они не могут не верить, если бы даже и хотели. Они так созданы, что не в силах даже представить себе, чтоб мог существовать такой мир, в котором не было бы ни взяток, ни подглядывания, ни мордобития!

В этом случае клевета приобретает характер естественный, почти законный.

Положим, что горькая сила неизбежной судьбы приковала вас к Глупову, акклиматизировала среди глуповцев. Положим даже, что вы до такой степени акклиматизировались, что ничем особенным и не отличаетесь от глуповцев; что у вас, как и у них, два желудка и только половина головы; положим, что вы, в довершение всего, играете в карты и не презираете водку. По-видимому, тут есть все, чтоб обворожить глуповцев, чтоб приобрести между ними популярность и снискать их доверие, Однако нет, У глуповца имеется своего рода чутье; он нюхает день, нюхает два, и наконец поднюхивает-таки в вас нечто несродное Глупову. И с этой поры он вас ненавидит, хотя и продолжает целовать ваши руки; он ненавидит вас тем сильнее, что любовь к картам и снисхождение к водке кажутся ему с вашей стороны лишь преднамеренным притворством. С этих пор он считает себя вправе взнести на вас всякую мерзость из того богатого запаса мерзостей, который хранится в его душе.

И тут-то именно выступают на сцену истинные глуповские приемы. Поговорим о приемах.

И в этом случае глуповец остается верен самому себе, и здесь он прежде всего помнит, что за клевету могут помять ему бока. Он знает, как это больно, и потому действует с осторожностью.

– Вы знакомы с мосье Шалимовым? – спрашивает петухову свояченицу курицын племянник.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Еще бы! – отвечает петухова свояченица.

– Правда ли, что он...? – подвिलивает курицын племянник, показывая рукою хапанца.

Петухова свояченица, которая за минуту перед тем даже не мечтала о возможности подобного вопроса, внезапно воспаляется.

– Еще бы! да это весь Глупов знает! – восклицает она и как-то желчно при этом обдергивается.

По-видимому, это неосторожно; по-видимому, петухова свояченица рискует, что мосье Шалимов всенародно за это ее поцелует. Однако она не смущается. Не смущается она потому, во-первых, что у мосье Шалимова нет привычки целовать морвёзок, а во-вторых, потому, что она ни на минуту не забывает, что живет в Глупове и что в этом любезном городе есть такое болото, которое в одну минуту засосет в себя какую угодно мерзость.

И действительно, вслед за курицыным племянником является к ней на выручку индейкин сын.

– А вы знаете, что курицын племянник рассказывал про мосье Шалимова? – спрашивает она его.

Индейкин сын разевает рот.

– Он говорит, что мосье Шалимов ужаснейший взяточник! – продолжает она и, в видах собственного своего ограждения, прибавляет: – Впрочем, это не может быть!

Но индейкин сын уже проглотил. Он берется за шляпу и спешит поделиться новостью с куликовой тещей, которая, в свою очередь, передает ее цаплину внуку, а цаплин внук сообщает сестрицам-чекушечкам.

– Слышали? слышали? – стонет болото.

– А слышали ли вы, какую намеднись наш чибис трепку мосье Шалимову задал? – ввязывается кукушкин сирота.

– Неужто?

– Лопни мои глаза!

– Да кто ж это видел?

– Да где ж это случилось?

– Ай да чибис!

– А я так наперед знал, что наше болото задаст себя знать! Ай да лихо!

Мосье Шалимов сидит в это время дома и, по своему обыкновению, скорбит о глуповцах. Он думает о том, какими средствами можно бы сделать из них умновцев, и до такой степени погружен в свои мечтания, что даже не замечает, что против него уже с полчаса, как очарованный, сидит индейкин сын и, очевидно, сгорает нетерпением нечто снаушничать. Естественно, мосье Шалимов, выслушав мерзость, прежде всего плюет, но потом размышляет и так, что не жирно ли будет, если курицыным детям будут даром проходить все их противоестественности. Расправа.

– А ну-те, подлецы! – говорит мосье Шалимов, – сказывайте, кто из вас первый эту пакость выпустил?

– Это не я, это цаплин муж! – спешит прежде всех отозваться петухова жена.

– Это не я, это сестрицы-чекушечки выдумали! – оправдывается цаплин муж.

– Что ты? пьян, что ли? Не при тебе ли куликова сноха это рассказывала? – щебечут, не на шутку струсив, сестрицы-чекушечки.

– Ан сами вы пьяны! Не верьте им, добрые люди, ведь они известные сплетницы! –

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
возражает куликова сноха.

И тут начинается одна из тех сцен взаимных поклепов и обоюдных доносов, истинная прелесть которых понятна только глуповцу. В продолжение многих часов воздух оглашается односложными возгласами, вроде «нет, ты!» «ан, ты!», покуда наконец кукушкин сирота не наплюет в глаза цаплину мужу в доказательство своей невинности.

Засосало! засосало–таки проклятое болото!

Нет сомнения, что существует же на свете тот курицын сын, который считает для себя полезным и выгодным наклеветать на Шалимова; но кто именно этот курицын сын и какая именно курица, дымчатая или крапчатая, высидела такую ехидную гадину, это остается тайною глуповской почвы и глуповской природы.

Однако, постой же, достойный сын Глупова! умерь на минуту клеветнический пыл свой, и объяснимся.

Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь полное право клеветать. Ты глуповец, и в качестве глуповца не можешь себе представить оружия более легкого и более действительного. Ты убежден, что Шалимов был не непричастен тому ошпариванию, которое наделало тебе столько хлопот, итак, клевети на него, облыгай его, удовлетвори потребности твоего сердца без церемоний!

Но для чего ты хоронишься? для чего ты бежишь в кусты, когда нить исследования приводит к тебе? Для чего ты не говоришь прямо: «Да, это я солгал! это я наклеветал!»

Не оттого ли, что ты жалеешь свои щеки? Нет, ты не жалеешь их. Ты очень хорошо понимаешь, что они самой природой созданы для пощечин; ты неоднократно доказывал это самым убедительным образом, ибо не только безгорестно принимал пощечины, но даже, немедленно после того, отправлялся играть в бабки. Не оттого ли, что в тебе еще остались кой-какие огрызки совести, которые мешают тебе смотреть прямо в глаза честным людям после такого подвига? Нет, и не оттого, ибо ты достаточно совершал на своем веку и не таких подвигов и всегда смотрел на свет божий не только прямо, но даже с нахальством.

Сказать ли тебе, почему ты прячешься?

Ты прячешься потому, что чувствуешь панический страх при одном имени Шалимова. Шалимов, в твоих понятиях, не просто молот, могущий раздробить твою голову, не просто ступа, которая может стереть тебя в табак: Шалимов – это принцип, который подрывает все основы твоей внутренней жизни, Шалимов – это навеки нарушенный твой сон.

Еще никогда в жизни ты не испытывал такого потрясения, какое испытываешь в настоящее время. В тебе совершился целый психологический переворот. Ты был убежден до сих пор, что у твоей жизни есть только физическая основа, и эта сладкая мысль наполняла твою душу тем тихим веселием, которое может ощущать только невинность теленка, заранее уверенного, что ему не грозит в будущем недостатка ни в сене, ни в резке. И вдруг явились обстоятельства, доказавшие тебе самым положительным образом, что ты заблуждался. Представь себе, в самом деле: ведь и тобою руководил какой-то нравственный принцип! ведь и ты не все же ел, да пил, да посягал, а тоже веровал и мыслил!

Да, ты веровал, ты мыслил – это несомненно, хотя верования твои были нелепы, хотя мысли твои были поганы. Это несомненно уже по тому одному, что вот теперь тебя и не бьют, и кормят исправно, а тебе еще больнее, нежели в то время, когда тебя и били и оставляли без обеда. Ты в первый раз понял, что значит настоящее прикосновение к нравственным основам жизни и какую страшную боль причиняет это прикосновение. Что плюха? – съел плюху, съел две – встряхнулся и пошел щеголять по-старому... Но тут ведь сердце умирает от боли! но тут ведь кровь разлагается в жилах от жестокого обращения!

И все эти бедствия, и все это нравственное посрамление причинил тебе Шалимов и ему подобные! Истинно говорю тебе, что понимаю всю ненависть, которая должна закипать в твоём сердце при одном упоминании этого имени!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Но откуда, однако, эта сила в Шалимове? Почему же он сила, а сосед твой, Флор Лаврентьич Ржанищев, – навоз, а другой твой сосед, отставной капитан Постукин, – бутылка, наполненная желудочной настойкой? По-видимому, и общественное глуповское мнение мало симпатизирует Шалимову, и массы остаются к нему равнодушными... и все-таки он сила! Стало быть, есть нечто среднее между глуповским поветрием и глуповскою массою; стало быть, есть нечто еще не выразившееся, но уже предосаждаемое, нечто неизвестное, но уже предощущаемое, что благоприятствует и покровительствует Шалимову.

Если желаешь, я могу тебе это растолковать.

По всем признакам, положение Глупова одно из самых безнадежных: его точит какой-то недуг, который неминуемо должен привести к одру смерти. Однако он не только не умирает, но даже изъявляет твердое намерение жить без конца. И несмотря на видимую нелепость этих надежд, я не могу не разделять их, я не могу не признать их вполне основательными. Почему? А потому, достойный мой глуповец, что хотя сограждане твои и поражены проказой, но воздух Глупова чист, ибо освежается прилегающими из Умнова ветрами. Благодаря этой чистоте, в глуповском воздухе ощущается та струя честности, которая полагает непереступаемые границы нравственной распушенности глуповцев. Благодаря ей, глуповское мирозерцание не делается владыкою мира, но остается в пределах своего горшка. Благодаря ей, глуповский абориген, который с трудом может отличить свет от тьмы, не смеет, однако ж, открыто не признавать благодетельной, всепроникающей силы добра, точно так же как ни один глуповский *jeune homme bien élevé*[120] не решится сказать, что гром оттого бывает, что Илья-пророк по небу ездит, хотя наверное знает, что в этом именно и заключается единственная и настоящая причина грома.

Сойди в трущобы своего собственного сердца, о глуповец! и очисти их от наслоившегося веками навоза! И там ты отыщешь зачатки некоторой застенчивости, и там ты доскребешься до чего-то похожего на робкое признание силы добра! Конечно, этот эмбрион стыдливости слишком слаб, чтоб подействовать решительно на твое собственное нравственное возрождение, но все же он достаточен, чтоб внести в твою душу тот спасительный трепет, который не позволяет ей надругаться над тем, что, по общему, вселенскому сознанию, признается за добро.

Ты не отречешься от клеветы, но будешь клеветать потихоньку. Ты не отречешься от клеветы, но, клеветая, будешь озираться кругом, не подслушивает ли тебя кто-нибудь. Ты не отречешься от клеветы, но при первом шорохе струсишь, но при первом настоящем вопросе отопрешься и скажешь: «Это не я, это индейкина дочь!»

Да, и в самых растленных обществах имеется своего рода стыдливость! и самый великий, самый несомненный подлец никогда еще не доходил до такого цинизма, чтоб всенародно признавать себя за подлеца и гордиться этим званием!

Влияние этой честной, благодетельной струи, которая спасает Глупов от окончательного разложения, я могу доказать тебе многими несомненными фактами.

Скажи мне, например, почему госпожа Падейкова, которая свою горничную всегда называла Аришкою, халдою и чумичкою, вдруг начала ее называть Аришею и голубушкою? Изменила ли она свое воззрение на нее, убедилась ли, что Ариша, в самом деле, стала из халды голубушкой? Ни то, ни другое. И госпожа Падейкова, и Ариша остались верными самим себе: по-прежнему первая непреклонна в своих убеждениях; по-прежнему последняя упорствует в своей халдоватости. Однако нечто изменилось между ними; однако во взаимных отношениях их поселилась какая-то холодность, делающая их подчас весьма неприятными. Что же произошло, что изменилось? А изменилась, друг, та атмосфера, в которой они до сих пор жили и действовали, и вследствие этого изменения госпожа Падейкова и хочет, да не смеет, а девка Аришка и не хочет, а смеет. Ясно ли?

Отчего сосед мой, капитан Постукин, известный целому околотку, как малый лихой и притом весьма развязный на руку, внезапно опустил длань свою, начал хиреть и задумываться? Отчего он, вместо того, чтоб действовать чубуком наотмашь, усовершенствовал себя до той степени деликатности, что только стискивал свой чубучище в руке, но бить им никого не бил? Получил ли он внезапно убеждение, что чубук не составляет еще совершенного доказательства? Нет, не получил, и это доказывается тою судорогою, которая вывертывает его руку. Закралось ли в его душу сомнение насчет возможности получить сдачи? Нет, не закралось; ибо до самого

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
конца жизни он оставался сложенным до такой степени прочно, что один поверхностный взгляд на его наружность сразу подрывал всякое предположение о возможности сдачи. Что ж изменилось? И тут, повторяю, изменилась лишь атмосфера, изменились лишь отношения – и ничего больше.

А если бы ты знал, о достойный глуповец, какой страшной, неслыханной борьбы стоило Постукину его воздержание! Он несколько месяцев сряду умирал ежемгновенно, и все молчал, и все курил трубку, и все хотел что-то высказать... и не высказал! С тем мы его и похоронили. Только напоследях, перед самой своей кончиной, он собрал своих челядинцев и сказал им:

– Ну, подлецы, прощайте! По крайней мере, не при мне...

Но и тут не досказал, и тут сама судьба не допустила его отдать на поругание тайну его сердца.

Отчего у другого моего соседа, отставного прапорщика Сидорова, прислуга вдруг объявила, что не хочет кислого молока хлебать? Изменилось ли свойство молока? Сделались ли желудки менее устойчивыми? Ни то, ни другое. Еще вчера ела прислуга то же самое молоко, ела, и вид здоровый и бодрый имела. Ели это самое молоко отцы, ели дедушки, а никогда-таки на животы не жаловались, – и вдруг словно вот оборвалось! Тщетно господин Сидоров уговаривает их: «что, мол, вы, сударики, – вафель, что ли, вам хочется?» Тщетно он подбегает то к одному, то к другому: «а ну-ко, Егор!» – «а ну-ко, Прохор!»... Увы! ни в ком не находит он никакого раскаяния! Что ж изменилось? Опять-таки изменилась одна атмосфера: «Не ешь, братцы, молока!» – да и шабаш!

Отчего ключница Матрена, видевшая прежде во сне, что доит коров либо на погреб за огурцами ходит, с некоторого времени видит, что гуляет в саду по цветам? Оттого, что атмосфера изменилась.

Отчего госпожа Антонова, как только войдет в комнату истопник Степушка, тотчас же прерывает интересный разговор и предупреждает своего собеседника: «парле франсе, domestik иси»? [121] Оттого, что атмосфера изменилась.

Многие глуповцы, пораженные столь неожиданными для них явлениями, прежде всего ищут объяснить их себе чисто внешним образом. Им все кажется, что тут действуют какие-то зачинщики и подстрекатели, без тайных козней которых все шло бы как по маслу. Так, например, господин Сидоров утверждает, что начало всей смуте положил Егорка-Лысый, а госпожа Антонова божится и клянется, что перемена в характере сновидений ключницы Матрены произошла именно с тех пор, как эта подлая тварь снюхалась с подлецом Ионкой. Приятель мой Удар-Ерыгин идет в этом случае еще дальше. Когда до его сведения доходит слух о подобной смуте, он даже не дает себе труда разобрать, в чем дело, но просто-напросто приказывает отобрать пяток или десяток зачинщиков.

Однако опыт и добросовестные исследования самым положительным образом доказывают, что подобный способ оценки явлений совершенно несостоятелен.

Допустим, что Егорка-Лысый действительно первый сказал: «Не ешь, братцы, кислого молока!», но почему ж он сказал это? Почему он вчера не говорил ничего, а нынче сказал? Почему, наконец, не предположить и того, что если бы Егорка, на одну только минуту, прикусил себе язык, то эти же самые слова не были бы высказаны прежде его Антипкой или Прошкой? А может быть, Егорка дал еще довольно умеренную форму требованиям, долгое время таившимся на дне всех вообще сердец Прошкиных? А может быть, не вырази этого требования Егорка, выразил бы его филька-Косач, и тогда бог весть, какая вышла бы из этого кутерьма? А может быть, Егорка явился еще миротворцем; может быть, своим вмешательством он еще спас дело?

Но, конечно, еще более несостоятельно представляется манера Удар-Ерыгина. Тут все случайно, тут все так-таки просто ни на что не похоже. Почему именно пяток, а не десяток зачинщиков? И каких зачинщиков: блондинов или брюнетов? И если блондинов, то почему не брюнетов?

Я серьезно обращаю внимание гг. Сидорова и Удар-Ерыгина на эти вопросы и приглашаю их размыслить, ибо, мне кажется, они смотрят на это дело слишком легко.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Конечно, если взирать с высот глуповских на всех этих Антипок и Прошек, которые там, внизу, копошатся, то кажется, что они составляют безразличную массу и что, в смысле общеглуповских интересов, все равно, кого ни вырвать из этой массы: Антипку или Прошку. Но это не так. Микроскопические наблюдения доказывают нам до очевидности, что каждый из этих Антипок имеет свое собственное очертание. Затем наблюдения психологические доказывают еще больше: они доказывают, что каждый Антипка имеет не только свое собственное очертание, но и свою собственную нравственную физиономию, так что если, например, Антипку высекут понапрасну, а Прошку не высекут и за дело, то оба они этим обижаются. Стало быть, в воззрениях Сидорова и Удар-Ерыгина на мир Антипок и Прошек кроется ошибка; стало быть, и сечь не следует зря, а тоже рассматривать. Это первый результат, к которому должно привести размышление.

А второй результат будет заключаться в том, что и Антипка, и Прошка, после тщательного разбора дела, наверное очистят себя от всяких несправедливых нареканий. Антипка скажет: «Не я!», Прошка скажет: «Не я!» – и оба будут правы, ибо виноват не Антипка, а время, а струя, которая, несмотря ни на что, держится себе да держится в глуповском воздухе...

Итак, вот почему ты весь трясешься при одном имени Шалимова, курицын сын! Вот почему ты боишься его пуще палки и боя смертного! вот почему ты прячешься!

Но как ни искусны действия клеветника, как ни бесследно засасываются они болотом, составляющим поприще клеветы, тем не менее положение его должно быть ужасно.

Каждую минуту он должен опасаться, что вот-вот его уличат; каждую минуту он должен трепетать, что вот-вот настанет страшное мгновение, когда он вынужден будет всенародно принести покаяние, всенародно назвать себя клеветником!

А ну, как болото не засосет?

А ну, как индейкин сын смалодушествует?

И пораженному ужасом воображению клеветника представляются, как живые, все малейшие подробности, вся мелочная обстановка, сопровождавшая его гнусный поступок. Тогда-то он был там-то и сказал то-то («еще в это время ветчину с горошком подавали!» – подсказывает глуповское брюхо); тогда-то, при таких-то свидетелях, курицына дочь высказала такую-то мерзость, и он не только не протестовал, но даже сомнительно улыбнулся («цаплина внучка чай разливала!» – подсказывает брюхо); тогда-то он до такой степени увлекся, что выставил себя даже очевидцем небывалого происшествия («не хотите ли еще кусочек каплуна?» – спрашивала его в это время Куликова теща).

Волосы шевелятся на голове его, во рту делается горько...

Что плюха? видал он на своем веку виды! И десять, и сто плюх съесть ничего; но быть униженным перед своей братией, но попасться, но быть пойманным, но быть названу подлецом в такое время, когда подлецы перестают производить фурор, – вот где ужас! вот казнь, которую он не мог предвидеть и ожидание которой заставляет его всечасно бледнеть и умирать!

Только вор может испытывать нечто подобное, когда лезет ночью в окно чужого дома...

Но, кроме страха, клеветник должен по временам ощущать и приливы раскаяния. Когда впечатление, произведенное ошпариванием, ослабевает, он не может не сознавать, что происшествие, столь много его огорчившее, исходит не от Шалимова, но вообще от силы ошпаривающих обстоятельств. И тогда он начинает ругать себя подлецом и свиньей и даже изъявляет намерение намазать свой глупый язык горчицей.

Только каплун может испытывать нечто подобное, когда, думая, что поймал носом кусок творогу, он внезапно догадывается, что поймал кусок извести.

Во уважение этого глупого страдания, во внимание к этому нелепому раскаянию, убеждаю тебя, Шалимов: плюнь на клеветника!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Для тебя это тем легче сделать, что наблюдения над общим строем глуповской жизни должны были дать тебе удовлетворительный материал для плевания и достаточно развить в тебе способность к такому способу выражения чувств и движений души. Плюй же смело! плюй прямо, плюй направо, плюй налево: может быть, доплюешься и до клеветника!

Помни, что Глупов не может не клеветать, потому что он возрождается. Возрождение вызвало в нем новые страсти и новые понятия, но прежде всего вызвало ненависть к самому возрождению. Хоть это, по-видимому, и противоречие, но оно разрешается очень просто. Еще не остыл на Глупове пот прежней, горшечной его жизни; еще не перегорел внутри его старый хлам, накопленный там веками; он все еще прежний, ветхий Глупов, который так забавлял тебя своим оригинальным мирозерцанием... Странно было бы, если бы он покончил со своим прошлым, не поговорив немного, не снежевничав хоть ради очищения совести!

Но, быть может, ты возразишь, что глуповские Палестины обширны и клевета разливается в них с зазорною быстротой. Скучно и досадно жить посреди жалкого гвалта, поднимаемого курицыными детьми, омерзительно видеть эти глупо разинутые рты, эти выпученные от радостного удивления глаза. И не потому досадно, что трогает самый крик курицыных детей, но потому, что крик лезет в уши, что он посрамляет мысль, что он во что бы то ни стало хочет вгрызться в существование, совершенно непричастное глуповской жизни.

Согласен; действительно, все это и скучно и омерзительно. Но в таком случае, не лучше ли сразу покончить с Глуповым?

Ты сам отчасти виновен в том, что Глупов сделался развязан, что он забыл пословицу, что розга для его же добра существует. Ты был слишком снисходителен к глуповцам, ты слишком якшался с ними. Ты сам некоторым образом заразился глуповскими привычками, сделался причастным глуповскому мирозерцанию, а глуповцы, видя это, и впрямь заключили, что ты совсем сделался глуповцем. И вот начались между ними «ха-ха» да «хи-хи», и вот появилась толпа amis cochons, [122] которая, утерев всякий страх, приглашает тебя выпить водочки и сыграть пулечку...

Сбрось с себя эту дрянь! покончи с Глуповым и делай свое дело, иди своею дорогой! Стань в стороне от Глупова и верь, что грязь его не забрызжет тебя!

НАШИ ГЛУПОВСКИЕ ДЕЛА
В надежде славы и добра

Идем вперед мы без боязни...

Вот и опять я в Глупове; вот и опять потянулись заборы да пустыри; вот и опять широкой лентой блеснула в глаза река Большая Глуповица и узенькой – река Малая Глуповица; вот и опять пахнуло на меня ароматами свежее испеченного хлеба... Детство! родина! вы ли это?

Сердце мое замирает; в желудке начинается невыразимо сладостная тревога... передо мною крутой спуск, а за спуском играет и нежится наша милая, наша скромная, наша многоводная Глуповица! Господи! сколько стерлядей лавливали здесь во время оно! И какие славные варева сочинял из них повар Трифоныч! Даже теперь язык невольно подщелкивает, даже теперь рассудок отказывается верить, чтоб Тигр и Евфрат могли предложить первому человеку что-либо подобное ухе из налиминых печенок, которую ест самый последний из обитателей берегов нашей родной реки!

Да, мы гордимся нашей рекой и имеем на это право, ибо Глуповица (шутка сказать!) река историческая. Во-первых, на берегах ее кто-то кого-то побил. Во-вторых, это истинная колыбель тех золотых поросытообразных стерлядей, которыми объедались достославные наши предки, которыми продолжаем объедаться и мы. В Глуповице, как в неподкупном зеркале, отражается вся жизнь Глупова. Вместо того чтоб риться в пыли архивов, вместо того чтоб утомлять свой ум наблюдениями над живыми проявлениями жизни, историку и этнографу стоит только взглянуть на гладкую поверхность славной нашей реки – и всякая завеса, будь это самая плотная, мгновенно спадет с его глаз. Глупов и река его – это два близнеца, во взаимной нераздельности которых есть нечто трогательное, умиляющее.

Весною Большая Глуповица широко разливается. Холодные, мутные волны лениво перекатываются от одного берега к другому, а над рекой стоит какой-то приятный,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru расслабляющий гул. Не бурлит родимая Глуповица, разливая по лугам и ложбинам сокровища утучняющей влаги; ничего и никого не уносит она в течения своем; не слышно ни треску, ни гвалта в воздухе, когда, освободившись от зимних оков, вдруг хлынет на вольный свет черная, негостеприимная масса вод... Нет, учтиво и благодушно разливается наша Глуповица; неохотно и неуклюже лезут волны ее одна на другую, производя тот вежливый, расслабляющий гул, о котором говорится выше. Под этот гул славно спится глуповцам.

Летом Глуповица пересыхает. Там, где темнели бурые волны, выглядывают острова песков рудо-желтых; лукавая корова охотно рискует переправиться вброд, чтобы забиться в поемные луга; бесчисленные стада водяных курочек обседают песчаные берега и тоскливым своим криком приводят в раздражение нервы заезжего человека-необывателя; вода светла и прозрачна, сладко, чуть слышно журчит река, катя в бесконечную даль голубую ленту струй своих. Под это журчание славно спится глуповцам.

Осенью Глуповица надувается и как будто проявляет желание подурить. Я охотно хожу тогда посмотреть на реку; все мне кажется, что она сбирается какую-то неслыханную дебошь сделать. Но ожидание мое напрасно. Тщетно вглядываюсь я в колышущуюся пучину вод, тщетно жду: вот-вот разверзнется эта пучина, и из зияющей пропасти встанет чудище рыба-кит! Вместо того я слышу только, как шлепают волны об берега, как они разлетаются в брызгах, и опять шлепаются, и опять разлетаются... Под звуки этого шлепанья славно спится глуповцам.

Но вот наступает и зима. Зимой славно спится глуповцам под звуки собственного своего храпения.

Некоторые местные исследователи полагают, что от реки Большой Глуповицы поднимаются какие-то пары особенные, которые снотворным образом действуют на жителей Глупова. Напротив того, другие исследователи полагают, что пары поднимаются собственно от обывателей и снотворным образом действуют на Глуповицу. Я, с своей стороны, склоняюсь к последнему мнению, ибо я сам однажды видел, как нечто вроде пара поднималось над лысиной прокурора, когда он без шапки возвращался с обеда от откупщика.

Особы, люди и людишки, наездом посещающие Глупов, не нарадуются на него. Во всякое время, когда угодно, тишина и благорастворение воздуха; даже среди белого дня, когда, как известно, в Вавилоне происходило столпотворение, Глупов откликается на зов жизни только тем, что собаки, спавшие доселе у ворот, свернувшись калачиком, начинают потягиваться и повилывать хвостами. Один заезжий аптекарь, взирая на эту картину мира и безмолвия, даже заплакал от умиления. Он вообразил себе, что в больших каменных домах, ограничивающих главную улицу, обитают трудолюбивые сапожники, богобоязненные колбасники и друзья порядка – булочники; что колбасники отдыхают от трудов среди вымывших руки жен и дочерей, что старшая дочь, белокурая Гретхен, читает собравшемуся семейству трогательную повесть Лафонтена, а маленький сынишка Карл, завладевши, с дозволения папаши, негодной кишкой, набивает ее лоскутами и всякой дрянью, воображая, что делает колбасу... И много потребовалось усилий, чтоб растолковать честному немцу, что тишина происходит совсем не оттого, что город населен колбасниками, а оттого, что таково природное свойство обитателей Глупова (их грех первородный): не могут они шевелиться, ибо отяжелели. Начальствующие отдыхают в объятиях секретарей, помещики – в объятиях крепостного права, купцы – в объятиях единоторжия и надувательства. Чтоб поверить такой отзыв, аптекарь стал вслушиваться в эту тишину, и до слуха его действительно долетели странные ночные звуки. Услышав их, немец покраснел и спешно стал собираться в дорогу, а обыватели, провожая его сонными глазами, приговаривали: «Что русскому здорово, то немцу смерть!»

У Глупова нет истории. Всякая вещь имеет свою историю; даже старый губернаторский вицмундир имеет свою историю («а помните, как на обеде у градского головы его превосходительству вицмундир соусом облили?» – любят вопрошать друг друга глуповцы), а у Глупова нет истории. Рассказывают старожилы, что была какая-то история и хранилась она в соборной колокольне, но впоследствии не то крысами съедена, не то в пожар сгорела («помните, в тот самый пожар, перед которым тараканы из города поползли и во время которого глуповцы, вместо того чтоб тушить огонь, только ахали да в колокола звонили?»).

Рассказывают, что было время, когда Глупов не назывался Глуповым, а назывался

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Умновым, но на беду сошел некогда на землю громовержец Юпитер и, обозревая владения свои, завернул и в Глупов. Тоска обуяла Юпитера, едва взглянул он на реку Большую Глуповицу; болезненная спячка так и впилась в него, как будто говоря: «А! ты думаешь, что Юпитер, так и отвертишься! – шалишь, брат!» Однако Юпитер отвертелся, но в память пребывания своего в Умнов повелел ему впредь именоваться Глуповым, чем глуповцы не только не обиделись, но даже поднесли Юпитеру хлеб-соль.

Наезжала еще в Глупов Минерва-богиня. Пожелала она, матушка, знать, какую это думу мудреную думает Глупов, что все словно молчит да на ус себе мотает, какие есть у него планы и соображения насчет глуповских разных дел. Вот и созвала Минерва верных своих глуповцев: «скажите, дескать, мне, какая это крепкая дума в вас засела?» Но глуповцы кланялись и потели; самый, что называется, горлан ихний хотел было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмелился, а только взопрел пуще прочих. «Скажите, что ж вы желали бы?» – настаивала Минерва и топнула даже ножкой от нетерпения. Но глуповцы продолжали кланяться и потеть. Тогда, бог весть откуда, раздался голос, который во всеуслышание произнес: «Лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмеялись тем нутряным смехом, которым должен смеяться Иванушко-дурачок, когда ему кукиш показывают. С тех пор и не тревожили глуповцев вопросами.

Глуповцы и доселе с умилением передают эти предания как в назидание юному поколению, так и в удовлетворение любознательности исследователей-энтузиастов, которые и до сего часа не перестали веровать в возможность истории Глупова. Путешествующим археологам охотно показывают дом, в котором останавливался Юпитер, и комнату, в которой подписан был указ о наименовании города Глуповым. Скажу даже, что после гармоник и рассказов о невзгодах, которым подвергался губернаторский вицмундир на различных обедах и пирах, передача этих преданий составляет любимейшее занятие глуповцев. И при этом из внутренностей их излетает тот самый смех, которым смеялись достославные их предки во время переговоров с Минервою.

Охотники также глуповцы покалякать на досуге о разных губернаторах, которые держали в руках своих судьбы их сновидений. Были губернаторы добрые, были и злецы; только глупых не было – потому что начальники! Был Селезнев губернатор; этот, как дорвался до Глупова, первым делом уткнулся в подушку, да три года и проспал.

– Так сонного, сударь, и сменили! – прибавляет от себя убеленный сединами глуповец-старожил.

А то был губернатор Воинов, который в полгода чуть вверх дном Глупова не поставил; позвал, это, пред лицо свое глуповцев, да как затопчет на них: «Только пикните у меня, говорит, всех прав состояния лишу, на каторгу всех разошлю!»

– А мы, сударь, и не пикали совсем, – прибавляет от себя тот же убеленный сединами рассказчик.

– Однако не что взял, умаялся! – замечает другой обыватель и, позевывая, удаляется на печку спать.

Достославный Селезнев! и до сих пор в глазах глуповцев не иссякает источник благодарных слез при воспоминании о тебе! То-то было времечко! то-то были хrap и сопение великое! Еще недавно собирались глуповцы около колокольни (той самой, где съедена крысами история Глупова) потолковать о том, не следует ли монумент воздвигнуть для увековечения твоего имени, но толковать не осмелились и, помахавши руками, разошлись по домам.

Рассказывают еще о губернаторе рыжем, в котором только и имелось замечательного, что был он рыжий, и глуповцы пугали им детей своих, говоря: «Погоди вот! ужо рыжий черт придет!»

Рассказывают еще о губернаторе сивом, о губернаторе карем, о губернаторе, красившем свои волосы, «да так, сударь, пречудеснейше, что все только ахали!»

– А помните ли, Иван Саввич, Кузьму Петровича Фютяева? Какая ихняя барыня

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
преотменная была? – говорит старожил Павел Трифонич.

– Уж такая-то преотменная, что, кажется, и не нажать нам другой такой! – отвечает Иван Саввич, – в те поры, как родился у меня Ванюшка, она сама его, покойница, посадила на ладоночку, да и говорит мне-ка: «Молодец, говорит, будет у тебя Ванюшка, торговец!» Такая была барыня предобрейшая!

И жадно внимает этим рассказам путешественник-археолог, жадно вписывает в записную свою книжку каждую крупницу, каждую мелкую срамоту и, возвратясь в Петербург, предаёт собранные материалы тиснению. Но тщетно пыжится археолог; тщетно надувается он в надежде, что пишет о глупцах для глуповцев же, которые, пожалуй, и не различат анекдотов от истории: истории Глупова все-таки нет как нет, потому что ее съели крысы!

В то счастливое время, когда я процветал в Глупове, губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым. Соберется, бывало, губернский синклит этот да учнет о судьбах глуповских толковать – даже мухи мрут от речей их, таково оно тошно!

– А что, Василий Иванович, – скажет губернатор управляющему палатой государственных имуществ, – нельзя ли черноглазовскому лесничему внушить, чтоб рябчиков для меня постреляли?

– Как изволите приказать, ваше превосходительство! – ответит управляющий.

– Н-да; повар у меня таперича манную кашу какую-то на рябчиковом бульоне выдумал: пропасть рябчиков выходит! – объяснит губернатор.

– А заметили, ваше превосходительство, какую вчера у Порфирия Петровича стерлядь за ужином подали? – молвит вице-губернатор и от удовольствия даже передернется весь.

Его превосходительство, вместо ответа, только улыбнется во весь рот, словно арбуз проглотить собирается.

– Это ему семиозерский казначей в презент прислал, – заметит прокурор и вздохнет потихоньку.

Подметив этот вздох, губернатор вновь улыбнется и ласково щелкнет прокурора по брюшку, а вице-губернатор, изловив на лету улыбку его превосходительства, загогочет, как жеребец, и скажет:

– А что! верно, стряпчие-то тово...

– Верно, стряпчие-то тово, – добродушно повторит губернатор и вслед за этим обратится к присутствующим, – а что, господа, бумаги-то, кажется, подписать можно? Господин секретарь, пожалуйста сюда бумаги!

И бумаги подписывались, а плешивый синклит удалялся в столовую, где были уж приготовлены и стерлядка копчененькая, и рыжички черноглазовские в уксусе, и груздочки соленькие, и колбаски разные: и с чесночком, и на мадерце, и рябчиковая, и на сливках...

Да хорошо еще, коли дело так обходилось. А не то, грехов наших ради, и взаправду начнут рассуждать об делах – вот когда заслушаться можно!

Секретарь докладывает, что на реке Малой Глуповице мост, от старости лет, опасен стал.

– Что же таперича делать? – говорит губернатор. – Я полагаю, господа, городничему написать?

И обводит присутствующих глазами, словно он и впрямь Мартына Задеку съел.

– Да, да, – гвоздит вице-губернатор, – да не мешает еще подтвердить, чтоб тово... наблюдаю...

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Стало быть, предписать и подтвердить, – изрекает губернатор.

– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, – некстати вмешивается секретарь.

– Извольте, сударь, писать, как присутствие полагает, – строго замечает губернатор и дает секретарю знак умолкнуть.

И не забудет, бывало, своего приказанья (злопамятный был старик!), и долго потом, всякий раз, как секретарь подсовывает ему журналы подписывать, непременно спросит:

– А это не тот ли, по которому присутствие положило предписать и подтвердить городничему?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Ну, то-то же! Что присутствие положило, то должно быть свято, молодой человек!

Мудрено ли, что глуповцы блаженствовали, видя над собой такое диковинное управление! Мудрено ли, что глуповцы земли под собой от счастья не слышали; мудрено ли, что они славословили и пели хвалу!

Да и общество-то какое было (само собой разумеется, я говорю здесь о высшем глуповском обществе) – именно такое, какое требуется в соответствие описанному выше управлению! Это именно было то общество «хороших людей», о которых сложилась мудрая русская пословица: «Сальных свечей не едят и стеклом не утираются!» Глупов и Глуповица, управляющие и управляемые – все это, взятое вместе, представляло такую сладостную картину гармонии, такое умильное позорище взаимных уступок, доброжелательства и услуг, что сердцу делалось больно и самый нос начинал ощущать как бы прилив благородных чувств.

Увы! тип «хороших» людей доброго старого времени исчезает и стирается с каждым днем, почти с каждой минутой! Увы! нынче даже отличные люди не едят сальных свечей!

И потому, опасаясь, чтоб тип этот не затерялся совсем, я постараюсь восстановить характеристические черты его, в назидание отдаленному потомству.

Между «хорошими» людьми доброго старого времени (old merry Glouproff[123]) много было плутов, забулдыг и мерзавцев pur sang.[124] Почему они назывались «хорошими» людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы. Но, разбирая дело внимательно, полагаю, что это происходило оттого, что над упомянутыми выше качествами парило какое-то добродушие, какая-то атласистость сердечная, при существовании которых как-то неловко думать о вменяемости. Для объяснения прибегну к примерам. Бывало, «хороший» человек выпорот вплотную какого-нибудь фильку и вслед за тем скажет другому такому же «хорошему» человеку: «А пойдем-ко, брат, выпьем по маленькой». Разве это не добродушие? Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит возмездие в рождество) и вслед за этим воскликнет: «А не распить ли нам бутылочку холоденького?» Разве это не атласистость сердечная?

А коли есть добродушие, коли есть атласистость, стало быть, и говорить не об чем: chantons, buvons et... aimons![125] – и все тут!

Сообразно с этими наклонностями, «хорошие» люди и разговоры имели между собой самые простые, так сказать, первоначальные. Надо сказать правду, что «хороший» человек старого времени не имел обширных сведений в области наук. По части истории запас его познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский бился с немцем об заклад, что сотворит такую пакость, от которой у него, немца, глаза на лоб полезут, – и действительно сделал пакость на славу. По части географии он мог утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где он в настоящее время играет в карты и закусывает, рос некогда непроходимый лес и что недавно еще уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бивал из ружья во множестве дупелей и бекасов. Юридическое образование его ограничивалось: по части прав состояния – отсылкою грубиянов на конюшню; по части гражданского права – выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
И между тем жили, пили, ели, женились и посягали, славословили, занимали начальственные места и пользовались покровительством законов наравне с людьми, которым небезызвестно даже о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами.

«Хороший» человек имел привычки патриархальные. Обедал рано и в послеобеденное время любил посвятить часок-другой гастрическим сновидениям, сопровождая это занятие аккомпанементом всевозможных шипящих звуков, которыми так изобилуют преисподние глуповских желудков. По исполнении этого он, по крайней мере в продолжение двух часов, не мог прийти в себя и вплоть до самого вечера чувствовал себя глупым. Тут выпивалось несчетное количество графинов холодного квасу; тут испускались такие страшные потяготы и позевоты, от которых содрогались на улице прохожие. «Господи! какая тоска!» – беспрестанно восклицал он, отплевываясь во все стороны, и в это время не суйся к нему на глаза никто: разобьет зубы!

«Хороший» человек имел слабость к женскому полу и взятых им в полон крепостных девиц называл «канарейками».

– Ну, брат, намеднись какую мне канарейку из деревни прислали! – говорил он своему другу-приятелю, – просто персик!

И при этом причмокивал, обонял и облизывался.

В обращении с «канарейками» он не затруднялся никакими соображениями. Будучи того убеждения, что канарейка есть птица, созданная на утеху человеку, он действовал вполне соответственно этому убеждению, то есть заставлял их петь и плясать, приказывал им любить себя и никаких против этого возражений не принимал. Если же со временем канарейка ему прискучивала, то он ссылал ее на скотный двор или выдавал замуж за камердинера и всенепременно присутствовал на свадьбе в качестве посаженого отца.

«Хороший» человек в непривычном ему обществе терялся. В гостиной, в особенности в присутствии женщин, он был застенчив, как фиалка, и неразговорчив, как пустынножитель. В таких тесных обстоятельствах он с мучительным беспокойством поглядывал на дверь, ведущую в кабинет хозяина, где, как ему известно, давным-давно поставлена водка и разложен зеленый стол, и пользовался первым удобным случаем, чтоб бочком-бочком проскользнуть в обетованную дверь. Вообще, он любил натянуться дома, в халате, с добрыми знакомыми, и называл это жуировать жизнью; в публику же показывался редко, и то в клубах, и притом лишь тогда, когда ему было известно, что там соберутся такие же теплые други-приятели, как и он сам. Напившись, наевшись и досыта наигравшись в карты, он, ложась на ночь спать, с легким сердцем восклицал: «Вот, слава богу, я наелся, напился и наигрался!»

В это хорошее старое время, когда собирались где-либо «хорошие» люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

– А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? – говорил один «хороший» человек другому.

– Помилуйте... – отвечал другой «хороший» человек, нравом помирнее.

– Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачем ты на меня смотришь? – настаивал первый «хороший» человек.

– Да помилуйте-с,

...Бац в рыло!..

– Да плюй же, плюй ему прямо в лохань! (так в просторечии назывались лица «хороших» людей!) – вмешивался случавшийся тут третий «хороший» человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время которого глазам сражающихся, и вдруг, и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные...

«Хороший» человек был патриот по преимуществу. Он зарождался, жил и умирал в

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru своем милом Глупове. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот; об них одних болело его сердце; к ним одним стремились его вождения, и никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех, которыми окружено было его счастливое детство. Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что хорошие люди могут зарождаться в Москве, в Рязани, в Тамбове и, разумеется, в Глупове; но в Петербурге, по его мнению, могут существовать только выморозки, не имеющие ни малейшего понятия о том, что за блаженство есть буженину, когда она изжарена в соку и притом легонько натерта чесноком...

Повторяю: тип «хорошего» человека исчезает, и вместе с тем исчезает и глуповское добродушие, и глуповская сердечная атласистость. Фильку наказывают по-прежнему, но уже без прибауток; передергивают в карты по-прежнему, но, получая возмездие в рождество, уже протестуют и притворяются оскорбленными.

Но мы, которые были свидетелями и этого добродушия, и этой атласистости, мы, молодые люди прежнего времени, мы не можем быть равнодушными к нашим воспоминаниям. Мы должны хранить их во всей непорочности, мы должны оберегать их от всякого нечистого прикосновения! Боже! как было тогда все тепло и уютно! как любили и уважали мы этих доблестных руководителей нашей юности! и как, с другой стороны, и они радовались и утешались, взирая на нас!

Да и посудите сами, можно ли было не радоваться на нас, тогдашних молодых людей. Возьмите, например, Сеню Бирюкова: что это за прелесть молодой человек был! Во-первых, наружность чисто английская: плечи широкие, щеки румяные, голова выстрижена, даже сзади ящичком – все как следует джентльмену. А во-вторых, и занятия – то у него какие благородные: утром, до двенадцати часов, ногти чистит, от двенадцати до трех визиты делает, от трех до четырех рубашку переменяет, потом едет обедать к Матрене Ивановне, оттуда, *dans l'avant-soirée*, [126] к Петьке Козелкову, потом опять рубашку меняет, потом, вечером, к губернатору... И везде – то, во всяком – то доме умеет что-нибудь почтительное сделать: у Матрены Ивановны ручку поцелует; Петру Петровичу сообщит, что к купцу Загребину в лавку новых сельдей привезли; Палагею Александровну поблагодарит, от имени маменьки, за присланный рецепт, как солонину делать... Или опять Свербилло-Замбржецкий Болеслав – что это за необыкновенный малый был! И уклончив, и как будто самостоятелен, и в душу лезет, и как будто кукиш в кармане кажет! Или Бернард Форбрихер, или Петька Козелков! Да, наконец, и сам я... какой я был тогда милый человек! Бывало, что-нибудь и совру, так все такое выходило милое, что у старушки Матрены Ивановны даже брюшко от моих слов пощекочет, и вся она просияет, а меня, грешного, только за ушко легонько потянет...

Удивительно ли после этого, что дела шли без задоринки. Иногда вмешивались в них Матрена Ивановна и Палагея Александровна, но они хлопотали не о мосте через реку Глуповицу, а преимущественно о том, как бы подрадеть родному человечку.

– Матрена Ивановна просила напомнить вашему превосходительству о месте станового для Зонтикова, – докладывает, бывало, Сеня Бирюков.

– Это для усача – то? – спрашивает его превосходительство.

– Да с, вот что вчера вашему превосходительству прошение подал.

– Быть так... определяем! – говорит его превосходительство и потом, уставив глаза в Сеню, повторяет: – Во уважение просьбы Матрены Ивановны, определяем усача в становые!

И таким образом были у нас становые – усачи, становые – бакенбардисты, становые с бородавкой, становые шестипалые. Старик наш фамилий не помнил, и когда, бывало, докладываешь ему о ком-нибудь из становых, он непременно спросит:

– Это который?

– С бородавкой, ваше превосходительство.

– А! с бородавкой!

И затем уж понимает, о ком идет речь.

Хотя мы сами и урожденные глуповцы, но глуповцы, так сказать, отборные,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru всплывшие на поверхность нашего родного горшка. О том, что происходило там, в глубине горшка, мы не тужили; мы знали, что там живут Иванушки (Иванушки, да еще глуповские – поди, раскуси такую штуку!), что Иванушками этими заправляют бакенбардисты и шестипалые, а бакенбардистов и шестипалых определяет Матрена Ивановна, у которой отменно приготавливают пироги с налимьими печенками, и Палагея Александровна, у которой после обеда такой *liqueur des îles*[127] подают, вкусивши которого остается только убираться поскорей восвояси да часика три соснуть.

Затем жизнь наша была постоянным праздником: мы пили, ели, спали, играли в карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной Бабе-яге, припевали: «Покатаюся, повалеюся на Иванушкиных косточках, Иванушкина мясца поевши!»

.

И ведь нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости господи, кобелю борзому заговорить о возрождении! А заговорил! именно заговорил! и не отсох у него язык, и не провалился он сквозь землю, и не пожрал его огонь, и не лопнули его глазыньки!

Глупов, еще загодя, бледнел и трясся при этом слове, и все про себя шептал: «Господи! ах, кабы да мимо!» Еще загодя, при малейшем шорохе, он махал онучами и шугал, как шугает баба-птичница, завидев в небе коршуна, кружащегося над всполошившимся стадом вверенных ей цыплят. «Чем наша жизнь не красна? – говорил он потихоньку, – или пуховики у нас не толсты? или ватрушки наши не сдобны?»

– Старики-то, старики-то наши разве хуже нас были? – шептал обыватель Сила Терентьич на ухо обывателю Терентью Силычу.

– На могилку, видно, уж к ним сходить! – грустно отвечивал Терентий Силыч.

– Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!

– Родителей-то жалко, Сила Терентьич!

– Старики-то наши во какие были!

– Кряжистые были!

– И возможно ли теперича все порядки нарушать! Чтоб господин теперича у стула с тарелкой стоял, а раб за столом развалившись сидел? Или опять, чтоб купец исправника в морду бил, а исправник ему за это барашка в бумажке сулил?

– Праховое дело затеяли!

– Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривышные. Проторили себе дорогу одну, ин и ходить бы по ней до скончания!

– Это точно, что непривышные!

– У меня вон воронко: привык на пристяжке ходить, ну, и сам бес его теперича в оглобли не втащит... Так-то!

– Оно пожалуй, что втащить можно! – говорит Терентий Силыч, задумчиво улыбаясь.

– Оно конечно, коли захочу втащить, отчего не втащить! – соглашается Сила Терентьич.

– Можно втащить! – положительно утверждает собеседник.

– Отчего не втащить! Втащим!

– Да ведь отцы-то наши... пойми, друг!

– Это точно, что отцы наши во какие были!

– Кряжистые были!

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru И затем в продолжение целых часов разговор развивался на ту же тему и наконец доходил до такого умоисступления, что кроме «ах ты господи!» да «во какие!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобные беседы совещаниями, а некоторые из них, прислушавшись к речам Силы Терентьича и Терентья Сильча, называли их даже бунтовскими и, подмигивая друг другу, приговаривали: «А? каково? каково катают наши-то! Вот бы кого министром сделать – Силу Терентьича... да!»

Одним словом, мы так безмятежно были счастливы, так детски невинны и доверчивы, что предшествовавшее слову «возрождение» время, несмотря на соединенные с ним тревоги и ожидания, все-таки ничего не вызвало на поверхность. Подойдите к луже, взбудоражьте чем ни на есть ее спящие воды – на поверхности их покажутся пузыри. В Глупове и пузырярей не показалось.

Указывают мне на Силу Терентьича, как на несомненный пузырь, но, ради бога, какой же это пузырь? Я охотно соглашаюсь, что местный либерализм достиг в нем высшего своего выражения; я соглашаюсь, что ссылка на стариков и их кряжистость есть довольно смелая, в своем роде, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня этого недостаточно, чтоб признать его действительным пузырем.

Истинный, благородный пузырь лопается во всеулышание, лопается публично, лопается, невзирая ни на какие особы. Напротив того, Сила Терентьич лопался и проявлял свой либерализм лишь под воротами своего дома и притом в такое, по преимуществу, время, когда прочие глуповцы исключительно были поглощены игрою на гармонике.

Истинный пузырь никогда не появляется на поверхности одиноким, но всегда приводит за собой целую семью маленьких пузырярей и пузырят, которые тянут к нему и ищут с ним слиться. Напротив того, куда бы ни обратил свои взоры Сила Терентьич, везде он встречает пустыню. Добрые глуповцы если и слышали и подозревали что-нибудь, то старались не слышать и не подозревать, и, при всем сочувствии к нему, потупляли взоры при встрече с ним, чтоб, боже сохрани, не попасть в историю с таким болтуном.

Наконец, истинный пузырь не терпит никакого внешнего давления. Ткните в него пальцем – и его уже нет. Качество это, по мнению моему, свидетельствует о благородстве свойств пузыря, который скорее соглашается не существовать вовсе, нежели нести на себе иго тыкающего пальца. Напротив того, Сила Терентьич продолжает благоденствовать и доселе, несмотря на то что обстоятельства и время сильно ткнули в него пальцем. Он продолжает бормотать под воротами, хотя бормотание его запоздало и не может ни на волос изменить силу тыкающих обстоятельств.

Скажите же на милость, какой это пузырь?

Да; ты осталась верна самой себе; ты никого, ни единой личности не вынесла на поверхность волн своих, кормилица-поилица Глуповица! По-прежнему вяло и неуклюже лезут эти волны одна на другую, по-прежнему на поверхности их белеют щепки да какая-то дрянная, нечистая накипь... Правда, что, по временам, глуповцы словно шарахаются из стороны в сторону, но над шараханьем этим всецело царит чувство тупого испуга, и ничего более.

Как ни пристально вглядывался я в причины, ход и последствия этих чисто физических движений, как ни жадно доискивалась душа моя во мраке глуповской жизни, в преисподних глуповского созерцания того примиряющего звена, которое в истории является посредником между прошедшим и будущим, – тщетны были мои усилия! «Испуг!» – говорили мне отекие, бесстрастные лица моих сограждан; «испуг!» – говорили мне их нескладные, отрывистые речи; «испуг!» – говорило мне их торопливое, не осмысленное сознанием стремление сбиться в кучу, чтоб поваднее было шарахаться... Испуг, испуг и испуг! Взирая на весь этот переполох, я невольно вспомнил устные предания, которые ходили в Глупове по рукам. Вспомнился мне и громовержец Юпитер, и переговоры с матушкой Минервой... И вдруг я понял и прошлое, и настоящее моего родного города... Господи! мне кажется, что я понял даже его будущее!

О вы, которые еще верите в возможность истории Глупова, скажите мне: возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Жизнь веков! ты, которая была столь обильна дарами для умновцев, ты, которая, подобно нестомчивой и ревнивой матери, заботливо ведешь народы по пути усовершенствования, охраняя их и от падения, и от поворотов назад, – чем была ты для Глупова? Ты не была даже мачехой, не была даже нянькой; стыдно сказать, но ты была чем-то вроде жалкого обеда за скучным табльдотом. «Зачем пичкают меня этим гнусным вареным картофелем? зачем не дают мне рябчиков?» – спрашиваю я, чувствуя, что злость закипает в моем сердце. А мне, вместо рябчиков, вновь подают картофель, и нет конца этому гнусному картофелю!

Возрождение! бесспорно, ты хорошая вещь, бесспорно, я влекусь к тебе всем сердцем, всеми силами души моей; но где же, в каком отдаленном Умнове, видано, чтоб ты подавалось в виде манной каши с маслом изумленным твоим появлением посетителям обязательного табльдота?!

Но, делать нечего, картофель или рябчики, каша ли с маслом или желе, а приходится втаскивать воронка в оглобли! Сомнения Силы Терентьича больше чем оправдались. Я сам видел, как выводили воронка из конюшни, как его исподволь подводили к оглоблям, как держали его под уздцы, все в чаянии, что вот-вот он брыкнет. Не брыкнул. Старый воронко! я видел, как прошибла тебя слеза, я видел, как дрожали твои мясистые губы, я слышал твой вздох, которым, казалось, ты умолял своих вожаков не впрягать тебя в корню, ибо это место принадлежит не тебе, а гнедкуну! Но ты не изменил обычаям праотцев, ты не искажил одним махом задних копыт истории Глупова, ты не брыкнул – хвалю тебя!

Свершилось: отныне Глупов обязывается есть манную кашу с маслом. Но не подавись ею, милый! ибо кашу эту надо есть умеючи. Умой руки, выполоскай рот и седи вежливенько, ибо каша вещь хитрая: может и в рот попасть, может и глаза залепить.

Дурак Иванушко, чему смеешься?.. Или сердце в тебе взыграло?.. Пли пахнуло на тебя свежим воздухом?.. Или почуял ты, что пришел конец твоему гореваньицу, тому злему-лютому гореваньицу, что и к материнским сосцам с тобой припадало, что и в зыбке тебя укачивало, что и в песнях тебе подтягивало, что и в царев кабаке с тобой разгуляться похаживало?

Смейся, дурачок! Сам господин Зубатов отменно рад, что ты смеешься... В другое время он сказал бы тебе: «Чего, ска-а-тина, рот до ушей дерешь?» – ну, а теперь ничего, спешит даже поскорей домой, чтоб отрапортовать куда следует: засмеялся, дескать.

Зубатову хлопот полон рот. Он не призывал возрождения; по правде сказать, едва ли даже он желал его, хотя, в качестве обладателя и руководителя глуповских сновидений, и обязан был призывать и желать его.

– Ma chère![128] – не раз говаривал он супруге своей, – это возрождение – черт его знает, что это такое!

– Pourvu que tu conserves ta place, mon ami![129] – ответствовала обыкновенно Анна Ивановна, которую, очевидно, интересовала в этом деле существенная сторона, а не вертопрашество.

И потому, как скоро Зубатов увидел, что все совершилось, то и он не брыкнул, и он поскорей побежал впрягаться в оглобли.

Что происходило в это время в душе его? Что понимал он под словом «возрождение»? – это известно единому богу всеведущему, ибо он один может проникать в трущобы сердец зубатовских. Глупов мог убедиться только в том, что Зубатов вскипел и взревновал бесконечно. Вследствие этой ревности самая наружность Глупова внезапно изменилась: на улицах засновали экипажи; в канцеляриях усиленно заскрипели перьями; из подворотен вылезли физиономии с усами и физиономии без усов, физиономии румяные и физиономии бледные; одни недоумевали и хлопали глазами, другие уже поняли и даже как будто приготовились насладиться плодами возрождения...

Что ж они поняли, и по какому поводу весь этот переполох, все эти шарахания из стороны в сторону?.. И что такое это «возрождение», от которого так усердно и так напрасно и отмаливались, и отплевывались добрые глуповцы?..

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
В самом деле, как определить, что может значить глуповское возрождение? Я допускаю возможность говорить о возрождении умновском, о возрождении буяновском, ибо там оно в чем-нибудь выражается... ну, хоть в том, например, что лица веселее смотрят, что ноги бодрее ходят... Но возрождение глуповское!.. воля ваша, тут есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовместимое, что мысль самая дерзкая невольно цепенеет перед дремучим величием этой задачи. Да помилуйте! Да осмотритесь же кругом себя! потяните же носом воздух! Ведь глуповцы даже полов в своих жилых покоях не вымыли! ведь глуповцы даже в баню лишнего раза не сходили! А без этого какое же может быть возрождение!

Посмотрим, однако ж, не знают ли чего-нибудь Сила Терентьич и Терентий Силыч? Они так долго чего-то боялись, так долго об чем-то между собой шушукались, что не может же стать, чтоб эта штука не была им досконально известна.

Увы! Сила Терентьич и Терентий Силыч только вздыхают и отдуваются. Сеня Бирюков взирает на них и, хоть убей, ничего не понимает. И не то чтоб они в самом деле не разумели; нет, и знают, и разумеют, да вот не хотят да и не хотят открыться! И рожу так состроят: «знаю, да не скажу» – и не говорят.

Мне положительно, например, известно, что Сила Терентьич подозревает, что все возрождение заключается в том, что на место Петра Иваныча сел Иван Петрович; однако ж предположения своего он высказать не решается, потому что, быть может, оно и не то значит. Терентий Силыч идет дальше: он мнит, что возрождение означает возможность грубить и невежничать; однако ж мысли своей тоже не высказывает, потому что опасается, чтоб кто-нибудь за нее его не треснул. Оба чего-то ждут, а чего – не говорят. А я знаю, чего они ждут; они ждут, не придет ли когда-нибудь кто-нибудь и не зарубит ли у них наносу, что именно следует разуметь под возрождением. Если придет – мысли их прояснятся; а не придет – ну, и опять будет по-прежнему: «знаю, да не скажу»!

Но это не политично. Допустим, что вы передо мной скрывались, допустим, что вы имеете даже свои причины на это; но зачем же скрываетесь вы перед Сеней, за что же его-то вы вводите в заблуждение? Ведь он и впрямь, бедняжка, думает, что возрождение – это новые серые штаны с лампасами, что возрождение – это пробор à l'anglaise, [130] что возрождение – c'est quelque chose de très porté et de très couru pour le moment. [131] Одним словом, он смотрит на возрождение как на что-то съедобное, как на что-то такое, что можно носить, мять, пачкать и вообще употреблять по своему произволу.

А ведь это заблуждение, даже очень опасное заблуждение, и Сеня, оставаясь при нем, может, по милости вашей, попасть в самый печальный просак.

Raisonnos. [132]

Серые штаны с лампасами сбивают Сеню с толку. Он так увлекается щегольством и шикарностью их покроя, он так поощрен ласковыми взглядами, обращаемыми на него по этому случаю Матреной Ивановной и Палагеей Александровной, что в роговой его накипи, которую он, в шутку, называет своей головой, рождается положительное убеждение, что на ком нет точно таких же штанов, тот уж и не человек. Убеждение это, очевидно, может повредить его отношениям к глуповскому возрождению. Ибо, спрашивая я вас, что будет, если Сеня, взирая на мир с точки зрения штанов, будет видеть в Глупове лишь пустыню, населенную зверьем, не имеющим никакого понятия ни о красоте лампасов, ни об изяществе полосок и клеток? Из этого выйдет, что глуповцы будут казаться ему чем-то вроде низших организмов, а отсюда...

Положим, что глуповцы не обидятся (натерпелись они, бедные, и не таких потасовок!), но согласитесь сами, что ж это будет за возрождение! Щелк да щелк – разве это резон? «Он щелкнул в зубы, но почему же не в нос?» – спросит оскорбленный глуповец.

У глуповца зубы болят, а нос – слава богу; следовательно, ему выгоднее, чтоб его в нос щелкали. Ведь это несправедливость, которую не потерпит даже Зубатов! Но вопрос усложняется, если глуповцы обидятся; а ведь и это может случиться, благодаря тому же возрождению. Что может тогда выйти? Увы! я опасаясь, что тут также выйдет... но только с другой стороны...

Итак, скрывать от Сени истинный, глуповский смысл возрождения противно его

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru интересам, противно его репутации. Не лучше ли прямо объявить ему, что бывают в жизни минуты, когда сила обстоятельств заставляет нас, людей хорошего тона, забывать о штанах с лампасами и утирать нос ногою? Не лучше ли объяснить ему, что не мешает иногда и в зипун принарядиться, не взаправду, конечно, а так... для внушения в глуповцах доверия? Не лучше ли сказать ему: «Сеня! сделай это, мой друг, и надуй почтенную публику!»

Люди, понявшие характер и сущность глуповского возрождения, именно так и поступают. С этой стороны Сила Терентьич прав совершенно: Петр Иванович сел на место Ивана Петровича – и больше ничего не случилось.

Старые «хорошие» люди исчезают – это верно. Словно персидский порошок бог весть откуда на них посыпался; но каждая новая минута есть вместе с тем и минута смерти для кого-нибудь из глуповских Гостомыслов. Гостомыслы умирают беспрекословно, скрестивши на груди руки и облачившись в свои лучшие глуповские одежды. Как некогда умирающий Трифоньич алкал предстать пред лицо божие тем же дворовым господина Чертопханова человеком, каким состоял в земной сей юдоли, так и ныне умирающие глуповцы выказывают твердое намерение и в загробной жизни воспрянуть старыми, непреклонными глуповцами, недоступными ни резонам, ни соображениям. В этом есть нечто древне-скандинавское, в этом есть нечто новейше-ирокезское.

Но место старых глуповцев не могло быть не занято уже по тому одному, что «место свято пусто не будет», а наконец, и потому, что «было бы болото, а черти будут». Вместо прежних «хороших» людей должны были явиться новые «хорошие» люди – и они явились.

Они явились – и мы были ослеплены их сиянием; они явились – и глуповские дамы всем собором объявили, что никогда еще глуповская жизнь не была так сладостна, никогда еще не представляла она столько *pittoresque* и *imprévu*. [133] Бойко и ходко накинута эти новые Рюриковичи на тучно удобренную глуповскую землю, и глуповская земля не выдержала: из груди ее вырвался тяжкий и болезненный стон. Казалось, все «родители» разом запротестовали из могил своих...

Нынешний «хороший» человек в наружном отношении представляет совершенную противоположность «хорошему» человеку доброго старого времени. Последний был неряшлив и неумыт, частенько даже несло от него словно морскими травами; первый, напротив того, безукоризнен и чист, как кристалл. Последний был невежествен и груб; первый, напротив того, утончен и образован. Голова последнего положительным образом представляла собой плотную роговую накипь, сквозь которую трудно было даже с молотком пробраться; голова первого, напротив того, на свет прозрачна, а при малейшем щелчке звенит, как серебро.

Нынешний «хороший» человек в карты ни-ни, историй с рылами, микитками и подсазками удаляется, *buvons* [134] употребляет лишь благородным манером, то есть душит шампанское и презирает очищенную, и только к *aïmons* [135] обнаруживает прежнее ехидное пристрастие. Зато прям как аршин, поджар как борзая собака, высокомерен как семинарист, дерзок как губернаторский камердинер и загадочен как тот хвойный лес, который от истоков рек Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитого океана.

Нынешний «хороший» человек не наедается за обедом до отвала и не падает, после гречневой каши, от изнеможения сил. Он обедает вообще умеренно (хотя и на чужой счет), и послеобеденное время любит посвятить разумной беседе с приятелями о прекрасном устройстве Оксфордского университета, о воскресных забавах англичан, о рыбном обеде английских министров и о других достопримечательностях, в которых старые глуповцы ни уха, ни рыла не смыслили. Он очень мило говорит об *self-government* [136] и даже находит *qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci*, [137] но в то же время не может не поставить на вид, что большие континентальные государства едва ли, без опасения за свою самостоятельность, могут принять формы самоуправления.

Нынешний «хороший» человек в делах любви избегает солнечного света. Он развратничает по углам и всему на свете предпочитает так называемые благородные интриги. Он любит, чтоб его называли Жоржем, а не Егорушкой, Мишелем, а не Мишуточкой, и *pour rien au monde* [138] не согласится любить женщину, которая носит рубашки из посконного полотна.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Нынешний «хороший» человек паче всего любит публичность и не затрудняется ни пред каким обществом. Он жаждет позировать неустанно, позировать наяву и во сне, позировать в гостиной и в чулане. Он всю свою изобретательность употребляет на то, чтоб подыскать себе публику, и, достигнув этого, охотно во всякое время выбрасывает перед нею накопившийся в затхлом архиве души хлам юродивства, прикрытого громкими именами бескорыстия, честности, гласности и т. д.

Нынешние «хорошие» люди, когда встречаются в обществе, не плюют друг другу в лохань, но ведут меж собой скромную и даже отчасти ученую беседу.

– А что, *mon cher*, [139] читали вы в «Русском вестнике» последнее политическое обозрение?.. *délicieux!* [140] – говорит один «хороший» человек другому.

– А я, с своей стороны, рекомендую вам, *mon cher*, «Письмо из Турина»... *charmant!* [141] – отвечает другой «хороший» человек.

Таким манером все обходится тихо, сражающихся не бывает, и даже светил небесных никто не видит.

Хотя уроженец Глупова, нынешний «хороший» человек относится к своей родине с холодностью и даже с некоторым высокомерием. Конечно, глуповские дамы... *oh! les dames de Glouppoff sont délicieuses, il n'y a rien à dire!* [142] но зато *le reste...* [143] фи!.. К Глупову он привязан горькою необходимостью возрождения; в Глупов он явился для исправления диких нравов и показания своей благонамеренности, но мысль, но сердце его не здесь, а там, в том милом, вечно юном Петербурге, где живут его добрые начальники, где он целовал ручки у светлорудой *Florence*, через которую и получил место в Глупове!.. Глупов – это *anima vilis*, над которою ему предоставлено провидением делать какие угодно операции; Петербург – это *alma mater*, [144] к которой он привязан незримо, но прочною, несокрушимой пуповиной. В благоговении своем перед Петербургом он возвышается до фанатизма, он делается ужасен...

Тот, кто внимательно прочитал изложенное выше определение «хорошего» человека доброго старого времени и сравнит его с определением нынешнего «хорошего» человека, тот согласится, что между ними огромная разница. Одно меня несколько беспокоит, а именно то, что Матрена Ивановна не только не смущается появлением новых «хороших» людей, но даже начинает исподволь похваливать их. А она в этом деле знаток.

В «хорошем» человеке прежнего времени был *air fixe* какой-то, какая-то непосредственность девственная, нечто вроде запаха дикой фиалки, смешанного с запахом вареной капусты. В нынешнем «хорошем» человеке... ба! да нет ли и в нем этого *air fixe*? и не это ли драгоценное качество, цепко поднюханное тонким обонянием Матрены Ивановны, послужило основой ее благосклонности к новым людям?

Но прежде нежели отвечать на эти вопросы, займемся некоторыми необходимыми исследованиями.

Во-первых, что такое *air fixe*? есть ли это запах в собственном и тесном смысле этого слова? есть ли это другая какая-либо внешняя, чисто физическая особенность? или это есть особенность высшая, психологическая, особенность души и сердца?

Рассказывают о каком-то животном, что оно, будучи настигаемо охотником, как последнее средство обороны испускает из себя такой с ног сбивающий запах, который сразу ошеломляет охотника самого привычного. Очевидно, что в этом примере запах составляет истинный, неподдельный *air fixe* животного, что без него существование последнего было бы не обеспечено и самые средства обороны мнимы. Но очевидно также, что такое определение слишком тесно, чтоб исчерпывать собой весь *air fixe* глуповский. Нельзя отрицать, что истинный глуповский абориген не лишен своего собственного запаха; несомненно также, что если в комнату, наполненную умновцами, войдет глуповец, то я сейчас же почувствую это; но несомненно и то, что запах этот, как бы он ни был пронзителен, не составляет еще всего глуповца и что он, с помощью некоторых усилий и обветривания, может быть не только видоизменяем, но даже и вовсе уничтожаем.

Глуповец, как и всякий другой представитель породы человеческой, есть организм сложный и притом доступный совершенствованию... Он пахнет, но вместе с тем ощущает

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и даже других заставляет ощущать; он пахнет, но вместе с тем он... мыслит. Если бы его настигал охотник, я не ручаюсь, чтоб он совершенно пренебрег столь сильным оружием, как запах; но ручаюсь, что он прибежит и к другим средствам, находящимся в его распоряжении. Например, он может стать перед охотником на колени и сказать ему: «За что ты меня бить хочешь?»; или спрятаться от охотника за дерево, или, наконец, принять побои беспрекословно... Возьмем и еще пример. Идет глуповец по дороге и доходит до распутия. Одна дорога идет прямо, другая идет направо, третья налево; точь-в-точь как в сказках сказывается. Я и опять не ручаюсь, чтоб в этом затруднительном случае глуповец пренебрег запахом, но несомненно, что он пустит в ход и другие соображения. Например, он может зажмурить глаза и погадать с помощью указательных пальцев или закинуть на все три дороги по палке: которая дальше кинется, ту и считать звездой путеводной, и т. д. Это тем более для него удобно, что он сам хорошенько не знает, куда идет. Согласитесь, однако ж, что все это предполагает в глуповце возможность выбора, возможность делать сравнения и выводы, и следовательно, рекомендует его вниманию исследователя, как организм сложный и высший. Это первое. А второе важное преимущество состоит в доступности глуповца к совершенствованию. Чтоб убедиться в этом, не надо даже прибегать к таким избитым сравнениям, каково, например, постепенное усовершенствование различных пород домашних животных. Да сравнение это будет и неверно, потому, во-первых, что глуповец совершенствуется в диком, а не в домашнем состоянии, а во-вторых, самое совершенствование его состоит отнюдь не в увеличении его молочности, но в укреплении его мышц до той степени благонадежности, которая обеспечивала бы дальнейшее продолжение глуповской породы. Для этого достаточно вспомнить только о той пользе, которую принесли Глупову сначала эмигранты французские и потом оборванные остатки de la grande armée, [145] и о той, которую до наших дней приносят французы-губернеры, французы-куафёры, французы-камердинеры. Посмотрите, какие вдруг чистенькие и беленькие детки пошли у Матрены Ивановны взамен прежних чумазых и слюнявых. А отчего?.. Оттого, что в доме ее француз-губернер поселился... Итак, не подлежит спору, что глуповцы действительно доступны совершенствованию и что запах их посредством постепенных проветриваний может быть изменен до того, что не будет составлять даже отличительного признака... Следовательно, истинный, неподдельный air fixe может свободно существовать и помимо запаха фиалки, смешанного с запахом вареной капусты...

Но, может быть, он заключается в какой-нибудь другой внешней особенности, как, например, в способности огрызаться, лягаться и т. д. Сознаюсь, что я действительно знал некоего барбоса, который не только целый день, но и целую ночь лаял и огрызался, лаял на все и на всех, лаял на луну и на звезды, лаял на свой собственный хвост. С другой стороны, я знал некоторого пегашку, который не мог утерпеть, чтоб не брыкнуть, как только показывали ему хомут. Очевидно, в этом заключался air fixe барбоски и пегашки. Но я не могу согласиться, чтоб в этом же заключался и air fixe моих сограждан, и даже с негодованием отвергаю это предположение. Я знаю наверно, что глуповец никогда и ни на кого не огрызался, что даже в то время, когда его привязывали на цепь, он влезал в конуру и спокойно зарывался себе в солому, в надежде, что когда-нибудь да отвяжут же, а не отвяжут, так и на цепи накормят. Что же касается до ляганья, то очевидно, что, имея две ноги, а не четыре, глуповец может прибегать к этому средству выражения душевных своих движений лишь с крайнею осторожностью. И в самом деле, история доказывает, что глуповец расточал пинки, сокрушал челюсти, превращал в пепел зубы, но не лягался; что он обзывал непотребно, но не огрызался... «Так, стало быть, в этом-то и заключался глуповский air fixe?» – спросит читатель. Нет, и не в этом, потому что и эти качества, несмотря на свою солидность, тоже доступны совершенствованию, потому что не одно и то же дать плюху с маху, и притом с таким расчетом, чтоб треск от удара разнесся из одного края Глупова в другой, и дать плюху легкую, плюху либеральную, почти изящную, звуки которой не распространялись бы далее четырех стен комнаты. Можно даже до такой степени усовершенствовать себя, что и вовсе не давать плюх... и все-таки оставаться глуповцем... Ибо повторяю: сокрушение челюстей, как оно ни фундаментально кажется с первого взгляда, все-таки представляет только манеру и ни в каком случае не исчерпывает всего глуповца. Ибо глуповец не только дерется, но и мыслит...

Следовательно, для определения глуповского air fixe нужно обратиться к данным, не столь легко подчиняющимся внешнему натиску, к данным, составляющим, так сказать, подоплеку глуповской жизни, – одним словом, обратиться к глуповскому мирозерцанию.

– Какого вы образа мыслей? – спросил я однажды доброго моего соседа, флора

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Лаврентьича Ржаницева.

Флор Лаврентьич выпучил на меня глаза.

– То есть как это... образа мыслей? – пробормотал он наконец вместо ответа.

– Ну да, какого вы образа мыслей? – настаивал я.

Флор Лаврентьич с минуту подумал и вдруг разразился самым добродушным хохотом.

– Ах ты проказник! – говорил он, держа себя за бока.

Он вообразил, что я сказал остроту.

В этом коротеньком разговоре, несмотря на кажущуюся его незначительность, заключается вся сущность глуповского мирозерцания. Мирозерцание это состоит в отсутствии всякого мирозерцания. Нет мерил для оценки явлений, нет мерил для распознавания не только добра от зла, но и стола от оврага. В глазах глуповца мир представляется чем-то разрозненным, расплывшимся, чем-то вроде мешка, в который понапихали разнообразнейшей всячины и потом взболтали. Глуповец видит забор и думает о заборе, видит реку и думает о реке, а о заборе забыл. Это для него легко и удобно, потому что дает ему возможность целую жизнь забавляться игрою в бирюльки, вытаскивать которые он великий мастер. Конкретность внешнего мира подавляет его, и оттого он не может ни изобрести порох, ни открыть Америку.

Нельзя себе представить ничего довольнее и любезнее глуповца, когда он сыт, одет и пьян. Но зато нельзя себе представить ничего и несчастнее глуповца, когда он застигнут нуждою врасплох. Траву щипать он не может, без водки обойтись – не хочет, без одежды ходить – холодно. Тогда-то, в эти торжественные минуты, является ему на помощь то скромное мужество, которое для многих послужило источником обильных глуповских надежд и глуповских реклам к будущему. Мужество это заключается в той покорности, с которой он принимает смерть, этот венец глуповской жизни, этот роковой исход, к которому прибегает глуповец в затруднительных обстоятельствах (когда проиграет казенные деньги или уволят его по третьему пункту). «Умру, но беспокоить себя не хочу!»

Спроси я у всякого порядочного русского, спроси у француза, у итальянца, какого он образа мыслей, они не поглупеют внезапно и повсеместно, они не захохочут. Кроме супа и макарон, ожидающих их за обедом, у них имеются интересы общественные, затрогивающие их заживо и окрашивающие их убеждения. Но глуповцы вправе и хохотать и глупеть, потому что у них действительно нет образа мыслей, потому что они не в силах до сих пор столкнуться даже насчет моста через ручей «Дурий брод», который повалился назад тому десять лет и совершенно разобшил ядро города от его пригородков.

– Просто, братцы, бросовое дело! – говорят глуповцы, собравшись толпой около моста и махая руками.

– Дрянь дело, как есть! – подтверждают другие глуповцы.

– Ведь этак, пожалуй, в пять верст объезд надо делать? – мотают себе на ус первые глуповцы.

– Да ведь и ручей-то какой! самый, то есть, внимания не стоящий ручейшко! – вступаются другие глуповцы.

– Завалить бы его совсем!

– А и то завалить бы!

– А ну-ко, робята!

– А не то новый мост построить?

– Да такой еще, робята, мостище выстроим, чтоб черезо всю, значит, линия прошла.

И, потолковавши, расходятся по домам, как и в тот достопамятный день, когда был крик и махание великое по поводу монумента Селезневу.

Мне могут возразить, что ежели глуповцам нравится не иметь никакого образа мыслей, то они имеют полное право оставаться при своем убеждении, и никому до этого дела нет. Чувствую всю справедливость этого возражения, но согласиться с ним не могу. Я патриот, я люблю Глупов не за стерлядей его, а за то, что на дне родной его реки спит, как мне кажется, чудище рыба-кит. Я патриот и люблю Глупов не за безукоризненно здоровый его воздух, а за то, что в этом здоровом воздухе носится, словно мечта какая-то (по-глуповски, кисель), нечто как будто еще не определившееся, но уже предошущаемое и предосязаемое. Я патриот и желал бы, чтоб Глупов как можно скорей сказал свое слово, чтоб он немедленно же изобрел порох и открыл Америку. «Что-то скажет Глупов? Какого-то цвета порох он выдумает?» – твержу я и во сне и наяву, и убежден, что всякий, кто хотя раз в жизни испытал прилив патриотических чувств и начитался притом на ночь истории Глупова, конечно, поймет тревогу, меня волнующую.

А поводов опасаться, и даже весьма серьезных, предостаточно. Возьмем для примера хоть тот один, что приятели мои Прижимайлов и Постукин совершенно искренно исповедуют наивное убеждение, что с Глуповым, относительно мирозерцания, без понудительных мер ничего не поделаешь. В соответствие своим фамилиям, Прижимайлов думает, что Глупов поприжать надо, а Постукин мечтает, что все пойдет хорошо, когда он достаточно настучит Глупову голову.

Но, говоря по совести, я никак не могу согласиться с мнениями этих достойных преобразователей, хотя и отдаю должную справедливость их добрым намерениям. Во-первых, в настоящую минуту, как ни жми, а из Глупова положительно ничего не выжмешь. А во-вторых, я опасаюсь, чтоб, при неумеренном стучании в головы глуповцев, как бы нам с вами, мсье Постукин, совсем не застучать эти головы. Забить гвоздь в стену легко, мсье Постукин, но каково-то будет его потом вытаскивать? А может быть, вы думаете, что и вытаскивать совсем не надо? Однако ж что до меня, то я, с своей стороны, видел в жизни один только пример удачного стучания в голову, а именно: отставной подпоручик Живновский, с помощью этого процесса, выучил своего Прошку декламировать «Мистигрису» Беранже. Но и этот пример не убедителен, ибо прошкоподобно декламировать «Мистигрису» глуповцы умеют уж давно, а мне хотелось бы, чтоб они умели рассказывать эту милую песенку своими словами, чтоб они умели перелагать ее в прозу и украшать различными фестончиками своего собственного изобретения. Для этого, по мнению моему, необходимо, чтоб головы их были свободны от всякого внешнего подавливания и постукивания. Вы скажете, что из голов этих ничего, кроме монстра, не выйдет – согласен. На первый раз действительно выйдет монстр, какая-то смесь из письма сидельца к родным и счета мелочной лавочки, но по времени, и именно по мере постепенного ослабления пожимания и постукивания, монстр будет видоизменяться к лучшему и к лучшему, покуда, наконец, и впрямь заговорят глуповцы своими словами. Тогда вы и сами, *messieurs*, [146] увидите, что за милые дети эти глуповцы, как они скромно себя держат и как понятно излагают трогательную историю о Мистигресе. И вы дадите себе слово навсегда оставить скверную привычку жать и стучать.

Я не говорил бы так пространно о моих опасениях, если бы не вынуждали меня к тому сами глуповцы. Страннее всего, что они сами непритворно убеждены, что относительно их без постукивания и пожимания никак-таки обойтись невозможно. Мало того, что они убеждены в этом – они чувствуют страсть, они дуреют от любви к тому, кто стучит им в головы; они скучны, они унылы, если стучание почему-либо временно прекращается. Я уверен, однако ж, что это не больше как недоразумение. Вы заблуждаетесь, достойные мои сограждане, и заблуждаетесь оттого, что никто еще не пробовал употребить относительно вас систему поглаживания по головке, никто еще не пытался позволять вам, в награду за хорошее поведение, погулять после обеда и действовать на вас посредством лакомств. Поймите, что от вас совсем даже не так много требуется, как вы думаете; что никто не ожидает, чтоб вы непременно, не сходя с места, сделались умновцами, немедленно сказали новое слово и изобрели порох! От вас требуется только, чтоб вы оказали охоту и прилежание – и ничего больше! Порох и Америка придут впоследствии: они придут тогда, когда вы вытвердите азбуку и когда при этом не будет ни пожиманий, ни постукивания.

Но возобновим слишком давно прерванную нить размышлений наших.

Итак, мы сказали, что истинный глуповский *air fixe* заключается в глуповском мирозерцании, а истинное глуповское мирозерцание состоит в отсутствии какого

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru бы то ни было мирозерцания. Мы показали это наглядно, обозрев наш родной город, так сказать, à vol d'oiseau[147] и не вдаваясь в исторические изыскания, так как эта последняя задача еще до нас весьма удовлетворительно исполнена М. П. Погодиным. (Здесь, мимоходом, возникает весьма важный вопрос: труды ли Михаила Петровича сделали то, что Глупов кажется Глуповым, или Глупов сделал то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петр Великий создал Россию, или Россия создала Петра Великого?) Но, с другой стороны, нам могут заметить, что отсутствие мирозерцания есть такая же нелепость, как отсутствие масла в каше, как отсутствие дегтя в колесах мужицкой телеги. Подобно тому как каша без масла обдирает горло вкушающего, скажет мой возражатель, так и жизнь без мирозерцания должна всечасно обдирать мозги глуповцев, что, очевидно, невозможно, если принять в соображение продолжительность среднего термина глуповской жизни (от ста до ста двадцати лет, но вороны глуповские живут и долее).

Мне самому неоднократно приходило на мысль это возражение, и я всякий раз должен был внутренне соглашаться, что оно справедливо. В самом деле, как-таки прожить жизнь без мирозерцания не только целому и в своем роде знаменитому городу, но даже и отдельному человеку? Ведь таким образом на каждом шагу будешь стучаться лбом об стену, будешь попадать ногами в лужу и дойдешь, наконец, до такой неопрятности, которая не только в Глупове, но и в доме умалишенных терпима быть не может. Я думаю, сам Михаил Петрович должен был чувствовать это, стучаясь то об Ярослава, то о Мстислава, то об Ивана Берладника, и не нащупывая из них ни которого.

Итак, я обязан сознаться, что мирозерцание есть, но мирозерцание, пришедшее извне (как извне же приходят град и поветрия разные) и управляющее Глуповым наравне с прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постижению мирозерцание, которое дает себя чувствовать как продукт целого строя жизни, но мирозерцание внешнее, мирозерцание, которое можно ощущать, которое можно облобызывать, но на которое можно и наплевать; одним словом – мирозерцание вроде знаменитых правил: «Цветов не рвать, травы не мять, птиц и рыб не пугать».

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и приятно. Стоит только смиренно гулять по дорожке, и если обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, как, например, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пугает рыб), или ногами дрыгаешь (это наносит вред прозябанию трав), то можно и совсем в сад не ходить.

В доказательство, что все это нисколько не затруднительно и что человек, руководимый этими правилами, легко может остаться жив, флор Лаврентьич Ржаницев доставил мне выдержки из своего журнала, в котором он изо дня в день описывал все законные и непротивные правилам глуповского мирозерцания деяния свои.

Не могу не поделиться с читателями некоторыми из этих выдержек.

«2 ноября (1858 г.). Каждую ночь посещают меня видения, а днем мучусь предчувствиями. Ездил к Ивану Фомичу побеседовать о пустоши, называемой «Дунькино болото», и побранился. Вечером виден был огненный столп на небе.

9 ноября. По обыкновению, встал, умылся и помолился богу. Утром выбирали с Настасьей Петровной нового фореитора, вместо Андрюшки, который от старости стал сед и вырос безобразно. Однако, за душевную смуту, ни на ком остановиться не мог. Черт их знает, а в ихнем звании и законы природы как будто власти не имеют. Вот Андрюшке давно бы уж пора перестать расти, а он растет себе да растет как ни в чем не бывало. А говорят еще, что мало кормим! Во сне видел птицу.

11 ноября. Приезжал англичанин с фабрики; спрашивал, не соглашусь ли отпустить в работу девок, и цену за сие давал изрядную. Решились выбрать до десяти наилучших. Настасья Петровна, которая за все эти дни заметно дулась, после сего повеселела и заявила надежду, что у нее будет новая шляпа. Володин француз поздравил меня с выгодною сделкой, на что я ему ответил, что это совсем не сделка, а просто доброе дело. Но француз, не будучи достаточно знаком с особенностями национального духа (каждая нация имеет свой дух – это верно!), пожал лишь плечами. Володя расшалился и почти каждую минуту повторял: «На фабрику! на фабрику!»

15 ноября. По случаю разнесшихся слухов, размышлял о том, прилично ли было бы,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru если бы деревья и злаки одевались не зеленым, а красным цветом? Во сне опять видел птицу.

20 ноября. Все сие совершилось.

22 ноября. Был на гумне.. совсем не так молотят! Однако решился переносить с кротостью. Сбирали дворовых мальчишек для выбора фореитора, но решили, что мысль эту надобно оставить. На что храбра Настасья Петровна, но и та, взглянув на сие сборище, воскликнула: «Ах, друг мой! если ты хочешь, чтоб я была покойна, не вверяй мою жизнь этим разбойникам!»

29 ноября. Читал книгу, называемую «Русский вестник», от которой будто бы все произошло. В составлении книги большое участие принял Василий Александрович Кокорев, нашего уезда откупщик. Подписка принимается в Москве, в Армянском переулке.

25 декабря. Ездили в храм божий к обедне, но не шестерней, а четвериком, и парадных ливрей на лакеях не было (ныне, сказывают, их не лакеями, а служителями называть велено). После обедни, сверх чаяния, пришли люди поздравить с праздником. Настасья Петровна заметила в их лицах иронию; я же хотя и желал сказать им: «А что, братцы, скоро ли господами будете?» – однако воздержался. За обедом, по древнему обычаю, подавали буженину, натертую чесноком. Так как в сей день каждый глуповский помещик непременно ест буженину, то я полагаю, что в обычае сем есть нечто масонское. На сей раз буженина была отменная, и по этой причине я имел после обеда гастрическое сновидение.

1 января. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. Никаких мыслей, кроме тех препротивных, в голову не приходит, но и сих не можем свободно друг другу сообщать, ибо беспрестанно люди шныряют и вслушиваются, а выгнать их не имеем духа. Вследствие сего принужденного состояния душевного произошла скука, а вследствие скуки произошло то, что Настасья Петровна великое пристрастие к Володину французцу получила. Сегодня, отходя ко сну, внушал ей, что француз этот, быть может, в отечестве своем служительскую должность исправлял; но она в ответ лишь смеялась и в досаду мне повторяла, что зубы у него отменно белые»... И т. д. и т. д.

Прочитавши дневник этот, конечно, не удивисься ни смелости мыслей, ни глубине соображений, но все-таки подумаешь-подумаешь, да и скажешь: «Ничего! жить можно!»

Итак, мы добились-таки того, что можем с спокойною совестью воскликнуть: вот истинное глуповское мирозерцание! вот неподдельный глуповский *air fixe*! Посмотрим теперь, права ли была Матрена Ивановна, поднюхавшая этот *air fixe* и у новых «хороших» людей, которые засели в Глупове по поводу возрождения.

По моему мнению, вопрос в этом случае может быть поставлен следующим образом: есть ли в новоглуповцах что-нибудь свое, ими самими выработанное, или же они продолжают пробавляться тем самым мирозерцанием, которое и до них царило над Глуповым? Вносят ли они, кроме новых фраков и жилетов, кроме новых грациозных манер, какой-нибудь новый нравственный элемент в глуповскую жизнь, или же продолжают представлять собой неизменно верных отеческим преданиям сынов Глупова?..

Веря в пронизательность Матрены Ивановны, я заранее убежден, что решение этих вопросов несомненно должно состояться в ее пользу; но так как я вместе с тем обязан убедить в том же и читателя, который легко может быть подкуплен красивою внешностью обязательных поборников новоглуповского возрождения, то, делая нечего, будем сравнивать и рассуждать.

Мне говорят, что нынешний «хороший» человек ищет просветить свой ум познаниями, что он любознателен и уже не признает безусловной верности аксиомы, в силу которой жизнь являлась лишь рядом физических упражнений... И в доказательство, что это справедливо, мне приводят в пример мною же подмеченную фразу: «А вы читали, *top cher*, политическое обозрение?.. *charmant!*»

фраза действительно не дурна, но – увы! подобных ей я могу выбрать достаточно и из истории физических упражнений прежнего «хорошего» человека, ибо и он в свое время говаривал: «А какую мне нынче канарейку из деревни привезли... персик!»

Конечно, внешнее содержание обеих фраз совершенно различно; конечно, одна из них трактует о политическом обозрении, а другая о канарейках; но этим только и ограничивается различие... Все остальное, и притом самое важное, а именно внутреннее настроение говорящих и отношение их к предметам, о которых они говорят, и в том и в другом случае совершенно тождественны. И старый глуповец, и новый глуповец равно не имеют намерения выразить что-либо особенное, и тот и другой горят лишь нетерпением набить чем бы то ни было два-три досужих часа, которые, по заведенному обычаю, принято посвящать диалогам... В сущности, обе фразы имеют лишь смысл междометий, произносимых оконечностями языка, без всякого участия мыслящей силы.

Но выбор предмета, скажут мне; но почему же разговор не вертится по-прежнему на канарейках, а постепенно вторгается в область интересов, сфера которых уже значительно выше той, где самое видное место занимали запросы желудка и похоти? Ответ на это весьма прост: всякому возрасту, равно как и всякому времени, приличествует свой особенный разговор. И древние глуповцы никогда не позволяли себе говорить зимою: «Ах, как жарко сегодня! Мы целый день на погребе просидели!» – но говорили: «Ну уж и морозище нынче завернул! только и спасаемся, что на печку греться лазим!» Подобно сему, и новые глуповцы, сообразив, что статья о канарейках уж поистерлась, нашли необходимым заменить ее другою. Но какой именно будет сюжет этой другой статьи, но почему этим сюжетом будет именно рыбный обед английского министерства, а не светопреставление, а не чудо св. Макария – это устраивается независимо от воли глуповцев, это предопределяется отчасти слухами, долетающими из Умнова, отчасти присылаемыми оттуда же новейшими диалогами.

Повторяю: в таком спорном деле прежде всего необходимо разъяснить отношение говорящего к фразе. Разрешите мне, например, почему глуповцы так словообильно распространяются об рыбном обеде и так скупы на размышления о своих собственных делах? И какое отношение может иметь к его жизни эта историческая странность, утратившая смысл даже в месте своего рождения? Очевидно, что никакого; и я убежден, что глуповцы, болтая об этом обеде, должны ощущать ту самую головную боль, которую ощущают, по словам лондонского корреспондента «Русского вестника», и английские министры, объевшись вкусных маленьких рыбок, составляющих существенную принадлежность обеда.

Но, может быть, имеются какие-нибудь особенные и весьма секретные причины тому, что глуповцы так охотно беседуют о чужих делах и так упорно умалчивают о своих собственных? Согласен: может быть, и существуют такие причины; но согласитесь же и вы со мной, что, покуда они существуют, покуда слово будет представляться чем-то оторванным от жизни, чем-то существующим по себе и для себя, до тех пор не может быть и речи о каких-либо новых основах для жизни, до тех пор глуповцы останутся глуповцами. Скажу более: их ожидает на этом поприще новая и весьма существенная опасность, ибо, будучи поставлены, так сказать, в постоянное отлучение от своей собственной жизни, глуповцы могут утратить смысл ее, могут увлечься, могут принять средства за цель, полезную подготовку к делу за самое дело, и окончательно погрязнуть в бездне рыбных обедов... И тогда произойдет нечто странное: то, что в сущности составляет лишь негнусное препровождение времени, мало-помалу до того вьестся в глуповские нравы, что глуповцы сочтут себя вполне удовлетворенными и получат сладкое убеждение, что для них действительно не может быть более приятного занятия, как облизываться, внимая рассказам о рыбных обедах.

Матрена Ивановна очень хорошо постигла пустопорожний характер этих бесед глуповских.

– Пушай побалуют! – призналась она мне однажды, в минуту откровенности, – это, батюшка, еще лучше, потому что мысли у них разбивает! Они, сударь, и невесть бы чего начудесили, кабы все молча да насупившись сидели; а теперь вот сойдутся да набрехаются досыта... ан сердце-то у них и отойдет!

И вот отчего Матрена Ивановна не только не боится новоглуповцев, но даже считает их заместо своих детей...

Указывают еще на общественную деятельность новоглуповца и отыскивают в ней признаки несомненной гражданской доблести. Рассказывают, например, что тогда-то такой-то неподкупный блюститель глуповского возрождения в три шеи выгнал от себя

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Терентья Силыча, явившегося на поклон с кулечком... Приводят факт и еще поразительнейший: Сила Терентьич, думая расположить в свою пользу другого такого же блюстителя, позвал его к себе на обед; но блюститель не только не тронулся этим, но даже всенародно и в собственном Силы Терентьича доме невежничал и паскудничал над ним самым постыдным образом и, возвратившись домой, тотчас же распорядился лишить этого обывателя всех прав состояния.

Действительно, перелистывая древнюю историю Глупова, я не нахожу в ней примеров столь доблестных. Древний глуповский magistrat был прост на этот счет: он любил, чтоб к нему ходили с кулечками, и не скрывал этого. Если случалось, что он и без того сыт по горло, то и тогда он не гнал просителя в три шеи, но кротко говорил ему: «Отдай, брат, это ребяткам: я сыт!..» От обедов же решительно никогда не отказывался и, принимая хлеб-соль Силы Терентьича, ел истово, ног на стол не клал, божьего дара под стол не кидал, банта всенародно не расстегивал и хозяйскую бороду мочалкой не обзывал.

Сравнивая эти две формы общественной деятельности, я ни на минуту не мог колебаться насчет того, которой из них отдать преимущество. Конечно, древний глуповец был отвратителен, но вместе с тем он был и мил... Он представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратителен. Он весь был нелепость, а потому и оценка его деятельности могла быть только нелепая. Человек, доведенный до необходимости вступить в сношения с ним, имел полное право воскликнуть: «Ах, да какая же ты славная bestия!» – но не имел права считать свою руку оскверненной прикосновением его руки. Новый глуповец продолжает быть отвратительным и в то же время утратил способность быть милым. Его прикосновение положительно оскверняет.

Но, переходя от форм деятельности к самому содержанию ее, я колеблюсь еще менее. Содержание это до такой степени тождественно, что невозможно без смеха даже подумать об этом. И в том и в другом случае пространно и размашисто развивается все та же знаменитая глуповская поговорка: «Кого люблю, того и бью», – и в том и в другом случае мотивы и побуждения деятельности нераздельно слиты с общим строем глуповского мирозерцания.

По-прежнему глуповцы оказываются бедными инициативой, шаткими и зависимыми в убеждениях; по-прежнему гибко и недерзновенно пригибаются они то в ту, то в другую сторону, беспрекословно следуя направлению ледовитых ветров, цепенящих родную их равнину из одного края в другой.

По-прежнему они наивно открывают рты при всяком вопросе, выработанном жизнью, и не могут дать никакого разрешения, кроме тупого и бесплодного гнета, не могут дать никакого ответа, не справившись наперед в многотомном и, к сожалению, еще не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной мудрости. Скажу более: в прежние времена глуповская необузданность смягчалась подкупностью и другими качествами, гнусность которых хотя и не подлежит спору, но которые в свое время все-таки оказывали не малую практическую пользу; а нынче и это последнее убежище глуповских вольностей рухнуло, благодаря каплуnému высокомерию и каплуным операциям *in anima vili*, производимым ревнителями глуповского возрождения.

Новоглуповец откровенно и даже залихватски кладет ноги на стол; но спросите его, что он желает выразить этим действием, чего он требует, чего он ждет от Глупова, – он станет в тупик. Темное ярмо тяготеет не только над действиями его, но и над помыслами. Да, и над помыслами, потому что он до такой степени усовершенствовал себя, что нашел средство поработить не только тело, но и свободную душу.

В сущности, и старый и новый глуповец руководятся одним и тем же правилом: «Травы не мять, цветов не рвать и птиц не пугать». Но на практике, но в способах проведения этого правила в жизни, между ними замечается ощутительная разница. Старый глуповец видел эти слова написанными на доске и выполнял их не рассуждая. Новый глуповец не только выполняет, но и резонирует, не только резонирует, но и любит себя самим собою. Он возводит исполнение правила в принцип, и в этом принципе находит достаточно содержания для наполнения всей своей жизни. И горе тому, кто затронет новоглуповца в этом последнем убежище, горе тому, кто отнесется легко к этой последней святыне его сердца: он в одну минуту налетит столько, сколько не успели налетать его достославные предки в продолжение многих столетий; он загрызет, он докажет целому миру, что и в Глупове могут зародиться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорванцов исполнительности.

Глуповское мирозерцание, глуповская закваска жизни находятся в агонии – это несомненно. Но агония всегда сопровождается предсмертными корчами, в которых заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этих ужасных попыток древлеглуповского мирозерцания удержаться на старой почве служат новоглуповцы. В лице их оно празднует свою последнюю, бессмысленную вакханалию; в лице их оно исчерпывает последнее свое содержание; в лице их оно торжественно и окончательно заявляет миру о своей несостоятельности...

Итак, Матрена Ивановна права: старинный глуповский air fixe, усовершенствованный и усиленный, целиком переселился в новоглуповцев. Но она не права в другом отношении: она думает и надеется, что глуповцам не будет конца, что за новоглуповцами последуют новейшие глуповцы, а за новейшими – самоновейшие, и так далее, до скончания веков.

Этого не будет.

В этом отношении я даже чувствую некоторую симпатию к новоглуповцу. Он мил мне потому, что он – последний из глуповцев.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
К ЧИТАТЕЛЮ

Два отрывка доцензурной редакции

1

Только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях; только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса. В древности Самсон употреблял ослиную челюсть, чтоб внести смятение и страх в лагерь филистимлян, в наше время место этого невинного орудия занял меч мысли, но желательно было бы, чтоб оружием этим действовали с тем же проворством и силою, с каким действовал Самсон челюстью. И это тем более удобно, что ревнителю тьмы уже не скрывают своей игры, не забрасывают грязью подслащенных фраз, но прямо и открыто признают себя именно ревнителями тьмы. Следовательно, героев нет и не может быть, следовательно, руки и умы развязаны, следовательно, мы свободны от всяких обязательств...

Но, договорившись до такого заключения, я чувствую, что перо мое выпадает из рук, я чувствую, что в мысль мою, словно жало змеи, врезывается горькое раздвоение, которое уничтожает всякую мысль о близком деятельном влиянии на жизнь. Давно ли блеснул мне в глаза луч света, и уже снова поднимается мгла из недр земли! Давно ли казались мне открытыми врата будущего, и уже снова я нахожу их замкнутыми! Давно ли мне слышался там, за этими воротами, призывный шум и клики жизни, и уже снова все глухо, снова все спит непробудным сном!

В самом деле, шутка сказать человеку: доведи мысль свою до того напряженного состояния, до той страстности, которая разрешается героизмом! Где подготовка для этого? С каким материалом, с какими силами приступить к совершению подвига? да и какое, наконец, будет содержание самой мысли?

Побеседуем прежде всего о подготовке и средствах.

Ласковое, добродушное теля! Выступая с таким легким сердцем на борьбу, знаешь ли ты, что такое борьба? Знаешь ли ты, что борьба есть страдание столько же нравственное, сколько и физическое, что если первое жестоко, то второе жестоко тем более, что противно самой природе человека, что борьба есть ряд унижений и обид, что борьба есть голод и жажда, что борьба есть первая и ближайшая посылка к смерти? Ты, который обрекаешь себя на служение истине, знаешь ли ты, что истина, как древле Ваал, любит мясные жертвы? Утучнил ли ты свое тело в такой степени, чтобы жертва эта была приятна?

Допускаю, что, предаваясь умственному труду в уединении своего кабинета, ты не ограничиваешься одними призрачными туманными мечтаниями, ты не с одним сочувствием, не с одною восторженностью относишься к делу освобождения человека от уз пленения смертного, не стремишься наудачу к неясно очерченному будущему, но мыслишь действительно, но зрело обдумываешь и даже рассчитываешь весь ход, все развитие великого дела будущего, к которому так беспокойно и так настойчиво стремится человечество от первого дня своего рождения. Допускаю, что ты относишься к делу даже практически, то есть предусматриваешь те условия, при

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru которых оно может иметь успех, и те, при которых оно должно погибнуть, что ты с математической верностью определил даже средства, чтобы обеспечить беспрепятственное действие первых и устранить последние. Допускаю, наконец, что до чуткого уха твоего доходят, и не бесплодно доходят, те многообразные стоны, которые с такой мучительной покорностью судьбе вырываются из груди природы-матери, что чуткое ухо передает эти стоны чуткому сердцу, а сердце кипит злобою, а сердце млеет и умирает от гнева и омерзения. Волнение, не передаваемое языком человеческим, овладевает всем существом твоим; ты видишь раны и струпья, ты слышишь вздохи и сетования... ужас! ужас! восклицаешь ты, и нет пределов твоему отчаянию...

Что ж из этого?

Пришел ли ты к убеждению, что мысль, доколе она заключена в кабинете твоем, есть лишь бесплодная и притом растленная потеха души твоей? Пришел ли ты к убеждению, что место мысли героической, мысли воинствующей не в усидчивой работе за фолиантами, не в беседе приятельской, даже не в более или менее смелых, более или менее верных поисках в области будущего, что ей, этой мысли, точно так же необходим хлеб насущный, как твоему желудку?

Допускаю, однако ж, что и эти убеждения не составляют для тебя новости, но они пришли к тебе точно так же теоретически, как и твоя Икарія, но они явились к тебе мельком, в виде страшного ультиматума, с которым не может освоиться, который желала бы отклонить мысль твоя. В самом деле, ты готов на все: ты готов защищать свою мысль шаг за шагом, ты готов принять диалектический бой со всяким противником, но злоба дня, та страшная злоба дня, которая не хочет слушать ни убеждений, ни доказательств твоих, которая хохочет и кривляется над ними, которая спокойно продолжает злодействовать, покуда ты изливаешь восторженные потоки красноречия, эта злоба дня застает тебя безоружным.

Злоба дня застает тебя безоружным, потому что ты не только презирал ее, но просто-таки не считал ее ни во что. И ты был прав, презирая, потому что, говоря абсолютно, взирая на мир с точки зрения беспримесной чистоты твоей мысли, она действительно ничего, кроме презрения, не заслуживает. Но эта презренная злоба дня нынешнего была истиною дня вчерашнего, но она еще вчера была источником жизни для бесчисленного множества тебе подобных существ, но у нее есть корни, и очень крепкие корни, в прошедшем... обойти ее трудно, обойти ее невозможно.

Волею или неволею, но ты должен сойти до нее, ты должен исследовать ее и даже принять к сердцу ее интересы. Ибо что должно, что может составлять предмет твоей деятельности? Или открытая борьба с злобою дня, или нравственно-воспитательное на нее действие. И в том и в другом случае ты должен знать слабые и сильные стороны своего противника, и в том и в другом случае ты обязан с осторожностью и даже с нежностью держать в своих руках гадину, которую намереваешься убить. Но ты остановишь меня на этом и будешь уличать в противоречии. Давно ли, скажешь ты, было взываемо к опрятности мысли, давно ли говорилось об исключительности, и вот на сцену снова выступает осторожность и даже какая-то нежность.

Но противоречия этого нет. Действительно, не дальше как две страницы тому назад я утверждал, что исключительность необходима, что примирения и компромиссы не ведут ни к чему, кроме запутанности и постыдного поражения, но тогда я обращался к тебе, как к человеку убеждения, человеку теории. Теперь же я обращаюсь к тебе, как к человеку действия, и в этой двойственности твоего характера заключается полное объяснение замеченного тобой противоречия. Пусть внутренний мир твой остается цельным и не доступным ни для каких стачек, пусть сердце твое ревниво хранит и воспитывает те семена ненависти, которые брошены в него безобразием жизни, – все это фонд, в котором твоя деятельность должна почерпать для себя содержание и повод к неутомимости. Но оболочка этой деятельности, но форма ее должны слагаться независимо от этого внутреннего мира души твоей. Над ними тяготят требования победоносной еще злобы дня, и требованиям этим она волею или неволею должна подчиниться, под опасением остаться бесплодной. Ты истец; ты тревожишь спокойное течение жизни, ты ищешь, чтоб она поступилась в твою пользу частью или всем своим историческим достоянием; следовательно, не она, а ты обязан подать и первый пример соблюдения необходимых в этом случае формальностей.

Да притом я не говорю тебе ни о нежности сердечной, ни о сострадательности, ни о других добродетелях этой категории: под нежностью я разумею просто нежность

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мускулов, нежность механическую, которая заслоняла бы от слишком любопытных взоров духовную исключительность, составляющую содержание твоего внутреннего человека, которая позволяла бы держимой между пальцами козявке держаться там смиренно, без мучительных судорог и содроганий. Не говорю также и о снисходительности или приблизительной покладистости, ибо то, что с первого взгляда кажется снисходительностью, есть собственно любознательность, необходимая каждому, изучающему предмет с целью дальнейших операций.

Одним словом, я желал бы, чтоб ты сделался на время Удар-Ерыгиным, чтоб при каждом иудином лобзании, даваемом тобою злобе дня, ты в то же время вырывал один из ее вредоносных удов, чтоб ты действовал по точному разуму русской поговорки, гласящей: не плачь, козявка! дай только сок выжму!

– Фуй! какая, однако ж, мерзость! – восклицаешь ты, – ведь Удар-Ерыгина за это зовут шельмой, ведь Удар-Ерыгин действует так, потому что им руководят только низшие инстинкты: лукавство, низкопоклонничество, чревоугодие, наконец!

Ну да, и я совершенно с тобой согласен насчет Удар-Ерыгина (стоит только взглянуть на плоскодонную его голову, стоит только попристальнее вглядеться в блуждающий огонь его глаз, чтоб определить человека); ну да, и я согласен, что ты не только на определенное время, но даже на минуту не в состоянии сделаться Удар-Ерыгиным... Помыслы твои слишком чисты, ты сам слишком опрятен для этого... но какие же последствия этой брезгливости? не те ли, что мысль твоя безвыходно должна будет уединяться в стенах твоего кабинета, что она никогда не придет в живое соприкосновение со злобою дня, которую, однако ж, имеет претензию поработить!

Именно потому-то я и утверждаю, что ты не в силах окрылить свою мысль до того, чтоб она не боялась окунуться в грязь базара житейской суеты, чтобы она при вопросе о средствах имела в виду только цель, которой надлежит достигнуть.

Но зато как же и бесцеремонно обращается с тобой злоба дня! Она высылает на тебя Зубатова, который, замечая в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами патриархального этикета, сварливо подступает к самому твоему лицу и тоном, не терпящим оговорки, требует, чтоб ты говорил «хи-хи!». Она высылает на тебя Удар-Ерыгина, который, в свою очередь, видя, что ты принял на себя образ жалкой отошавшей дворняжки, робко пробирающейся сторонкой, чтоб стащить со стола кусок мяса, хладнокровно ошпаривает тебя горячими помоями. Она высылает на тебя, наконец, своего панегириста, преемника Булгарина, преемника Кайафы, который, чуткий к рутинным инстинктам и бессознательным ненавистям толпы, выбрасывает ей на поругание одну за другой задушевные помыслы твои, не давая даже себе труда опровергать их, потому что ему стоит только обнажить их, чтоб указать на их несообразность с требованиями той исконной мудрости, которою привыкла руководиться толпа. И толпа рукоплещет, толпа надрывается плотоядно-зверским смехом, видя, как тебя ошпаривают, как тебя заставляют говорить «хи-хи!», как тебя обличают в посягательстве на удобства и наслаждения толпы!

И не то чтоб толпа была кровожадна, но она любит пряные зрелища. Толпе так горько, так трудно жить, что самая мысль о мире лучшем кажется ей дикостью и посягательством; она так освоилась с безвыходностью своего положения, до такой степени утратила всякое сознание об идеале, что человек, поставленный в положение зверя, не режет ей глаза, не кажется вопиющей ненормальностью. Она рассуждает так: можно мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, по крайней мере, от самых гнетущих материальных забот и лишений, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п., но нельзя мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда вся мыслительная способность человека сосредоточена на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, и будущее сулит только чищение сапогов да ношение подносов («смотри же, подлец! не урони подноса: морда отвечать будет!») – кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться). И, рассуждая так, она не глядит ни вверх, ни по сторонам, а глядит все в землю, то есть туда, куда наклонили ее целые столетия гнета, наслоившиеся над нею. Естественно, что при таком озверении всех инстинктов она не умеет различить своего адвоката от паскудника, что чувство ее может быть возбуждено и отчасти принять игривое направление только при виде чьего бы то ни было уничижения, чьей бы то ни было беззащитности. Естественно, что она трепещет и плещет руками при виде торжества грубой силы над разумом: она рукоплещет тут не торжеству собственно, а издевается лишь над неразумием разума,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
осмелившимся не признать законности силы.

Следовательно, нужно победить еще равнодушные толпы, нужно еще возбудить ее смысл.

2

Вновь обращаюсь к тебе, добродушное, ласковое теля! и вновь повторяю: нужно победить равнодушные толпы, нужно возбудить ее мысль!

Мало того что ты по образу мыслей считаешь вправе называть себя адвокатом толпы: нужно еще, чтоб толпа сама признала тебя за своего адвоката, а чтоб достигнуть этого, необходимо подладиться к ней, необходимо самому стать толпою, принять ее инстинкты, прожить ее жизнью. Вот если б ты, увидев дантиста налетающим на преследуемого субъекта, сам налетел на него орлом, толпа действительно признала бы тебя за адвоката своего, и вопила во сто крат ходчее и веселее: «Хорошень его! накладывай, накладывай ему!» И ты внезапно вырос бы в глазах толпы, стал бы ее героем... чем-то вроде Гарибальди, переложенного на русские нравы.

А ты еще лучший из лучших, ты избраннейший из избранных! Кому же протянешь ты руку, к кому обратишь жаждущую сочувствия мысль? Да; тяжела должна быть для тебя жизнь. Жизнь не составляет ига только под одним условием: а именно, когда работу ее сопровождает успех. Успех не только дает силу и бодрость мысли, но и оплодотворяет ее, помогает ей идти вперед и развиваться. Без помощи успеха мысль незаметно оскопляется, дичает и делается ничтожною. Для тебя этот успех невозможен, потому что ты слишком разобщен от толпы, потому что ты не понимаешь ни законности ее прихотей, ни законности ее невежества, ни законности ее злодеяний. Такое отношение к жизни делает для тебя возможною одну только роль: роль той мясной жертвы, которой дым так приятно щекочет обоняние Ваала.

И я нисколько не удивлюсь, если ты, взвесив всю безотрадность пути, предстоящего тебе в будущем, закроешь лицо руками и содрогнешься; я не удивлюсь даже, если ты проникнешься робостью и сделаешь попытку побежать с поля сражения. Но ты не побежишь, потому что и над твоим существованием тяготеет роковая сила, заранее начертавшая путь, по которому тебе предстоит идти; ты не побежишь, потому что над тобою тяготеет твое прошедшее, тяготеет масса выработанных тобой и глубоко пустивших корни убеждений... ты согласишься лучше принять грудью неотразимый удар судьбы, нежели обесславить постыдным бегством те верования, которым ты служишь. Жертвоприношение совершится, и жертва будет приятна Ваалу.

Повторяю: ты лучший из лучших, избраннейший из избранных – и вот, однако ж, какого рода результатов можешь ты ждать от твоей деятельности. Что из того, что ты просто и бестрепетно примешь смерть от рук жрецов вааловых, что ты не опозоришь себя при этом ни жалким отступничеством, ни гнусным предательством? Пойми, что, несмотря на твою геройскую бестрепетность, роль твоя все-таки будет чисто страдательною, что симпатии толпы все-таки останутся на стороне силы, и что в пользах твоего дела было бы гораздо лучше, если б ты где-нибудь в уголку, где-нибудь втихомолку испросил на коленках прощения и получил за это возможность исподволь, но неотразимо напакостить твоим врагам!

Увы! Я знал многих из твоих собратий, людей с честным сердцем и непосрамленною душою, которых протесты против торжествующей злобы дня именно ограничиваются только агнчею способностью примиряться со всеми унижениями и оскорблениями. Их втопчут в грязь – они ничего: и в грязи, говорят, живем – что, взяли? Им свяжут руки, их бросят в жертву смрада и мерзости, на них плюют – они оботрутутся и опять ничего: нас, дескать, этим не оскорбишь – что, взяли? И в наивности душ своих мечтают, что злоба дня очень огорчена такою их стойкостью! А злоба дня проходит мимо и нагло хохочет над этим бессильным кривлянием, и плюет, и плюет, и плюет, при неистовых рукоплесканиях полудикой толпы! А сколько есть таких, которые, еще не заглянув в храм, уже бегут от порога его, сколько есть слабых духом, робких сердцем, сколько таких, которые даже временно не могут примириться с идеею аскетизма в жизни! Ужели они сомкнут ряды свои, чтоб твердо стать за торжество мысли, которой не знают и которой не могут сочувствовать их внутренности, ужели не охватит их панический страх, и не побегут и не рассыплются они при первом суровом натиске действительности? Всякое сомнение в этом случае было бы только праздным и вредным самообольщением. Неестественно, чтобы общество представляло собой сплошную массу героев-аскетов, подчинивших исключительному торжеству мысли все прочие интересы жизни. Правда, что общество принимает иногда такие суровые формы, но это бывает лишь в те редкие и крайние минуты, когда потребность

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обновления захватывает дыхание всего живущего, когда человечество, идя переулком, откуда имеется один только выход – на стену. Такие минуты называются эрамы в истории человечества, а много ли можно назвать таких эр? Да притом минута всегда остается минутой; дело созревшей мысли совершилось, стена опрокинута, торжество отпраздновано с приличною случаю помпой: на завтра наступают будни с кропотливою, ненарядною своею деятельностью, на завтра вступает в права свои жизнь, маленькая жизнь с маленькими интересами, и вновь на развалинах отжившей мысли зреет злоба дня и вновь, рядом с нею, но не признаваемое и гонимое, начинается семя грядущего... Все это весьма естественно, и даже не потому, чтобы над судьбами человечества исключительно царило начало зла, а просто потому, что, по молодости лет и слабости рассудка, оно еще пока не может определить тех форм добра, которых с таким напряженным усилием ищет. Естественно, следовательно, и то, что в обществе, даже между людьми наиболее симпатичными, скорее можно встретить таких, которые предпочитают жить в мире с действительностью, нежели открыто идти в разлад с нею, которые охотно согласятся пожуричь и даже по временам и ущипнуть действительность, но без скандала, *mon cher*, без скандала. Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит за собой мир и благоволение в сердца людей.

Mon cher! мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями; я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющим из уст ваших, – но оставьте меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии, не тормошите, не огорчайте меня, не отрывайте меня от раковины, в которой я с таким комфортом обмял себе место! Слушая вас, я воображаю себя в театре, я вижу мысленно процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы – все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы, и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле, но не могу же я... не могу же я... согласиться, что ведь я не могу?

И волею или неволею, с болью в сердце и, быть может, с проклятием на устах, но ты должен будешь согласиться, ласковое добродушное теля, что я действительно не могу, и не могу не потому, чтоб я был нравственно растлен, а потому, что я имею на жизнь тот естественный законный взгляд, в силу которого она является не суровым аскетическим подвигом, но наслаждением. Кому же ты подашь руку свою? на ком остановится скорбящая мысль твоя?

ПРИМЕЧАНИЯ

САТИРЫ В ПРОЗЕ

Взятые в целом «Сатиры в прозе», объединяющие рассказы, очерки и драматические сцены 1859–1862 годов, – это замечательная по своим идейно-художественным достоинствам, многосторонняя и яркая, картина русской общественной жизни бурного периода 60-х годов. Это вместе с тем и важный этап в идейно-творческом развитии Салтыкова. Характерные особенности освободительной борьбы на рубеже 60-х годов и черты Салтыкова как мыслителя и художника, страстно отдававшегося этой борьбе, с наибольшей полнотой и рельефностью запечатлены в очерках «глуповского» цикла, составивших основную часть «Сатир в прозе».

Сложное идейное содержание этих очерков и их своеобразная литературная форма, богато насыщенная сатирическими метафорами и фигурами эзоповского иносказания, ставят современного читателя перед известными трудностями и потому в первую очередь требуют пояснения.

Очерки о «глуповцах» (1861–1862) тесно связаны с предшествующими им рассказами об «умирающих» (1857–1859). Те и другие объединяет одна общая идея об исторической обреченности представителей старого крепостнического режима, о крушении их политического господства, их нравственном и физическом умирании. Различие в замыслах относилось к пониманию самого процесса «умирания». Когда Салтыков задумал «Книгу об умирающих» (см. об этом в комментарии к «Невинным рассказам»), он полагал, что «ветхие люди» – так сатирик именовал людей крепостнических убеждений – не устоят перед напором общественных демократических сил, что они не сумеют сохранить своих командующих позиций в государстве. Приверженцы старины в серии рассказов об «умирающих» – «Гегемониев» и «Зубатов» («Невинные рассказы»), «Госпожа Падейкова» и «Недовольные» («Сатиры в прозе») – представлялись в домашнем углу, не проявляя ни воли к организованному

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сопротивлению, ни способности примениться к новым условиям. Ход событий скоро убедил Салтыкова в том, что его прогнозы относительно перспектив предреформенной борьбы излишне оптимистичны, что трудности решения крестьянского вопроса нарастают. Замысел книги о пассивном умирании «ветхих людей» уступил место циклу сатирических очерков о крепостниках, которые ожесточенно сопротивляются смерти, организованно отстаивают свои классовые привилегии. Считая, однако, это сопротивление исторически обреченным на скорый и неминуемый провал, тщетным и потому глупым, сатирик присваивает теперь «ветхим людям» наименование глуповцы.

Первым после появления рассказов об «умирающих» был очерк «Скрежет зубовный» («Современник», 1860, № 1). По времени написания, идейному содержанию и литературной форме он является переходным от цикла об «умирающих» к «глуповскому». Очерк заканчивается символической сценой шествия «умирающих», своеобразно повторяющей финал «Губернских очерков», и сказочной картиной «Сон», в которой представлено, как Иванушка (олицетворяющий у Салтыкова крестьянство), проводив «ветхих людей» в страну преисподнюю, садится за стол «судить да рядить» государственные дела. Как известно со слов самого писателя, эта картина, выражающая его мечтания о демократическом государственном строе, должна была занять место эпилога в «Книге об умирающих». Отказавшись от завершения последней, Салтыков присоединил «Сон» к очерку «Скрежет зубовный», первая художественно-публицистическая часть которого предвещает стиль, форму и проблематику «глуповского» цикла.

Слово глуповцы в «Скрежете зубовном» еще не произнесено, но именно здесь Салтыков впервые указал на те попытки «ветхих людей» овладеть общественным движением в своих интересах, которые он вскоре обобщит в формуле «глуповское возрождение». Зубовным скрежетом встречают представители привилегированных сословий проекты демократических преобразований. Маскируя свои эгоистические интересы цветами пустого красноречия, на словах они заявляют себя сторонниками гласности, свободного труда, отмены откупов, а на деле горой стоят за сохранение прежних порядков, основанных на крепостном праве, призывают к «постепенности и неторопливости».

Администратор Зубатов, выступающий в конце очерка в роли вежливого «дядьки», увещающего пробудившегося Иванушку, – это сатира, разоблачающая лицемерные заигрывания царской бюрократии с народом, ее попытки приручить посмелевшего и строптивого Иванушку, превратить его в прежнего верного слугу.

Написанные после «Скрежета зубовного» рассказы и очерки «глуповского» цикла, кроме трех запрещенных цензурой («Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «Каплуны»; они вошли в т. 4 наст. изд.), размещены в сборнике «Сатиры в прозе» без соблюдения хронологической последовательности. Два очерка, появившиеся в 1862 году («К читателю», «Наш губернский день»), выражавшие более зрелый взгляд автора на изображаемые явления, поставлены раньше трех очерков, опубликованных в 1861 году («Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела»). Рассмотрим их не в порядке размещения в сборнике, а в порядке их написания и появления в печати. Это позволит лучше уяснить эволюцию в общественных воззрениях сатирика и движущую картину отразившейся в его произведениях острой социально-политической борьбы, связанной с подготовкой и проведением крестьянской реформы.

Местом действия «Губернских очерков» и целого ряда произведений, написанных Салтыковым вслед за ними, был город Крутогорск. Это вымышленное название первоначально не заключало в себе много смысла, кроме условного географического определения, и в связи с местом ссылки Салтыкова нередко воспринималось читателями в значении псевдонима Вятки. Неудобство такого ограничительного понимания Салтыков все более осознавал по мере того, как его сатира углублялась в общий «порядок вещей» крепостнической монархии. И недаром образ города Глупова впервые появляется именно в очерке «Литераторы-обыватели» («Современник», 1861, № 2), где Салтыков выразил внутренне назревшую к 60-м годам потребность открыто размежеваться с теми либеральными обличителями, которые, подчиняясь правительственным нормам «гласности», не шли дальше обличения отдельных фактов чиновничьих злоупотреблений и с которыми вольно или невольно смешивали Салтыкова некоторые читатели.

Таким образом, пришедший на смену Крутогорску город Глупов явился той ядовитой художественной метафорой, которая сопротивлялась локальному истолкованию и сатирически клеймила весь самодержавно-крепостнический режим.

В «Литераторах-обывателях» слово Глупов встречается просто в качестве названия места действия и в производных от него наименованиях: глуповский городничий, глуповские мещане, наши глуповцы. В следующем очерке того же года – «Клевета» («Современник», 1861, № 10) – сатирик раскрывает нравственную сторону жизни глуповцев, характеризуя их как праздных тунеядцев, изъявляющих «твердое намерение жить без конца». В картину исторической схватки двух сил – господствующих глуповцев и пробуждающихся масс – вводится новый образ: город Умнов, символизирующий лагерь демократической интеллигенции. Свежая струя честности, прилетающая из Умнова, вызвала в глуповце прежде всего ненависть к самому возрождению и вынудила его приспособляться, что выразилось в попытках «глуповского возрождения», которое никаких положительных результатов дать не может. Происходит борьба между сторонниками подлинного, «умновского», и мнимого, «глуповского», возрождения. Первое, по убеждению сатирика, победит, ибо глуповца точит недуг, который неминуемо должен привести его к одру смерти. Глупов умирает, озлобляясь и агонизируя, положение его одно из самых безнадежных. Очерк «Клевета» написан уже после объявления крестьянской реформы. В ее куцем характере Салтыков видел признаки «глуповского возрождения», но считал, что это только начало в конечном счете победоносного процесса обновления.

В очерке «Наши глуповские дела» («Современник», 1861, № 11), где образы глуповского мира обрастают новыми подробностями, Салтыков приходит к тому же самому выводу об обреченности Глупова, что и в «Клевете», но приходит уже более сложным путем. Новое здесь: появление рядом со староглуповцем новоглуповца (так сатирик окрестил дворянских либералов) и рядом с Умновом – Буянова, символизирующего стихийное восстание крестьянских масс. В лице новоглуповца, который сохраняет прежние крепостническое мирозерцание и отличается только изяществом манер и либеральной демагогией, староглуповец делает попытку продлить свое существование. Общественная борьба принимает все более острые формы, а в связи с этим и первоначальная вера Салтыкова в победу Умнова начинает колебаться и ищет поддержки в Буянове. Указывая на растущую трудность освободительной борьбы, на переход ее в более острый фазис развития, Салтыков, однако, и в «Наших глуповских делах» считает, что дело кончится победой, а не поражением. В новоглуповце, поборнике глуповского возрождения, он видит всего лишь тщетное стремление древнеглуповского мирозерцания удержаться на старой почве и оптимистически оценивает его как «последнего из глуповцев» (курсив наш. – А. Б.).

Очерк «К читателю» («Современник», 1862, № 2), носящий в значительной мере обобщающий характер по отношению ко всему сборнику «Сатир в прозе» и поэтому поставленный в нем на первое место, выделяется многосторонностью освещения пореформенной борьбы и тех проблем, которые особенно волновали Салтыкова в это время. Здесь сатирик выдвигает свое знаменитое определение эпохи реформы как «эпохи конфуза», которое затем навсегда удержится в его сатире. Яркие бюрократы-крепостники Зубатов и Удар-Ерыгин «skonфузились», оторопели, они готовы заявить себя сторонниками освобождения, но все это только умственный маскарад, прикрывающий прежние хищные вожделения. Разоблачая показной дворянский либерализм, Салтыков требует его «упорного, беспощадного отрицания», потому что он мешает расслушать честный мотив «действительного либерализма». Под последним Салтыков подразумевает «меньшинство людей мыслящих», кружки которых выступают во тьме «как зеленеющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего». Это мыслящее меньшинство подлинных демократов Салтыков резко отделяет от «либералов всех шерстей», маскирующих шумихою пустозвонных фраз старинную заскорузлость воззрений. Он полагает, что начался процесс неуклонного наступления честной мысли, и все попытки остановить ход исторических событий считает «нелепой претензией». «Наступает день расчета». Таковы чаяния и надежды Салтыкова.

Напомним, однако, позднейшее признание Салтыкова («Имярек», 1887) относительно неустойчивости пережитых им в эту пору настроений, о переходах от расцветания к увяданию, от надежд – к признанию отсутствия всяких перспектив. Эту неустойчивость можно наблюдать уже в очерках начала 60-х годов, в частности, в очерке «К читателю». Когда Салтыков ведет речь в плане теоретического, философско-исторического сопоставления двух мирозерцаний – глуповского и умновского, – он полон веры в неизбежную смерть старого мира, констатирует начало процесса умирания и делает оптимистические прогнозы относительно неуклонности этого процесса. Но как только он переходит к суждениям о путях и способах практической борьбы, которая должна обеспечить победу нового над старым, надежды уступают место сомнениям, признанию отсутствия перспектив.

Вопрос о роли передовых идей и путях их проведения в массы, об условиях и методах просветительской деятельности «меньшинства мыслящих людей» занимает в очерке «К читателю» центральное место. Задача, говорит Салтыков, состоит в том, чтобы способствовать исторически назревшей победе новых идей над глуповским невежеством. Для этого передовые люди должны, во-первых, в чистоте хранить и отстаивать свои идеалы, ибо «только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях!». Во-вторых, люди героической мысли не должны пребывать в скромном безмолвии, а обязаны действовать, нести свои идейные сокровища в широкую среду. Но какими путями действовать? Если действовать крадучись, притворившись глуповцем, с тем чтобы в удобный момент снять с глуповцев «дурацкий колпак», – то сам сделаешься глуповцем, пока будешь приспособляться. Если пойдешь напролом – сразу заклюют Удар-Ерыгины.

Но, может быть, в глуповской среде есть свежие элементы, не подкупленные прошлым, на поддержку которых пропагандист новых идей может рассчитывать? И на этот вопрос Салтыков отвечает отрицательно. Глуповцы старшие, кушающие сладко, – это народ отпетый, кремнистоголовый, никакая мысль не пробьется сквозь эту плотную каменную обшивку. Что касается глуповцев меньших, Иванушек, то их «мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду».

Писатель вынужден признать, что народная масса не доросла до сознательного протеста, до понимания необходимости коллективной самозащиты. Эту горькую истину Салтыков поясняет рассказом о происшествии на переправе через реку Большую Глуповицу. Человека, избитого за неподчинение распоряжениям начальства, толпа не поддержала, она «развратно и подло хохотала». Видимо, эта неспособность массы к организованной самозащите и побудила Салтыкова в очерке «К читателю» включить в социологию Глупова и народ (Иванушек), под именем «глуповцев меньших», хотя обычно в «Сатирах в прозе» народная масса противопоставляется глуповцам, под которыми подразумеваются дворянство и бюрократия.

Так, в очерке «К читателю» сатирик пришел к грустному выводу об отсутствии широкой среды, которая явилась бы благоприятной почвой для скорого торжества новых идей. И пока, следовательно, передовая мысль вынуждена осуществлять свою историческую миссию исключительно силами «мыслящего меньшинства». «В наших собственных убеждениях, – заявляет писатель, обращаясь с призывом к этому «поколению», – в жизненности наших собственных сил должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни в чем ином». Но, несмотря на все возрастающие трудности борьбы, Салтыков остается при своем прежнем убеждении, что демократическая интеллигенция, проявив героические усилия, сумеет добиться скорой победы. Это убеждение нашло выражение и в рассказах «Глупов и глуповцы» и «Глуповское распутство», относящихся по времени написания к началу 1862 года, но не появившихся при жизни сатирика в печати.

Во всех рассмотренных рассказах «глуповского» цикла Салтыков настойчиво проводит мысль об обреченности и «умирании» старого, крепостнического мира. Здесь то и дело встречаемся с утверждениями следующего рода: глуповское мирозерцание «окончательно заявляет миру о своей несостоятельности»; «позволительно нынче окончательно рассчитаться с прежнею жизнью»; «для вас, – обращается Салтыков к командующим том, что голова глуповца, обшитая плотной роговой оболочкой, не пропускает никаких новых идей».

Восприняв закон исторической сменяемости социальных эпох прежде всего применительно к мирозерцанию, Салтыков сделал вывод, что наступило время, когда передовая, демократическая мысль, доведенная до энтузиазма, продолбит «камни невежества и предрассудков» («К читателю»). Многие страницы произведений «глуповского» цикла представляют собою страстные, патетические монологи, проникнутые глубокой верой автора в «вулканическую силу» передовой мысли и горячим убеждением, что уже началось «обмирщение» и неуклонное торжество тех общественных идеалов, носителем которых пока является «мыслящее меньшинство». Это была просветительская мечта о возможности достижения больших и скорых практических результатов без насильственного переворота, путем идеологической войны; это была попытка просветительского штурма твердынь крепостничества и самодержавия. Салтыков разделял кратковременные иллюзии, что уже теперь, в начале 60-х годов, при пассивной поддержке народа, передовые интеллигенты, опираясь на свое идейное превосходство над противником, могут достичь коренных демократических перемен путем героической пропагандистской деятельности.

Позиция Салтыкова была объективно революционна по тем конечным целям, к которым он стремился, по той социальной программе, которую он выдвигал. Но она была утопична в тактическом отношении, в понимании практических путей осуществления общественного идеала. Салтыков заблуждался, считая возможным завоевание решающих демократических побед мирным путем. Ситуация начала 60-х годов была понята им, в отличие от Чернышевского, не в смысле возможности революционного переворота, а в смысле наступления эпохи неуклонного практического торжества передового мирозерцания.

Вскоре Салтыкову станет ясно, что идейное превосходство над противником еще далеко не сразу обеспечивает победу в области социальной и политической жизни, что передовые идеи практически побеждают только тогда, когда они находят себе подкрепление в политической сознательности и организованности борющихся угнетенных масс. В очерке «Каплуны» (начало 1862 года), который писался в качестве «последнего сказания» к циклу о глуповцах, Салтыков, исправляя свою недавнюю ошибку, выражавшуюся в излишне оптимистической оценке ближайших перспектив, скажет: «Не будем ошибаться: насилие еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки»; «насилие не упразднено, а идеалы далеко».

Глупов не умер, «похороны» его отодвигались в неопределенное будущее. И Салтыков, предполагавший покончить с Глуповом в начале 60-х годов, был вынужден через десять лет вернуться к нему в «Истории одного города» во всеоружии своего карающего гения. Многие элементы содержания и формы этого знаменитого произведения восходят к первым очеркам о «глуповцах». Пытаясь на основе «устных преданий» проникнуть «во мрак глуповской жизни» и видя в ней царство «тупого испуга», автор восклицает в рассказе «Наши глуповские дела»: «О вы, которые еще верите в возможность истории Глупова, скажите мне: возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?» Ответом на этот вопрос явилась «История одного города». Можно указать в том же рассказе немало и других мест, получивших потом развитие в «Истории одного города». Так, пушкинская «История села Горюхина», входящая в число творческих источников салтыковской летописи Глупова, находит в рассказе близкое соответствие в выдержках из «журнала» глуповского обывателя флора Лаврентьича Ржаницева, в котором он «изо дня в день списывал все законные и непротивные правилам глуповского мирозерцания деяния свои». Страница рассказа о губернаторах добрых и злых, повелевавших в разное время судьбами глуповцев, – это зерно будущей «Описи градоначальникам», а фольклорный мотив о бабе-яге, пожирающей Иванушек, будет дословно воспроизведен в «Истории одного города». Таким образом, рассказы и очерки начала 60-х годов, в частности «Наши глуповские дела», уже намечали художественно и тематически родственную им «Историю одного города», хотя мысль о создании этого большого произведения явилась у Салтыкова не теперь, а много позднее.

Связь «Истории одного города» с «Сатирами в прозе» с достаточной определенностью характеризует роль последних в развитии щедринской сатиры. Если «Невинные рассказы» в художественном отношении остаются преимущественно в пределах, обозначенных «Губернскими очерками», то «Сатиры в прозе» и прежде всего входящие сюда очерки о «глуповцах» показывают весьма существенные признаки обогащения художественного метода Салтыкова, дальнейшего формирования его социально-политической сатиры. Жанровые формы эволюционируют от сюжетно построенного, «правильного» рассказа к художественному очерку, свободно сочетающему образность с элементами публицистики. Все более утверждаются такие характерные особенности литературного стиля Салтыкова, как иносказательная манера повествования, реалистическая фантастика, художественная гипербола, приемы шаржа и гротеска, острота типологических сатирических наименований, формул, оборотов, эпитетов.

Первое заметное проявление этих новых свойств стиля находим в «Скрежете зубовном» (1860). Очерк не имеет связного сюжета и как бы распадается на две разностильные части. Завершающее очерк описание ночных грез и сновидений автора (лирический монолог о смерти и сказка «Сон», стилизованная под фольклорную традицию) первоначально предназначалось, как сказано выше, для «Книги об умирающих» и несет на себе признаки этого заброшенного замысла. Начальные же страницы очерка – рассуждения о «древе красноречия», с экскурсом в историю, и иллюстрация к этим рассуждениям в виде речей ораторов в общественном клубе – это ранний опыт того свободного по построению художественно-публицистического жанра,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru который с течением времени утвердит свое господство в творчестве сатирика.

В развитии принципов сатирической типизации «Сатиры в прозе» примечательны прежде всего началом процесса создания «собирабельных типов», «коллективных портретов», ставших одним из характерных признаков щедринской сатиры.

Перед читателем очерка «Скрежет зубной» проходит ряд идеологически однородных фигур, особ высокого звания и положения. Крепостники и бюрократы старого, дореформенного закала, ничем не поступаясь в своих убеждениях, маскируют их пустой либеральной фразой и заканчивают свои речи призывом к «неторопливости и постепенности». Один и тот же социально-политический тип варьируется в ряде лиц, напрашивающихся на единую для всех кличку, на единую сатирическую мерку.

В очерке того же года «Наш дружеский хлам», включенном в сборник «Невинные рассказы», но своей идейно-художественной тональностью сближающемся с «глуповским» циклом, представлено такое скопление губернских аристократов, какого ни в одном из предыдущих произведений Салтыкова еще не встречалось. Называя в числе действующих лиц генерала Голубчикова, статского советника Генералова, в шутку прозванного генералом аристократа Рылонова, Салтыков как бы ищет для всех них одно обобщающее определение, подобающую всем их сатирическую кличку.

В очерке «Наши глуповские дела» губернская бюрократия представлена в виде «плешивого синклита»: «губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым».

Приведенные примеры показывают, как художественная мысль сатирика влечется логикой изображаемых явлений к собирабельным образам, коллективным портретам, подготовляя почву для появления «историографов», «помпадуров», «глуповских градоначальников». Группируя в связи с каким-нибудь социально-политическим признаком множество однородных фигур, Салтыков испытывал необходимость в подыскании им соответствующего сатирического определения. «Сатиры в прозе» только намечают этот генерализирующий метод типизации, но уже и здесь на основе его достигнуты яркие обличительные и разоблачительные обобщения. Высшие из них – Глупов и глуповцы-возники в связи с просветительской верой в победу ума над глупостью и, таким образом, явились закономерным художественным выражением той позиции, которую занял Салтыков в годы первой революционной ситуации в России.

Именно в это время интенсивно складывается особая система «просветительской» поэтики Салтыкова, система эпитетов, метафор, зоологических уподоблений, гротескных образов и типологических обобщений, призванных, так сказать, графически, портретно заклеить варварское мирозерцание и «скотообразе душ» крепостников: «мохнатые чудища», «кремнистоголовые», «огнепостоянные лбы» и т. д.

Обаяние идеалов, воспринятых Салтыковым от западных утопических мыслителей, от Белинского и Петрашевского, было так велико, красота их так человечна, перспектива, открываемая ими угнетенному народу, так светла, что одно это уже внушало глубокую веру в их покоряющую силу; и с высоты этих же идеалов ярко выступала перед взором сатирика вся первобытность, звериная «мохнатость понятий» крепостника – человека в «дурацком колпаке».

Можно с полной основательностью сказать, что на всем протяжении своей литературной деятельности Салтыков никогда не выступал таким убежденным просветителем, глубоко верящим в непосредственную, практическую победу передовой мысли, как на рубеже 50 – 60-х годов. Останется он просветителем и в дальнейшем, но уже в более высоком, в более революционном смысле. Просветительство его будет иметь задачей не достижение непосредственного практического результата, а подготовку народных масс для организованной и сознательной борьбы.

Демократическая критика, высоко оценивая художественные достоинства и общественное значение «Сатир в прозе», отмечала, что «каждая из них, отдельно взятая, есть полная, разносторонняя картина действительной жизни; каждая из них затрагивает чрезвычайно глубоко общественные вопросы, с возможной отчетливостью рисует нам живых людей, со всеми особенностями их характера и внешней обстановки». [148]

Новые произведения Салтыкова привлекали внимание современников не только силою сатирических обличений, блестящим остроумием и тонким анализом явлений общественной жизни, но и тем, что им был присущ глубокий лиризм, с покоряющей искренностью выразивший высокий гражданский пафос писателя-демократа. «Он, – говорилось в одной из анонимных рецензий, – лирик насквозь, до костей; гнев, им изображаемый, – его собственный гнев; страдания, им описываемые, – его собственные, непосредственные страдания, и каждое его слово, каждая страница есть крик, неподдельный крик его собственного сердца, жалоба, брань, хохот... Это настоящая великороссийская скорбь, настоящие великороссийские страдания!» [149]

В то же время критика, открыто враждовавшая с Салтыковым, заявляла, что «сатиры его никак не имеют общероссийского характера и что все, в них заключающееся, относится именно к какому-то Глупову, лежащему где-нибудь в глуши и затишьи, и где все, совершающееся у нас, отражается лишь в каком-то странном, искаженном виде». [150]

Даже наиболее сочувственные отзывы либеральной критики о «Сатирах в прозе» обычно сопровождалась упреками сатирику за односторонность картин, мрачность выводов, излишнюю резкость тона, то есть именно за все то, в чем наиболее ярко проявлялся демократизм убеждений Салтыкова, в чем он всего резче расходился с либералами. Так, П. В. Анненков, автор одной из лучших статей о «Сатирах в прозе», считая, что сатирические увлечения Салтыкова, «капризная игра его юмора» приводят к погрешностям против жизни, не находил его произведения вполне верными истине и рекомендовал читателям «мысленно вводить их в меру», принимать только с «поправками и оговорками». Вместе с тем критик, называя картину общественной жизни, представленной в «Сатирах в прозе», «мастерской вещью», выделял в качестве характерных особенностей Салтыкова-художника силу, искренность и достоинство его одушевления, постоянный интерес к исследованию мысли человека, беспощадность и меткость анализа явлений, необычайную изобразительность приемов, живописность слова, оригинальность стиля¹.

Первое отдельное издание «Сатир в прозе» было разрешено цензурой 9 января 1863 года. При подготовке сборника Салтыков устранил из журнального текста некоторые цензурные искажения; при переизданиях в 1881 и 1885 годах он проводил мелкую стилистическую правку².

В настоящем томе «Сатиры в прозе» печатаются по третьему изданию (1885). Проверка текста по рукописям, корректурным гранкам и всем прижизненным изданиям позволила устранить ряд явных цензурных купюр и искажений в очерках «К читателю», «Скрежет зубовой», «Наш губернский день», «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела», в рассказе «Госпожа Падейкова» и в пьесе «Соглашение».

Все рукописи и корректурные гранки произведений, вошедших в «Сатиры в прозе», хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

К ЧИТАТЕЛЮ

Впервые – в журнале «Современник», 1862, № 2, стр. 601–642 (ценз. разр. – 9 марта), с подзаголовком «Прозаическая сатира». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранился неполный черновой автограф очерка (конец утрачен) и три рукописных фрагмента – «особые листы», – содержащие тексты, вставленные в корректуру журнальной публикации и написанные Салтыковым после завершения очерка и просмотра его цензором. Фрагменты эти являются источниками текста следующих мест: [151] «Да, только доведенная до героизма мысль... Это те самые, которые так занозисто шумаркают в вагонах, которые, в сущности, ничего...» (стр. 278–282); [152] «Вот тебе старший наш Глупов... барки и лодки остановились и оцепенели, как очарованные» (стр. 284–286); 3. «Вот тебе младший наш Глупов... Ан и выходит... выходит, что ли, достойный сын Глупова?» (стр. 288–289).

Очерк «К читателю» написан, по-видимому, в октябре–ноябре 1861 года в Твери; в декабре текст очерка был набран, послан в корректурных гранках к цензору и вызвал у него ряд замечаний. Об этом свидетельствует следующее сообщение Салтыкова в письме к Некрасову от 25 декабря 1861 года из Твери: «Посылаю Вам, уважаемый Николай Алексеевич, в 3-х пакетах, корректуру «К читателю» с сделанными как в самой корректуре, так и на особых листах изменениями. Надеюсь, что цензор пропустит; если же и затем не пропустит, то лучше совсем не печатать».

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru потому что выйдет бессмыслица». А через неделю, 3 января 1862 года, Салтыков уже запрашивал контору «Современника» о судьбе очерка: «...покорнейше прошу уведомить меня, будет ли помещена в январской книжке «Современника» статья моя «К читателю» в том виде, как она мною исправлена». Цензор пропустил переделанный Салтыковым текст, но время было упущено и очерк смог появиться не в январской, а лишь в февральской книжке журнала.

Какие именно изменения в тексте очерка были сделаны Салтыковым в декабре 1861 года, установить в настоящее время в точности невозможно, так как ни цензорская корректура, ни наборная рукопись неизвестны. Несомненно, однако, что текст чернового автографа содержит ряд вариантов первоначальной доцензурной редакции очерка. Впервые они были выявлены и опубликованы Б. М. Эйхенбаумом.[153] Эти варианты существенно дополняют смысл очерка; важнейшие из них приводятся в разделе «Из других редакций», а также в примечаниях к соответствующим местам текста.

Из особенностей печатных текстов очерка следует отметить лишь отсутствие фрагмента «Какие же тут могут быть еще сочинения?.. Und ich war in Arcadien geboren...» (стр. 292) в третьем издании сборника «Сатиры в прозе» (1885), где он пропущен, вероятно, случайно, в результате типографской погрешности, которая была исправлена при следующей публикации (Сочинения, т. II, изд. автора, СПб. 1889).

Очерк «К читателю» открывает сборник «Сатиры в прозе», но его трудно назвать вступлением. Он является своеобразным итогом идей и мыслей, пронизывающих всю книгу, объединяющим собранные в ней произведения в единое целое. В идейно-художественном отношении он состоит из двух частей. Первая из них посвящена критике либеральных и реакционных программ и выступлений, наиболее четко сформулированных в статьях Каткова, Ржевского, Юматова, печатавшихся в «Русском вестнике», «Современной летописи» и «Московских ведомостях». Вторая – рассмотрению методов и перспектив борьбы с Глуповом, принципов и программы действий революционно-демократического лагеря в этой борьбе.

Появление «К читателю» в «Современнике» вызвало ряд резких нападок на очерк со стороны либеральной и реакционной русской журналистики. А. Булкин (псевдоним А. С. Ладыженского) в «Московских ведомостях» (1862, № 136, 22 июня, стр. 1089) обвинил Щедрина в концентрации внимания на явлениях «нашей прошедшей и настоящей жизни», «имеющих интерес временный, скоропреходящий». В. Чибисов в «Одесском вестнике» (1862, № 52, 15 мая, стр. 235) бросил Щедрину упрек в пошлости, а Василий Заочный (псевдоним В. К. Ржевского) в «Северной почте» (1862, № 69, 28 марта, стр. 273) во враждебной Щедрину форме указал на связь очерка с идеями Чернышевского («каков шутник этот господин Щедрин! Пришло ему в голову написать пародию на редакторов «Современника» да и напечатать ее у них же в журнале!»).

Второй ряд критических отзывов об очерке «К читателю» содержится в статьях, посвященных разбору первого отдельного издания «Сатир в прозе». Упрек в «глубокой односторонности» щедринской характеристики «эпохи конфуза» прозвучал в анонимной заметке «Библиотеки для чтения» (1863, № 3, Библиография, стр. 42–49). Более благоприятно высказались об очерке П. В. Анненков и Н. Н. Мазуренко. Первый в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1863, № 85, 19 апреля, стр. 353–354) отметил, что «превосходные типы новых либералов, превратившихся мгновенно из грубых, животных натур в лучезарных исповедников свободы», носят на себе «прикосновение художественной руки», а второй в «Народном богатстве» (1863, № 256, 24 ноября, стр. 1) дал высокую оценку очерку, подчеркнув его злободневное общественное значение («по всей справедливости статью эту можно назвать физиологическим очерком нашей не прошлой, но настоящей жизни»).

Стр. 258...недавние, счастливые времена... – ироническое обозначение времен крепостного права.

Говоря об NN, мы не давали себе труда исследовать, какого разряда принцип вносит в общество деятельность этого человека... – В черновой рукописи суждение о NN имеет уточнение, следующее непосредственно за комментируемыми словами:

«...стоит ли он на стороне свободы и света или же принадлежит к числу приверженцев мракобесия, сторонник ли он северных штатов Американского союза, или сердце его болит о плантациях штатов южных».

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 259. И как не примкнуть, например, к NN... тогда как рядом с ним какой-нибудь ММ нахально несет свою плоскодонную морду... – Приводим вычеркнутую в рукописи сравнительную характеристику NN и ММ:

«Невозможно же запретить рассудку сознавать, что NN действительно во сто крат лучше, благороднее и гуманнее, нежели ММ, невозможно же запретить сердцу чувствовать симпатию и уважение к NN, ввиду того отвращения, которое возбуждает бесстыдство и нелепая злоба ММ. Конечно, все это указывает на зыбкость той почвы, на которой стоят наши убеждения, все это свидетельствует о нашей собственной нравственной несостоятельности, но о несостоятельности, так сказать, законной, оправдываемой естественными побуждениями души и сердца».

Как полагает Е. И. Покусаев, в характеристиках NN и ММ отразились нравственные качества двух крупных бюрократов-современников, известного писателю, – тверского губернатора графа П. Т. Баранова и орловского вице-губернатора Н. П. Вульфа (см.: Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 94).

Стр. 260. Россияне так изолгались в какие-нибудь пять лет времени... – Имеется в виду эпоха расцвета буржуазно-дворянского либерализма в 1856–1861 годах и несоответствие пустозвонных фраз и трескучих выступлений либералов их подлинным взглядам и стремлениям.

Стр. 261. Усачи – люди помещичье-крепостнической партии.

И вплоть до самых Ушаков... вилла либерального fermier Василия Александровича Кокорева... – «Вилла» Кокорева находилась вблизи станции Ушаки Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, между Тосно и Любанью. В статье «Путь севастопольцев» В. А. Кокорев писал: «Проехали и Любань. Выезжая оттуда, я объяснил всем дорогим гостям, что следующая станция, называемая Ушаки, окружена моей землей: тут стоит моя русская изба, и я прошу, подъезжая к станции, взглянуть в окна с левой стороны» («Русская беседа», 1858, № 1, Смесь, стр. 130–131).

Стр. 262. Женоподобный, укутанный пледами господин... – В рукописи «женоподобный... господин» назван по имени:

«...вы ни на минуту не допускаете мысли, что в укутанном пледами господине скрывается почтенный Михаил Никифорович Катков».

Стр. 263...защитник свободы Владимир Ржевский, путешествующий... в... образе господина Юматова... – В рукописи эти слова первоначально имели другую редакцию, потом зачеркнутую:

«...сам Владимир Ржевский, путешествующий инкогнито в скромном образе господина Пановского».

В другом месте рукописи содержится дальнейшее развитие мысли о Ржевском как защитнике «свободы для дворян» (см. прим. к стр. 271). Подробнее о Ржевском и полемике с ним Салтыкова см. в т. 5 наст. изд. – в прим. к статье «Об ответственности мировых посредников» и др.

Вы готовы вообразить себя в Икарии, где беспечально ходят нагие люди и принужденно выбрасывают из себя всякий вздор, который взбредет им в голову... – Икария – идеально-фантастическая страна, где утвердился коммунистический строй, изображенная французским утопистом Этьеном Кабе в его романе «Путешествие в Икарию» (1840). Салтыков познакомился с «утопией» Кабе в 40-е годы, в период близости к кружку петрашевцев. Он относился к ней иронически, как и ко всем другим умозрительным конструкциям будущего. Эпизода с «нагими людьми» в «Путешествии в Икарию» нет.

Стр. 264. «О моя юность! о моя свежесть!» – цитата из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 6).

...в одной и той же голове помещаются рядом такие понятия, как self-government и la libre initiative des poméschiks! – Салтыков разоблачает мнимый либерализм дворянско-помещичьих «земств», крепостническую сущность их требований. Вскоре после объявления крестьянской реформы среди дворян наметилось движение, выступающее с требованием защиты их сословных прав и привилегий. Дворянские

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «земства» неоднократно подавали петиции и адреса на имя Александра II с целью добиться прочных гарантий уплаты крестьянами выкупа. Выдвигая идею «свободной инициативы помещиков», требуя введения «системы самоуправления», суда присяжных и свободы печати, дворянские «земства» прикрывали этими либеральными лозунгами крепостнический характер своих стремлений.

Стр. 265. Недавно я, Степан Сергеич, статью господина Юматова в одной газете прочитал... писано... в каком-то Сердобске... – Статья Н. Н. Юматова «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» («Современная летопись», 1861, № 23, июнь, стр. 31), была прислана в редакцию из города Сердобска, где в это время находился ее автор, саратовский помещик (см. «Современная летопись», 1861, № 21, май, стр. 32). В ней Н. Н. Юматов выступает как пропагандист «английской джентри» на русской почве, что непосредственно связано с английской ориентацией русской крепостнической оппозиции, считавшей английское дворянство («джентри»), пользующееся вольнонаемным трудом и безвозмездно участвующее в местном самоуправлении, наиболее подходящим образцом в борьбе с нарастающим оскудением русского дворянско-помещичьего класса.

Гнейста там... – Среди идеологических источников, которые использовались публицистами дворянского лагеря в России 60-х годов, видное место занимали работы немецкого государствоведа, панегириста английской политической системы Рудольфа Гнейста (в первую очередь его труд «Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht», B-de 1-2, Berlin, 1857-1860). В статье «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» Н. Юматов ссылался на сочинение Гнейста «Englische Communal-Verfassung», черпая из него аргументы в защиту одного из программных требований дворянско-олигархической оппозиции, чтобы все основные должности в местном самоуправлении («земстве») исполнялись бы не чиновниками за жалованье от правительства, а безвозмездно местными помещиками. «Главная причина прочности английского самоуправления, – писал Юматов, повторяя Гнейста, – заключается в <...> добровольной личной повинности, которую высшие и средние классы несут, принимая на себя должность мирового судьи».

...вот и господин Юматов: Гнейс-то Гнейстом, однако и об советниках губернских правлений упомянул... – Салтыков имеет в виду следующее место в статье Н. Юматова «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале»: «Если б и советники губернского правления принадлежали к местному дворянству, то они дорожили бы общественным мнением своей родной губернии, и никто из этих советников не старался бы составить себе состояние и уйти домой на свою сторону, откуда они иногда приходят без сапог, а уходят, то есть уезжают, в карете шестериком с тысячами в кармане» («Современная летопись», 1861, № 23, стр. 31).

Стр. 266...краснорецкий буй-тур Рыков... – Вероятно, речь идет о титулярном советнике К. А. Рыкове, служившем в канцелярии рязанского губернатора. В 1859 году он был послан в город Егорьевск расследовать дело фабрикантов Хлудовых (см. прим. к комедии «Соглашение»). Это о нем писал Дубенский в статье «Косвенные налоги на фабрики» (здесь Рыков скрыт под псевдонимом «фабричный»): дела «ломает, как лутошки» и бывает «пьян почти каждый день... а вечером ходит в погребок рассказывать, как он спрашивает и допрашивает, как обманул такого-то, избил такого-то» («Вестник промышленности», 1860, февраль, Смесь, стр. 86-87). В 1861 году К- А. Рыков был переведен в город Егорьевск в качестве судебного следователя.

...мы вступаем, так сказать, в эпоху конфуза. – «Конфуз», «эпоха конфуза» – сатирические перифразы, обозначающие кризис общественного сознания и вместе с тем «кризис верхов» (кризис политики), которыми ознаменовались годы поражения России в Крымской войне и падения крепостного права, годы вызревания революционной ситуации. В рукописи после комментируемых слов имеется следующая характеристика «эпохи конфуза», в процессе работы вычеркнутая:

«Однако мы не покаялись, не пришли к такому соображению: время нынче – черт его знает даже, что за время! выползают из щелей люди невиданные, вылезают из голов мысли неслыханные – словом, столпотворение вавилонское, переведенное на русские нравы, как и водится, в виде теории. Но, с одной стороны, остаться чуждым общему движению опасно, потому что могут совсем оттереть от жизни, а с другой стороны, отказаться совсем от любезной привычки хайлить жалко, потому что привычка-то хорошая. Попробуем-ка надуть почтенную публику и, продолжая, в сущности, хайлить по-прежнему, сделаем постную гримасу, как будто и нас, дескать, коснулся луч благодати! Отсюда бархатистая слизистость выражений, отсюда балетная

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
грациозность движений, отсюда конфуз».

Стр. 267...истинным насадителем конфуза был... И. С. Тургенев... – Салтыков высоко ценил тургеневские образы «лишнего человека». «...Вы в своих произведениях создали тип лишнего человека, – говорил Салтыков Тургеневу в беседе, состоявшейся весной 1876 года в Париже. – А в нем сама русская жизнь отразилась. Лишний человек – это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет» («И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», изд. «Academia», М. – Л. 1930, стр. 120). В рукописи суждение о Тургеневе как «насадителе конфуза» имеет и другую, более полную редакцию:

«Эпоху эту еще в сороковых годах предрекал наш почтенный писатель Иван Сергеевич Тургенев своими Гамлетами Щигровского уезда, своими Рудиными и проч. Как Иеремия, он призывал россиян к покаянию и убеждал их дать место чувству стыдливости в необрезанных сердцах. [И вот мы действительно восчувствовали, мы действительно уразумели, что пора перестать хайлить, что от этого у нас и промышленность плохо цветет, и науки совсем увядают, а главное, денег в кармане нет. Отсюда конфуз».]

...некоторые... помещики... удостоверяют, что первый, бросивший семена стыдливости в сердца россиян, был император французов Людовик-Наполеон. – Сатирический отклик на распространенные в помещичьей среде слухи, будто упразднение крепостного права было предпринято Александром II по требованию Людовика-Наполеона (Наполеона III), изложенному в тайной статье Парижского мирного договора, которым закончилась Крымская война.

Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов... – Зубатов и Удар-Ерыгин олицетворяют собой две стороны самодержавной власти в ее старых, «николаевских» устоях, еще не поколебленных никакими реформами. Зубатов персонифицирует самую суть этой власти, ее статут, ее «палладиум»; Удар-Ерыгин – ее исполнительный «механизм», многотысячное воинство становых, исправников и проч. Генерал Конфузов – это сатирическая персонификация правительственного курса периода кризиса верхов – курса официального либерализма.

«Delenda Carthago» – более полная формула: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен»). Этими словами заканчивал каждую свою речь в сенате римский полководец и государственный деятель Марк Катон Старший. Выражение Катона стало синонимом суровой непримиримости в отстаивании своих требований.

Стр. 268. Замухрышкин – персонаж из пьесы Гоголя «Игроки».

Стр. 269...я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инстинкты чревоугодничества с требованиями конфуза. – После этих слов в рукописи имеется следующая «сцена», убранный в процессе работы, возможно, по цензурным соображениям:

«Не далее как вчера принцесса твоего сердца доказала тебе осязательно, как это трудно, как это даже невозможно.

– Анна Ивановна! – говорил ты ей, внезапно превратившись из фокусника в сентиментального петушка, торопливо царапающего ножками землю около кокетливой хохлатки. – Анна Ивановна! пожалуйста ручку-с!

И глазенки твои искрились и бегали; на углах рта показывалась влажность.

– Нет вам руки! – сурово отвечала Анна Ивановна.

– За что же-с?

Вся утроба твоя как-то безобразно при этом хихикнула.

– Увольте Флюгерова! – решительно возражала Анна Ивановна.

– За что же-с?

– За то, что земля кругла!

- Помилосердитесь, Анна Ивановна, ведь нынче времена совсем не такие!
- Хорош же вы после этого магик!
- Анна Ивановна! перемените гнев на милость-с! простите Флюгерова, а мне пожалуйста ручку-с!
- Нет вам руки: удалите Флюгерова!
- Анна Ивановна! года четыре тому назад голову бы ему оторвал-с...
- Отчего ж не теперь?
- Теперь нельзя-с...
- Хорош же вы чревоушитель!
- Анна Ивановна! Пожалуйте ручку-с!
- Нет вам руки: удалите Флюгерова!

И ты уходишь от Анны Ивановны натошак, не получивши ляльки. Я желал бы сказать, что ты повесил нос, но не могу, потому что носа у тебя, собственно, нет, а есть нашлепка, которую даже повесить нельзя»

Стр. 269. Разбитной, Чебылкин – персонажи из «Губернских очерков»

Стр. 270. Поборники конфуза – а их не мало.. – Перед этим абзацем в черновом автографе содержится не вошедшее в окончательную редакцию очерка обещание еще раз и более обстоятельно обратиться к генералу Конфузову:

«Но о Конфузове я поговорю когда-нибудь подробнее, теперь же обращусь к дальнейшему развитию мысли, составляющей главную задачу настоящей статьи».

Стр. 271. Заглянем, например, в нашу текущую литературу... – Вместо этого абзаца и следующего за ним («Каждый час, каждая минута...») в рукописи другой текст, не попавший в печать, по всей вероятности, по причинам цензурного характера:

«Пересмотрите наши журналы, нашу текущую литературу – что за маскарад представляется глазам! Возьмите, например, в расчет одного г. Ржевского – чем не либерал! По свободе не то что тоскует, а просто, так сказать, стонет,

Стонет сизый голубочек.

Стонет он и день и ночь... –

а об бюрократии отзывается с либерализмом даже загадочным: просто, говорит, бюрократ-да и дело с концом. Ноздревы, Пеночкины и Чертопхановы только ахают да руками разводят: «ах, говорят, вот-то отца родного нашли!» Даже Рудин и Лаврецкий – и те как-то застыдились, внимая музыке речей. И никому не приходит на мысль, что г. Ржевский потому только притворяется Лафайетом, что на дворе у нас стоит масленица, а об масленице как-то неловко человеку оставаться самим собою, что его свобода есть, собственно, свобода чистить сапоги и получать за это двугривенные, а бюрократ его, собственно, не бюрократ, а что-то другое, об чем он не осмеливается доложить публике, потому что, по неопытности, еще сам достоверно не знает, что такое это «другое». Расскажи он свою мысль без утайки, объясни он все, что желают его внутренности, – сам Ноздрев бы потупился, сам Ноздрев бы оторопел».

...Корытниковы... «Проезжие» и «Прохожие»... – представители обличительной литературы и журналистики. См. о них ниже, в очерке «Литераторы-обыватели».

Стр. 272. Давно ли кн. Черкасский торжественно защищал розгу... – В статье «Некоторые общие черты будущего сельского управления» («Сельское благоустройство», 1858, № 9) славянофил кн. В. А. Черкасский, активный участник подготовки, а впоследствии и проведения крестьянской реформы, выступил вместе с тем с требованием сохранения телесных наказаний для крестьян в переходный период.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Граф Монталамбер... в русском извлечении... доказал... – Наиболее полное на русском языке изложение взглядов гр. Шарля Монталамбера дано в книге Б. Н. Чичерина «Очерки Англии и Франции» (М. 1858). Глава этой книги «О политической будущности Англии» посвящена сочинению Монталамбера «De l'avenir politique de l'Angleterre» (Paris, 1855).

Стр. 273...пустили шип по-змеиному... защелкали по-соловьинному. – Несколько измененное выражение из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

Стр. 276...потомки Бугракиных и Оболдуй-Таракановых – то есть потомки дворян-помещиков эпохи крепостного права. Буеракин – персонаж из «Губернских очерков» («Талантливые натуры»); престарелый князь Оболдуй-Тараканов – впервые появляется в «Скрежете зубовном» и эпизодически проходит через очерк «К читателю», а также позднейшие сатирические циклы: «Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге» и «Современная идиллия».

Стр. 277...памятуя правило пресловутого Расплюева, что жаловаться следует тогда только, когда хватят, что называется, до бесчувствия. – В несколько измененном виде использовано выражение Расплюева из пьесы А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» (действие II, явление 2).

Стр. 279. «Все это», «химеры», «абстрактность», «скандал», «хористы» – эти эзоповские выражения Салтыкова служат разоблачению позиции, занятой идеологами дворянско-помещичьего либерализма в развернувшейся борьбе за социально-политические преобразования («все это»). Страшась народных масс («хористов»), напрягая все усилия, чтобы избежать революции («скандала»), либералы пытались скомпрометировать как нереальные те освободительные идеи («химеры», «абстрактность»), с которыми выступала русская революционная демократия.

Стр. 280...я мысленно созерцаю процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы... – Речь идет об опере Джакомо Мейербера «Пророк» (1-я редакция, 1843 г.), которая шла в России под названием «Осада Гента», затем «Иоанн Лейденский». Содержащиеся в ней яркие картины народного движения и борьбы масс производили острореволюционное воздействие на радикально настроенную молодежь.

Стр. 282. Сеня Бирюков, Бернгард Форбрихер! Федя Козелков! – персонажи, прошедшие через ряд произведений Салтыкова 60-х – начала 70-х годов: Бирюков фигурирует в очерках «Клевета» и «Наши глуповские дела», в «Помпадурах и помпадуршах», в «Дневнике провинциала»; Форбрихер – в очерках «К читателю» и «Наши глуповские дела»; Козелков – в «Клевете», в «Признаках времени» и в «Итогах».

Стр. 286. Дантист – сатирическое наименование полицейского, практикующего кулачную расправу. Слово «дантист» в смысле «зубодробитель», «герой зубосокрушающей силы» впервые употреблено Гоголем в «Мертвых душах» (т. I, гл. 10).

Стр. 288...вскидывая вилами навоз на телеги и потом раскидывая его по полям. – Вслед за этими словами в рукописи следует развитие мысли о бедности сознания толпы и, вследствие этого, ее пассивности:

«Поставьте себя на место этой толпы, возьмите самую легкую работу, которую каждый из ее членов обязывается исполнять ежедневно, и вы увидите, много ли у вас останется времени и силы для самоусовершенствования, и не будете ли вы больше об том помышлять, чтобы как можно скорее забыться в тяжелом сне, а завтра опять приняться за оглушающую работу и опять искать забвения ее в сне!»

Стр. 288. Но... толпа... живет... под влиянием действий эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту. – В рукописи это место имеет более распространенную редакцию, содержащую, в частности, упрек толпе в том, что она не пробовала «обняться с силою», то есть встать на путь организованной революционной борьбы. Приводим этот текст:

«Но сверх того, толпа имеет ту же непреклонную веру в роковую неизбежность силы, как и сам преследуемый. Она живет не под влиянием умозрений, не под влиянием действия эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Она пробовала прятаться от силы в лесах, она пыталась скрываться от нее в пещерах и везде была постигнута и накрыта. А задача постигнута была нелегка, ибо известна лесистость нашего отечества. Одного она не пробовала – это обняться с силою, приголубить ее, так сказать...

И еще, сверх того: толпа видит в несчастьи своего ближнего отвлечение от горечи своего собственного несчастья. «Не мы одни страдаем» – великое утешение для организмов простых, так сказать, первоначальных. «Хорошенько! накладывай ему!» – вопит гнусная толпа, которая чувствует, что каждый из нее, будучи на месте дантиста (тоже одного из толпы), поступил бы точно так же, как и он. И точно так же поступил бы и на месте преследуемого. Ибо каждый был в своей жизни тысячу раз и дантистом и преследуемым».

Стр. 289...добросовестного выбирать... – Каждое городское общественное управление, состоявшее из лиц купеческого и мещанского сословий, избирало из своей среды «добросовестных свидетелей» – род понятых – для присутствия при описи имущества, составления протоколов и т. п.

Стр. 290...мои отставные герои: Фейеры, Живновские, Чебылкины, Порфирии Петровичи... – К моменту создания очерка «К читателю» упоминаемые здесь персонажи «Губернских очерков» и ряда других связанных с этим циклом произведений «ушли в отставку» в щедринской сатире, уступили в ней место «героям» глумовского возрождения.

Стр. 292. Ах, люби меня без размышлений... – Первая строка из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata» (1845). Цитируемая ниже строка «Что тут думать! я твоя, ты мой!..» – также из этого стихотворения.

Und ich war in Arcadien geboren... – Начальная строка стихотворения Ф. Шиллера «Resignation».

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

Впервые – в журнале «Русская беседа», 1859, кн. 16, стр. 13–32 (ценз. разр. – 3 июля), под заглавием: «Из «Книги об умирающих». I. «Госпожа Падейкова»». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились две рукописи рассказа. Черновая не имеет заглавия, она помечена римской цифрой III и отличается от печатного текста главным образом своей заключительной частью. [154] Текст белого автографа отличается от текста черновой рукописи незначительными вариантами стилистического характера, возникшими при переписке, и несколькими карандашными вставками на полях. Некоторые пометы и вычерки в белом автографе (синий и красный карандаш) свидетельствуют о постороннем, возможно редакционном, вмешательстве в текст произведения. Так, например, в начале рассказа, где говорится о проницательном взоре Прасковьи Павловны – «до того проницательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременностью» (стр. 295–296); последние слова («своей беременностью») вычеркнуты синим карандашом, а сверху чьей-то рукой написано: «своих грешков». В журнале вместо «своих грешков» явились слова «своей провинности», которые в первом издании сборника «Сатиры в прозе» (1863) уступили место первоначальному авторскому тексту. В этом же абзаце вычеркнуты слова: «насчет кучера Фомки... все его дворовые ненависти и симпатии». Салтыков не согласился с этим сокращением и против зачеркнутого фрагмента на полях пометил: «писать». Редакция журнала все же настояла на своем, и развитие мысли о «честном» вдовстве помещицы исчезло из текста рассказа. Лишь в 1934 году К. И. Халабаев и Б. М. Эйхенбаум в т. III изд. 1933–1941 годов возвратили исключенный из прижизненных публикаций текст на свое законное место.

Интересна первоначальная редакция заключительной части рассказа. Прасковья Павловна едет по делам в город и на обратном пути вдруг чувствует, что внутри у нее что-то мутит. Далее следовало такое окончание:

«Однако, так как ее целый месяц только и делало, что мутило, то она не обратила особенного внимания на это обстоятельство. Приехавши домой, она отдохнула и даже попросила малосолевой севрюжки, до которой была страстная охотница, но тут случилось нечто, что вновь и сильно ее расстроило. Акулина доложила ей, что любимая ее девчонка, Надёжка, которую, несмотря на ее осьмнадцать лет, все в доме (за исключением, однако ж, повара Петрушки), считали еще девчонкой, по всем приметам оказалась с прибылью. Прасковья Павловна, которая была на нравственность черт, вышла было в девичью, чтоб распорядиться, но вдруг

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вспомнила, что Надёжка такая же барыня, как и она, и что ничего другого ей не остается, как проглотить пилюлю. Тем не менее должно полагать, что пилюля засела далеко, потому что едва успела Прасковья Павловна скушать за ужином последний кусок, как почувствовала, что та самая севрюжка, которая только что была ею съедена, начала подступать ей прямо к сердцу.

– Ай, севрюжка! ай, батюшки, севрюжка! – вскрикнула она не своим голосом.

Прибежала Акулина, прибежали и прочие «дворянки», как она называла в последнее время своих дворовых девок; начали тереть ей ладони, дуть в глаза, но все усилия остались тщетными.

Прасковья Павловна лежала без жизни. Не вынесла севрюжки русская барыня!»

Этот текст, отмеченный красным карандашом, Салтыков перечеркнул и приложил к рукописи отдельный лист, содержащий новую редакцию финала, которая и была напечатана в «Русской беседе».

Рассказ «Госпожа Падейкова» предназначался для «Книги об умирающих» и был, вероятно, намечен к публикации в «Московском вестнике» в качестве третьего (после «Зубатова» и «Гегемониева») звена из задуманного цикла. Только этим можно объяснить цифру III, заменяющую заглавие в черновой рукописи. Однако в процессе работы, которая протекала, как можно предположить, в мае – июне 1859 года, то есть после появления на страницах «Московского вестника» первых произведений из «Книги об умирающих», намерение Салтыкова изменилось: «Госпожа Падейкова» была обещана редакции «Русской беседы». Начинать сотрудничество в журнале с публикации на его страницах третьей главы из цикла о «ветхих людях», другие части которого напечатаны в «Московском вестнике», Салтыков не нашел возможным, а поэтому уже при переписке черновика рассказ получил заглавие: «Из «Книги об умирающих». I. «Госпожа Падейкова»», свидетельствующее о намерении Салтыкова продолжать как работу над «Книгой об умирающих», так и сотрудничество в «Русской беседе». Однако намерение это осуществлено не было: «Госпожа Падейкова» была последним рассказом, появившимся с обозначением его принадлежности к «Книге об умирающих», и единственным произведением Салтыкова, напечатанным на страницах «Русской беседы».

В «Госпоже Падейковой» Салтыков создал характерный для последних предреформенных лет тип русской помещицы, озлобленной и испуганной слухами о предстоящей отмене крепостного права. «Один слух о чем-то новом, – замечает критик Е. Н. Эдельсон, – о каком-то яде, который действует во всех подвластных ей феклушках, Маришках, Порфишках и Прошках, выбивает ее совершенно из обычной колеи, запутывает все ее понятия, все отношения, кажет ей повсюду какие-то призраки и, наконец, окончательно сокрушает ее, когда сосед-дворянин привозит ей известие, что оно уже кончено». [155]

Цензурные материалы о рассказе «Госпожа Падейкова» неизвестны, если не считать краткой характеристики его в докладе министра народного просвещения Александру II от 31 июля 1859 года, где вслед за изложением содержания находим лаконическую оценку произведения: «Остроумная эта карикатура набросана с свойственным Щедрину талантом». [156]

Спустя два года после появления рассказа помещица Падейкова, все еще воспринимающая отмену крепостного права как личное оскорбление и ущемление своих сословно-дворянских привилегий, вновь промелькнула на страницах статьи Салтыкова «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» (см. в т. 5 наст. изд.): «И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, на весь околоток визжит, что честь ее поругана, что права ее попораны...»

Стр. 295. В конце не помню уж какого года... – В черновой рукописи читаем: «В конце 1857 года...» (первоначальная редакция: «В конце ноября 1857 года...»). См. след. прим.

...двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита... – 20 ноября 1857 года Александром II был дан «высочайший» рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову, в котором «разрешалось» дворянству ряда западных губерний приступить к составлению проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Этот рескрипт явился выражением официальной программы правительства по вопросу об отмене крепостного права и означал практический

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
приступ к реформе.

Тандрессы – нежности (франц. *tendresses*).

Стр. 298...чтоб этого зла не было! – то есть отмены крепостного права.

Стр. 300...французу по губам помазать... – см. прим. к стр. 267.

И в древности Сим-Хам-Иафет были-с, и на будущее время нет им резона не быть-с!
– В Библии старшие сыновья праотца Ноя – Сим и Иафет за почтение к отцу получили благословение, тогда как младший сын, Хам, за непочтительное отношение был предан проклятию и весь род его на веки вечные обречен на рабское подчинение родам Сима и Иафета («Бытие», IX, 18–29).

НЕДАВНИЕ КОМЕДИИ

СОГЛАШЕНИЕ

Впервые – в журнале «Время», 1862, № 4, стр. 187–206 (ценз. разр. – 6 апреля), вместе с пьесой «Погоня за счастьем». Общее заглавие: «Недавние комедии».

Подпись также общая: Н. Щедрин.

Рукописный материал пьесы сохранился не полностью. В нашем распоряжении имеются три черновых автографа. Они содержат фрагменты сцен I и II. Одна из рукописей – на бланке советника Вятского губернского правления 50-х годов.

«Соглашение» – в первоначальной редакции «Съезд» – написано в сентябре – октябре 1859 года в Рязани. Пьеса представляет непосредственный отклик на события, относящиеся к подготовке отмены крепостного права. Проект крестьянской реформы, разработанный Редакционными комиссиями, предполагалось обсудить с депутатами губернских комитетов. В конце августа 1859 года представители двадцати одного комитета, так называемые «депутаты первого приглашения», прибыли в Петербург. Вместе с ними были вызваны предводители дворянства. По возвращении на места они должны были разъяснить помещикам своих губерний неизбежность того проекта реформы, на который правительство вынуждено было пойти в условиях складывавшейся в стране революционной ситуации. Этот этап подготовки реформы и нашел отражение в остросатирических сценах собрания, или «съезда», помещиков в доме предводителя дворянства, только что вернувшегося из Петербурга, где он участвовал в обсуждении «современного вопроса».

Другая злободневная тема, проходящая через всю пьесу, связана с так называемой «хлудовской историей», в расследовании которой Салтыков принял активное участие в период службы вице-губернатором в Рязани. Суть дела заключалась в следующем. Воспользовавшись стремлением помещиков обезземелить крестьян накануне реформы, с целью сохранить в своих руках наибольшую часть земельных угодий, купцы Хлудовы (в пьесе «купец Прохладин»), владельцы крупной бумагопрядильной фабрики в городе Егорьевске Рязанской губернии, предложили помещикам за хорошую цену мошенническую сделку: крестьянам и дворовым людям тайно от них давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с фабрикантом. В 1860 году Салтыков написал о «хлудовской истории» статью «Еще скрежет зубовый», которая была запрещена цензурой и появилась в печати лишь в 1915 году (см. т. 5 наст. изд.).

Социально-политическая острота пьесы «Соглашение», резкое обличение в ней классового своекорыстия помещиков в крестьянском вопросе осложнили и надолго задержали появление произведения в печати. Работа над пьесой была завершена к середине октября 1859 года. В ответ на просьбу А. В. Дружинина прислать что-нибудь для «Библиотеки для чтения» Салтыков 18 октября 1859 года писал: «У меня есть одна вещица, но она из быта помещичьего (съезд дворян по случаю современного вопроса)». Опасаясь, что пьеса встретит возражения со стороны петербургской цензуры, Салтыков сначала намеревался напечатать ее в Москве, где ему «дали слово пропустить» пьесу в печать. Однако просьба Дружинина несколько изменила планы: «Если Вы думаете, что пропуск возможен и в Петербурге, – замечает он в том же письме, – то напишите: я к Вам ее вышлю». 20 ноября рукопись была отправлена из Рязани в Петербург Дружинину: «...Посылаю к Вам, многоуважаемый Александр Васильевич пьесу «Съезд». Если цензура допустит, то прошу Вас напечатать ее в «Библиотеке для чтения», в январе или феврале».

Петербургская цензура встретила пьесу недоброжелательно. Справляясь о ее судьбе,

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
16 января 1860 года Салтыков писал П. В. Анненкову:

«Может ли быть пропущен «Съезд», посланный мною к Дружинину? Он ничего не пишет, хотя я покорнейше просил его уведомить меня». Цензурные мытарства затянулись на несколько месяцев. 13 февраля 1860 года Салтыков предупреждал Дружинина: «Если «Съезд» все-таки не пропущен, то и его оставьте у себя до личного моего свидания с Вами. Во всяком случае я заменю его другою статьею, которую, по всей вероятности, и привезу с собою». В конце концов пьеса была окончательно запрещена, и Салтыков, видимо, до 1862 года не предпринимал попыток провести ее в печать.

Во время своего пребывания в Петербурге осенью 1861 года Салтыков «случайно» встретился с Ф. М. Достоевским, который «весьма убедительно» пригласил его сотрудничать во «Времени» (см. «Гг. «семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»» в т. 6 наст. изд.). Салтыков принял предложение Достоевского и 30 марта 1862 года послал ему из Твери «две драматические сцены»: «Соглашение», как стала теперь называться пьеса «Съезд», и «Погоня за счастьем». Они были объединены общим заглавием «Недавние комедии».

Появление «Недавних комедий» оживленных откликов прессы не вызвало. Лишь в «Северной почте» (1862, № 102, 12 мая) В. К. Ржевский – под псевдонимом Василий Заочный – обвинил Салтыкова в подражании «Дворянским выборам» Ф. А. Зиновьева («Современник», 1862, № 2), да В. Чибисов в «Одесском вестнике» избрал «Недавние комедии» поводом высказать свое неприязненное отношение ко всему творчеству Салтыкова, художественному и публицистическому.

Спустя полвека, в 1911 году, пьеса «Соглашение» была представлена в драматическую цензуру. Пьесу предполагалось поставить на сцене в связи с 50-летием крестьянской реформы. Однако она была «к представлению признана неудобной». Цензор С. К. Ребров дал ей такую характеристику в своем рапорте: «Пьеса из времен крепостного быта, и ведутся разговоры, соответствующие этой эпохе. В конце пьесы автор рисует противодействие дворян реформе 19 февраля. Дворяне будут соглашаться на все, однако впоследствии все вернут на старый путь. Вследствие возбуждения неудовольствия одного сословия против другого, пьеса эта неудобна к постановке на сцене». [157]

Стр. 312. Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят! – Эти слова помещика Мошинского, неоднократно повторяемые в пьесе, непосредственно восходят к словам одного из участников «хлудовской истории» (см. выше), помещика Василия Введенского. Этот помещик в письме к директору бумагопрядильни Хлудовых англичанину Отсону просил прислать ему денег, обещая дать за это на фабрику еще «девок», от «которых для него больше выгод, нежели от мужчин» (Государственный архив Рязанской области, ф. 5, оп. 50, св. 247, ед. хр. 13. – «Дело о приписке крестьян купцом Хлудовым в Егорьевское мещанство», л. 439. Сообщено И. В. Князевым).

Стр. 314...со всеми, и с малолетними-с... – Эти слова, отсутствующие во всех прижизненных изданиях, вероятно, по цензурным причинам, восстанавливаются по сохранившемуся фрагменту рукописи (впервые в т. III изд. 1933–1941 годов).

Стр. 319. Тот, которого считают богачом, может вдруг оказаться... хуже Лазаря!.. – См. прим. к стр. 73.

Стр. 329. Предика – наставление, поучение (от. лат. *praedico*).

Согласен! дда!.. Только уж тово... по мордасам... бббуду! Ххоть ммил-лион штрафу... а ббббуду! – Образ отставного капитана Постукина восходит к рязанской действительности. 29 июля 1858 года Салтыков писал В. П. Безобразову: «На одном дворянском собрании один отставной военный долго крепился и молчал, но под конец не выдержал и выразился так: «Отлично, господа! все это хорошо! Только я вам вот что скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафу положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки буду!» Отставной капитан Постукнн и его сентенция упоминаются и в других произведениях Салтыкова 60-х годов («Скрежет зубовный», «Литераторы-обыватели», «Клевета»).

ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ

Впервые – в журнале «Время», 1862, № 4, стр. 207–223 (ценз. разр. – 6 апреля), вместе с пьесой «Соглашение». Общее заглавие: «Недавние комедии». Подпись также

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
общая: Н. Щедрин.

Рукописный материал пьесы общий с очерком «Наши глуповские дела», в состав которого она первоначально входила. Сохранились две рукописи, черновая (последний лист – на бланке советника Вятского губернского правления) и беловая. Первая заключает в себе полный текст пьесы, вторая обрывается в VI явлении словами Пересвет-Жабы: «...конечно, такое желание законно во всякое время; но согласитесь» (см. стр. 337). Тексты беловой и черновой рукописи близки к печатному. Название «Погоня за счастьем» пьеса получила после изъятия ее из состава очерка «Наши глуповские дела» и оформления в качестве самостоятельного произведения. В обеих рукописях она озаглавлена лишь по жанровому признаку: «Комедия».

Документальные данные о работе Салтыкова над пьесой отсутствуют. Время написания «Погони за счастьем» определяется лишь приблизительно по содержанию пьесы и ее первоначальному композиционному единству с очерком «Наши глуповские дела». «Новые места», искателями которых выступают посетители служебной приемной генерала Зубатова, – это места мировых посредников, институт которых был введен на основании

«Положений 19 февраля». Генерал Зубатов – он губернатор, что не могло быть обозначено ремаркой по цензурным причинам, – отказывает просителям, мотивируя свой отказ тем, что на эти места могут быть назначены лишь помещики данной губернии, имеющие высшее образование. Именно такое требование предъявлялось к мировым посредникам «Положениями 19 февраля». Избрание мировых посредников происходило в марте – апреле, а в мае – июне 1861 года они повсеместно приступили к исполнению своих обязанностей. Таким образом, «Погоня за счастьем» написана скорее всего летом или осенью 1861 года, но не позднее ноября, когда был подготовлен к печати очерк «Наши глуповские дела», в состав которого входила пьеса.

После исключения из очерка «Наши глуповские дела» «Погоня за счастьем» была объединена с пьесой «Соглашение» общим заглавием «Недавние комедии» и 30 марта 1862 года отправлена в Петербург Ф. М. Достоевскому для помещения ее в журнале «Время».

На сцене «Погоня за счастьем» не ставилась. Ее постановка была подготовлена Александрийским театром для бенефиса вторых режиссеров и суфлеров 30 апреля и 1 мая 1905 года, но в последний момент она была отменена, видимо, не без вмешательства цензуры[158]

Стр. 331...пора ей к Матрене Ивановне ехать... – Современники без труда узнавали в «Матрене Ивановне» салтыковской сатиры 50–60-х годов скандально известную в ту пору Мину (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку министра двора, престарелого графа В. Ф. Адлерберга. Герцен называл ее в «Колоколе» «Слоаса Махита современных гадостей» и писал о ее закулисной всемогущести: «Там, где нет гласности, там, где нет прав, а есть только царская милость, там не общественное мнение дает тон, а козни передней и интриги алькова. Там какая-нибудь Мина Ивановна перевесит негодование и стон целого города» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XIII, изд. АН СССР, М. 1958, стр. 81, 89). В произведениях Салтыкова Мина Ивановна выступает также под именами Каролины Карловны («Жених») и Клары Федоровны («Тени»).

Стр. 338...скажите, что Тамберлик и Кальцоляри ждут... – Во время создания пьесы «Погоня за счастьем» гастролировавший в Петербурге знаменитый певец-тенор Энрико Тамберлик с огромным успехом выступал на сцене петербургской итальянской оперы вместе с Энрико Кальцоляри, премьером этой оперы, также тенором.

Стр. 346. «Jeune fille aux yeux noirs» – романс французского композитора Т. Лабарра на слова А. Бетурне. написан в 1834 году и пользовался большой популярностью в России. В произведениях Салтыкова упоминается неоднократно.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

Впервые – в газете «Московский вестник», 1859, № 46, стр. 573–575 (ценз. разр. – 30 октября), под заглавием «Погребенные живо. Драматическая сцена». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранился беловой автограф с правкой. Заглавие в рукописи: «Современные

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru разговоры. I. Оставшиеся за штатом». Текст соответствует журнальной публикации произведения. На полях рукой Салтыкова сделана следующая запись:

«1. Картина, изображающая Россию в виде здоровой женщины или кормилицы; кормит с ложечки расслабленного фариса; 2. Политипаж, изображающий почтовую марку, из-за которой сверху виднеются рожки, снизу козлиные ноги, сбоку выдается рука с когтями, держащая знамя, на котором написано: fraternité, égalité и пр. В стороне валяется конверт с зачеркнутым штемпелем; 3. Политипаж, изображающий вход в цирюльню: надпись над дверью: «здесь стригут и бреют»; 4. Политипаж: визитная карточка «Гр<ажданский> губ<ернатор> П<етр> Т<олстолобов>»; 5. Политипаж, изображающий Петра Толстолобова, с остервенением приучающегося писать П. Т.; 6. Политипаж: крыльцо Инсп<екторского> д<епартамен>та, на котором стоят господа в вицмундирах, с открытыми и наивными физиономиями; глаза и лица обращены к публике, руки указывают на д<епартамен>т; все на одно лицо: одни повыше, другие пониже, одни потолще, другие похудее; 7. Политипаж: Андр<ей> Ив<аныч> и Ив<ан> Андр<ейч> с бумагой в руках, с наивно радостными лицами, сзади толпа господ в вицмундирах (старого покроя), все очень похожи на Ив<ана> Андр<ейча> и все рады; 8. Политипаж: собеседники стоят. В лице их видно некоторое затруднение. Ив<ан> Андр<ейч> растопырил ноги по-детски».

Эта запись, ранее в печати неизвестная, является, по-видимому, перечнем-характеристикой сюжетов для задуманных, но неосуществленных иллюстраций («политипажей») к «сцене». Запись позволяет высказать предположение, что «Недовольные» («Погребенные заживо») первоначально предназначались для публикации в каком-то иллюстрированном издании, скорее всего, в известном сатирическом журнале «Искра», в котором в 1860 году Салтыков напечатал статью «Характеры» (см. т. 4 наст. изд.), и представляют собой первый и единственный номер из задуманной для этого издания, но по каким-то мотивам оставшейся неосуществленной, иллюстрированной драматической сюиты «Современные разговоры». Эта сюита близка по своему идейному содержанию к создававшейся в то же время «Книге об умирающих». «Оставшиеся за штатом» действительные статские советники дополняют и разнообразят галерею «ветхих людей» и становятся в салтыковской сатире в один ряд с Гегемониевым, Зубатовым, Падейковой.

Как всегда у Салтыкова, в «сцене» отразились злободневные, отлично известные ему по служебной практике, события в административно-чиновничьем мире. Как раз в 1859 году в связи с правительственным курсом на либерализм и предстоящими реформами была предпринята крупная «чистка» кадров николаевской бюрократии. «Штаты сокращаются на целые сотни и тысячи чиновников», – сообщил Н. А. Добролюбов А. П. Златовратскому в апреле 1860 года. [159] Вопрос о судьбе сокращаемых старых чиновников и о выдвижении на их место молодых сил бюрократии живо обсуждался в общественных толках и в печати. [160]

«Сцена» «Недовольные» («Погребенные заживо») была третьим (после «Зубатова» и «Гегемониева») и последним произведением Салтыкова, появившимся на страницах еженедельного журнала «Московский вестник», фактическим редактором которого был школьный товарищ и друг Салтыкова И. В. Павлов. В 1863 году Салтыков включил «сцену» под тем же заглавием, под каким она была опубликована в журнале, в сборник «Сатиры в прозе», где она вошла третьим номером в состав «Недавних комедий». В 1881 году Салтыков изменил заглавие пьесы на «Недовольные», ввел ее во второе издание сборника «Сатиры в прозе» в качестве самостоятельного произведения и исключил из текста сцены фрагмент, посвященный сатирическому изображению деятельности комитета по сокращению делопроизводства и переписки (см. ниже).

В современной критике «сцена» не получила заметного отклика; лишь, в 1863 году, после выхода в свет первого издания сборника «Сатиры в прозе», обратил на нее внимание критик Н. Н. Мазуренко: ««Погребенные заживо», – писал он, – живые, всем нам знакомые лица! И, к сожалению, вовсе не погребенные; напротив, здравствуют, живы, здоровы, даже веселы и чужой силой сильны». [161]

На сцену «Недовольные» попали лишь полвека спустя после появления их в печати. Впервые «сцена» была поставлена Александрийским театром в Петербурге 23 апреля 1905 года (спектакль в пользу Литературного фонда). Два года спустя, 1 мая 1907 года, «Недовольных» играли в бенефис суфлеров и помощников режиссеров, а в апреле 1914 года «сцена» была включена в программу спектакля, посвященного 25-летию со дня смерти Салтыкова-Щедрина. Роли исполнили: Андрея Иваныча – К. А. Варламов и В. Н. Давыдов; Ивана Андреича – П. М. Медведев и К. Н. Яковлев. [162]

Стр. 347. Федора Федорыча можно бы в сенаторы-с... С сохранением, разумеется... – Существовали две формы перемещения уволенных в отставку крупных чиновников на почетные должности в высшие государственные учреждения империи – с сохранением содержания по прежней службе и без сохранения.

Стр. 348. «Аксиос» – см. прим. к стр. 35.

Стр. 349. И вдруг-с: сперва штемпельные конверты, а потом и этого мало показалось – марки выдумали! – Штемпельные конверты в России были введены в 1845 году для городской почты Петербурга и Москвы, в 1848 году – для других городов. Первая почтовая марка появилась в России в 1857 году.

Нумерами какими-то окрестили – налево чет-с, направо нечет-с... – Нумерация домов в Петербурге с разбивкой на четные (правая сторона) и нечетные (левая) была проведена еще в 1834 году (см. А. Греч. Весь Петербург в кармане, СПб. 1851, стр. 392). Упорядочение городской номерной системы было произведено летом 1859 года.

Комитет о сокращении переписки. – Комитет по сокращению делопроизводства и переписки был учрежден при министерстве внутренних дел в 1853 году и закрыт «по окончании возложенных на него занятий» 4 апреля 1861 года. В 1859 году деятельность комитета была расширена – ему была поручена разработка «предположений об улучшении вообще губернских правлений», что вызвало многочисленные толки и оживленные обсуждения в чиновничьих кругах. Первоначальная редакция фрагмента, посвященного этому комитету, была значительно полнее. В 1881 году, при подготовке к печати второго издания сборника «Сатиры в прозе», Салтыков исключил большую часть фрагмента из «сцены», оставив в ней лишь краткое упоминание о комитете, деятельность которого осталась фактом административно-бюрократической жизни конца 50-х годов и была неизвестна новому читателю. В рукописи, в журнальной редакции и в первом издании сборника «Сатиры в прозе» после слов: «...одни буквы начальные» – читаем:

«Иван Андреич. Тсс...

Андрей Иваныч. Да. В Крутогорске губернатором Петр Толстолобов был... Ну, и подписывался, бывало: «гражданский губернатор Петр Толстолобов». А недавно вот, на последних уж днях, получается от него в отделеньи бумага. Смотрим: «гр. губ. П. Т...» Даже Иван Фомич рот разинул!

Иван Андреич. Чай, запросец-с?

Андрей Иваныч. Чист вышел! Так велено!

Иван Андреич. Тсс... Однако, «гр. губ.» все-таки оставили?

Андрей Иваныч. Ненадолго.

Иван Андреич. Я думаю, ваше превосходительство, сколько он бланков перепортил, прежде нежели сокращенным-то образом подписываться выучился!

Андрей Иваныч. Самую жизнь проклял.

Иван Андреич. Ай да комитет!

Андрей Иваныч. Н-да! Это комитет штучка!

Иван Андреич. Надо полагать, что от него и в инспекторский департамент стрела пошла.

Андрей Иваныч. А от кого же?

Иван Андреич. Ну, скажите на милость! А кому он какое зло сделал?

Андрей Иваныч. Никому.

Иван Андреич. Я так даже полагаю, ваше превосходительство, что это были самые невинные люди... Горько это, ваше превосходительство!

Андрей Иванович. И весьма.

Иван Андреич. Конечно, они, как люди невинные, выходя из здания, в котором провели лучшие часы свои, могут с чистым сердцем произнести: «Мы свое дело сделали, а там буди его святая воля...»

Андрей Иванович: И все-таки горько».

Стр. 352. В вицы, сударь, ко мне, в вицы! – то есть в заместители, на должность вице-директора.

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

Впервые – в журнале «Современник», 1860, № 1, отд. I, стр. 377–408 (ценз. разр. – 21 января). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись, текст которой очень близок к печатному. Конец рукописи утрачен (начиная со слов: «...порвалась нить», см. стр. 379).

«Скрежет зубовой» – одна из щедринских сатир на либеральную «гласность» и «постепенность» – написана в конце 1859 года в Рязани. Рукопись была послана Салтыковым П. В. Анненкову 29 декабря с просьбой передать ее в «Современник». Но заключительная часть очерка (после черты) – описание бессонной ночи, а затем «Сон» – была написана раньше первой и первоначально предназначалась для «Книги об умирающих», по-видимому, в качестве ее эпилога (см. об этом незавершенном замысле выше, в статье о «Невинных рассказах»). Об этом свидетельствует не только содержание заключительной части статьи. В рукописи эта часть «Скрежета зубового» была первоначально самостоятельным произведением. Оно имело свое заглавие – «Смерть» и эпитафия – «Pallida mors» (из Горация). Впоследствии заглавие и эпитафия были зачеркнуты, а текст эпилога присоединен к «Скрежету зубовому».

Замысел сказочного эпилога к «Книге об умирающих» сложился у Салтыкова еще в середине 1857 года: в письме к И. В. Павлову от 23 августа Салтыков сообщал, что цикл о «ветхих» людях будет завершаться историей «о том, как Иванушко-дурака за стол посадили, как он сначала думает, что его надуют и т. д. Выйдет недурно, – прибавляет Салтыков, – только как бы того... не посекали». Более подробно этот замысел охарактеризован в письме к И. С. Аксакову от 17 декабря того же 1857 года: «В заключение: эпилог, в котором Иванушко-дурачок снова выступает на сцену: судит и рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше... я предположил себе постоянно проводить мысль... о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака. Мысль эта высказывается во всех моих сочинениях... но здесь она выступит еще яснее». Из этих писем видно, какое важное значение придавал Салтыков «эпилогу» к «Книге об умирающих».

В письме от 16 января 1860 года он обратился к П. В. Анненкову со следующей просьбой: «Относительно «Скрежета» позвольте мне одну просьбу. Может быть, цензура затруднится пропустить его, имея в виду «Сон», который, в сущности, и заключает в себе всю мысль этой статьи. В таком случае можно было бы сон выпустить, но таким образом, чтобы читатель догадывался, что есть нечто. А именно, я полагал бы заключить статью так:

СОН

.

и больше ничего. Это единственная уступка, которую я могу сделать, а иначе статья утратит весь свой запах». Но цензура, к удивлению Салтыкова, пропустила «Скрежет зубовой», не обратив внимания на «Сон». «Странно, что «Съезд» не пропускают, а «Скрежет зубовой» пропустили, хотя последняя вещь гораздо сильнее и резче», – писал Салтыков А. В. Дружинину 13 февраля 1860 года из Рязани. Однако, как показывает сличение рукописного и печатного текстов, кое-какие купюры и замены в очерке пришлось сделать – самому Салтыкову или редакции. Так, например, явно по причинам цензурного характера были опущены при публикации три абзаца – о «деревенском лорде», «ябеднике» и «столоничальнике» (см. стр. 378). Эти купюры, как и некоторые другие изменения цензурного характера, были впервые устранены из щедринского текста при подготовке издания 1933–1941 годов.

В делах цензурных учреждений сохранился лишь краткий отзыв о «Скрежете зубовом»

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru в докладе министра народного просвещения Александру II от 11 февраля 1860 года: «Рассказать содержание этой статьи Щедрина невозможно: это есть сатира на многие стороны нашей общественной жизни, а более всего на страсть красоваться и ораторствовать, злоупотребляя громкими словами, которыми нередко прикрываются весьма непохвальные стремления. Чертя ряд карикатур, автор обнаруживает много фантазии и остроумия». [163]

Современники подчеркивали злободневность и резкую сатирическую направленность очерка. «Статья Щедрина, по моему мнению, – писал А. Н. Плещеев Н. А. Добролюбову 12 февраля 1860 года, – одна из самых ехидных его статей. Много яду пролил». [164] «Сардонический хохот «Скрежета зубовного» г. Щедрина в 1 книжке «Современника», – отмечал рецензент «Московского вестника», – придется многим не по сердцу и, вероятно, вооружит против себя многих ярых, которые, в пылу неведения и молодых порывов, видели даже в лице князя Полугарова идеал гражданина». [165]

Стр. 354. «...Jules Favre pur sang!» (только видимый с затылка...) – По мемуарному свидетельству Г. А. Мачтета, «Жюль Фавром с затылка» Салтыков в шутку называл рязанского либерального деятеля кн. Сергея Васильевича Волконского («болярин Сергей») за его пристрастие к выступлениям в местном губернском комитете по крестьянскому делу («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 465 и 793–794).

...рассуждаете о свойствах буквы ижицы... – Вопрос об упрощении орфографии и о возможности исключения из алфавита ряда букв, в том числе и ижицы, оживленно дебатировался на страницах русской печати в конце 50-х– начале 60-х годов (см., например, М. Михайлов. Грамматические сомнения. – «Русский педагогический вестник», 1859, № 1 и др.).

Стр. 355...«Пчелы» да «Измарагды»... – Приводятся, в их обобщенном, нарицательном значении, названия двух древнерусских сборников изречений и поучений, преимущественно из Священного писания и из «отцов церкви», призванных воспитывать христианские добродетели послушания и смирения.

Стр. 356...несколько образцов этого древнего, коренного нашего витийства. – Приводимые далее четыре вида «красноречия» – это четыре способа, посредством которых дворянско-чиновничье общество удерживало в подчинении народные массы: «Красноречие Марса» – солдафонский окрик и усмирения при помощи воинских команд; «красноречие сельское» – помещичья розга; «красноречие бюрократическое» – угроза административными репрессиями; «красноречие торжественное» – либеральное фразерство.

...оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: «чюки-чюк! чюки-чюк!» – В рассказе «Два помещика» из «Записок охотника» помещик Мардарий Аполлоныч Стегунов пьет чай и прислушивается к звукам, доносящимся с конюшни. Там по его распоряжению «шалунишку наказывают». Вторя ударам на конюшне, помещик ритмически приговаривает: «Чюки-чюк-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

В одно морозное, светлое ноябрьское утро... – 20 ноября 1857 года (см. прим. к стр. 295).

Стр. 357. Как понимал, например, слово «дозволение» Гостомысл? – Рассуждение о «властителях» русской истории, полуполюгендарном Гостомысле и реальных Рюриковичах, Батыевичах, Иване Грозном и Петре Великом (более близкие по хронологии фигуры подразумевались, но называть их было нельзя), входит в одну из главных тем щедринской сатиры – тему обличения «попечительного» начальства и пассивного народа и общества. Это рассуждение содержит ряд выпадов против славянофилов и идеологов официальной народности (в частности, М. П. Погодина), идеализировавших в русской «исторической почве» как раз те элементы пассивности, покорности, в которых Салтыков усматривал «весь узел» драмы.

Стр. 358. «Гостомысл разрешает своим единоплеменникам призвать варягов из-за моря». – Лубочная картинка подобного содержания действительно существовала и в XIX веке многократно переиздавалась. Подпись под ней: «Старейшина новгородский Гостомысл, на одре болезни, увещевает других старейшин избрать себе князей на престол, для прекращения смут и беспорядков».

Стр. 359...тузят... в рождество! – то есть бьют по лицу.

Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение... – Салтыков имеет в виду следующий эпизод расправы царя над новгородцами в 1570 году, описанный Н. М. Карамзиным в «Истории Государства Российского»: «Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев; били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали голову или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. IX, изд. А. Смирдина, СПб. 1852, стр. 152).

Стр. 364...«Русский вестник»... впервые поведал изумленному миру... – Все следующие дальше в салтыковском тексте намеки соответствуют конкретным группам материалов, появившихся в 1856–1858 годах на страницах «Русского вестника»: сравнительную характеристику политических, экономических и культурных уровней европейских государств («благоустроенных», «серединных» и «совершенно расстроенных») содержат статьи В. Безобразова, Г. Вызинского, В. Кокорева; о строительстве и усовершенствовании дорог писали И. Воскобойников, В. Кокорев; о «кредите» и «поземельной ренте» – Н. Бунге, Е. Ламанский, А. Головачев и др. Характеризуя содержание «Русского вестника» в связи с выступлением Салтыкова, критик «Московского вестника» писал: «...недавно г. Щедрин очень остроумно указал на педагогические достоинства «Русского вестника» в своем «Скрежете зубовном» (Д. Сер-н. Петербургские письма. – «Московский вестник», 1860, № 7, 20 февраля, стр. 112).

Стр. 365...верглись бы в бездну «Истории г. Кайданова» и «Статистики г. Зябловского». – Называются учебники казенного типа, далекие от подлинной науки. Салтыкову они были памяты по годам пребывания в Царскосельском лицее. В своих произведениях он неоднократно с иронией упоминает об учебнике Кайданова (см., например, «Письма к тетеньке», «письмо девятое»).

Стр. 366...о происхождении и заслугах этого значительного древнего рода я когда-нибудь доложу читателю особо... – Этот замысел остался неосуществленным (см. также прим. к стр. 276).

...Сибирь... составляет весьма важное подспорье в нашем гражданском и государственном быту. – Намек на значение для самодержавно-помещичьего государства Сибири, как места каторги и ссылки деятелей революционного движения.

Стр. 369. Маркиз де Шассе-Крузе. – Фамилия этого персонажа щедринской сатиры, выступающего также в «Господах ташкентцах» и «Письмах к тетеньке», взята из французской танцевальной терминологии. В данном случае название на в кадрили – chasser – croiser – может быть переведено идиоматическим выражением «и нашим и вашим».

Стр. 369. Потревожился... его сивушество князь Полугаров... – Речь князя Полутарова представляет собой сатиру на выступления питейного откупщика В. Кокорева, который в условиях сильного массового движения против откупной системы, разорявшей население, стал произносить с конца 50-х годов либеральные речи и, под прикрытием заботы о «меньшем брате», печатал статьи в защиту акциза и государственной винной монополии. В статье «Об откупах на продажу вина» («Русский вестник», 1858, ноябрь, кн. 1. Современная летопись, стр. 24–37) Кокорев лицемерно выражал «благодарность» всем тем, кто выступал против него печатно или устно: «Высказав все пред судом общественного беспристрастного мнения... – писал он, – перехожу к безмолвию ответчика и только благодарю благодарением искренним всех выразивших на меня свое неудовольствие прямо и намеками, в журналах и разговорах». Эти и подобные им фальшивые заявления Кокорева ядовито пародирует Салтыков, заставляя своего князя Полугарова говорить «великое русское спасибо господам писателям, которые выводят на свежую воду нашего брата откупщика».

Стр. 370–371. Но действуйте постепенно, не торопясь... и вот перед вами миллиард в тумане! – Сатирический выпад против нашумевшей статьи В. Кокорева «Миллиард в тумане» («Санкт-Петербургские ведомости», 1859, №№ 5 и 6, 8 и 9 января), в которой предлагались хитроумные средства для изыскания дополнительных сумм государственного бюджета («миллиард рублей серебром»), необходимых «на уплату помещикам за владемые крестьянами поля и покосы».

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Стр. 371...все эти Гершки... Бестианки... – См. прим. к стр. 14 и 74.

Стр 372...в Сморгонской академии... – так называли школу дрессировки медведей, долгое время существовавшую в местечке Сморгонь быв. Виленской губернии.

Стр. 378. Вот и ты, бедная, сгорбленная нуждой, бабушка Ненила. – Бабушка Ненила из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (1855).

НАШ ГУБЕРНСКИЙ ДЕНЬ

Впервые, без главы III («Перед вечером»), – в журнале «Время», 1862, № 9, стр. 5–43 (ценз. разр. – 14 сентября). Глава III (под измененным названием «После обеда в гостях») впервые – в журнале «Современник», 1863, № 3, стр. 163–174 (ценз. разр. – 14 марта). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись очерка. Текст полный, очень близкий к печатному. Заглавие отсутствует. Нет еще и будущих названий первых двух глав – «У пустытника» и «Обед». Они обозначены цифрами I и II, но следующие две главы, кроме порядковых цифр III и IV, имеют и названия – «Перед вечером» и «На бале». Сохранилась также полная корректура всех четырех глав очерка в гранках журнала «Время», где он имел заглавие «Четыре момента дня». Надпись карандашом на первой гранке, над текстом: «Ст<атс> сек<ретарь> Головнин» свидетельствует о том, что очерк восходил на рассмотрение к высшему руководителю цензурного ведомства министру народного просвещения А. В. Головнину. Документы этого рассмотрения неизвестны. Очерк появился в журнале с рядом изменений и сокращений и без главы III – «Перед вечером», – предметом сатиры в которой была деятельность губернских органов политического надзора самодержавия – всемогущего III Отделения. Спустя полгода Салтыкову удалось, однако, напечатать эту главу в «Современнике». На гранках набора этой публикации имеется помета: «2 корр<ектура> 21 февр<аля> <1863 г.>» и вписано новое заглавие: «После обеда в гостях».

В конце 1862 года, подготавливая издание сборника «Сатиры в прозе», Салтыков ввел в него «Наш губернский день» в его журнальной редакции, то есть без главы III («Перед вечером»), еще находившейся в это время под цензурным запретом. А летом 1863 года, составляя другую книгу – «Невинные рассказы», Салтыков ввел в нее, в качестве самостоятельного очерка, с измененным названием, и главу III, поскольку она к этому времени была напечатана в «Современнике» и, таким образом, получила цензурную апробацию.

В таком расщепленном виде «Наш губернский день» и прошел через все прижизненные издания сочинений Салтыкова. Первоначальный авторский замысел, разрушенный царской цензурой, был восстановлен лишь в 1934 году Б. М. Эйхенбаумом.[166] Текст настоящего издания повторяет эту реконструкцию с устранением из нее некоторых мелких ошибок и неточностей.

Очерк «Наш губернский день» («Четыре момента дня») насыщен острообличительным материалом, связанным со службой Салтыкова в Твери, на посту вице-губернатора, и мог быть задуман как произведение, предназначенное для обнародования лишь после того, как в начале 1862 года писатель расстался с службой и уехал из Твери. Точные даты и место написания очерка неизвестны, но скорее всего он был написан летом 1862 года в подмосковном имении Салтыкова Витенева.

«Наш губернский день» – сатира на продолжавшуюся, уже в обстановке начавшейся общественной реакции, политику «правительственного либерализма». Салтыков показывает отношение высших губернских властей, гражданских и духовных, к «новым веяниям» из петербургских сфер. И архиерей, глава епархии («пустытник»), и председатель казенной палаты (штатский «генерал Голубчиков»), и жандармский штаб-офицер («глуповский полковник») и сам губернатор – все они подходят к проводимым и ожидающимся новым реформам, ставшим неизбежными после отмены крепостного права, с точки зрения узколичного своекорыстия, опасаясь, как бы им не лишиться «жирного пирога», а то и места.

Вместе с темой растерянности губернского начальства перед новыми реформами еще более сильно звучит в очерке другая тема – бесплодности всяких реформ на глуповской почве. В заключительной части очерка эта важная для идейной позиции писателя мысль излагается без всякого цензурного камуфляжа. «Что нового произошло? – пишет Салтыков. – Ничего. Какие вторглись в нашу жизнь новые идеи? – Никакие. Какие такие реформы гложут нас и заставляют ежечасно бледнеть? – Никакие».

Вскоре после появления очерка в печати на него откликнулся В. Ржевский (Василий Заочный) в «Северной почте» (1863, № 27, 1 февраля). Один из самых ожесточенных противников Салтыкова в реакционно-дворянской публицистике 60-х годов, Ржевский дал резко отрицательный отзыв о произведении, общественно-политическое значение которого он хотел бы свести к нулю.

Авторы рецензий на сборник «Сатиры в прозе», Н. Н. Мазуренко в «Народном богатстве» (1863, №№ 256 и 258, 24 и 27 ноября) и Е. Н. Эдельсон в «Библиотеке для чтения» (1863, № 9), выразили иную точку зрения, отметив очерк как произведение, верно отражающее процессы, происходящие в растревоженном реформами русском обществе.

Стр. 384...как бы не покачнуться ни направо, ни налево и не выронить из рук спасительного шеста? – На эту тему в журнале «Искра» (1862, № 21, 8 июля) была помещена карикатура Н. Степанова, изображающая либерала-эквилибриста с шестом в руках, отыскивающего «благоразумную средину».

Стр. 385...«без тоски, без думы роковой»... – строка из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata».

...«в боях домашних поседель»... – перифраза пушкинского выражения «в дружинах римских поседель» из «Египетских ночей» (гл. V).

Стр. 386. «Я». – В этом перечне высших губернских чиновников «я» рассказчика означает вице-губернатора, то есть должность, которую занимал в Твери, а раньше в Рязани, сам Салтыков, что, однако, не дает основания отождествлять его с «я» рассказчика.

Стр. 387. Есть у нас приятель, который слывет между нами под именем пустынного. – В образе пустынного Салтыков вывел священнослужителя, сатирически изображать которого запрещалось духовной цензурой. Об этом свидетельствует ряд черт и намеков в тексте очерка: пустынный «любит прибегать к славянским оборотам речи», обучает собирающихся у него в доме мальчишек церковному пению, сам то и дело «дрожащим старческим голосом» затягивает псалмы (см. прим. к стр. 388, 391, 393). Он занимает видное место в губернском обществе: с предместником нынешнего губернатора «хлеб-соль важивал» (стр. 393), нынешний губернатор, а вместе с ним и вся губернская «аристократия» не избегают его хлебосольного дома (стр. 387). Пустынный в разговорах противопоставляет себя гражданскому начальству, намекая при этом, что его возможности отнюдь не ниже гражданской власти, а в иных случаях и выше ее («Ну, я с своими-то справлюсь... вот вы-то, гражданские, что будете делать?»). Все это указывает на то, что в образе пустынного Салтыков вывел в очерке архиерея, главу местной епархии.

Стр. 387...веселие есть Руси пити и ясти... – несколько измененные слова князя Владимира из «Повести временных лет» («Повесть временных лет», ч. 1. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, изд. АН СССР, М. – Л. 1950, стр. 60).

Стр. 388. При-и-ди-те поклони-и-и-и-мся! – Пустынный напевает «Хвалебную песнь Давида» из псалма 94 (ст. 6).

Малахай шелковый. – Здесь это обозначает архиерейскую рясу.

Стр. 389. Жеребцы стоялые, дворовые подпустынные – так непочтительно Салтыков называет монахов и архиерейских служек.

Стр. 391...подобно древним иудеям, на реках Вавилонских сидящим, приходится обесить органы своя... – Перефразированная цитата из псалма 136 (ст. 1–2). «Обесить органы своя...» – повесить (на вербах) свои арфы (церковнославянск.).

Стр. 393. Яко исчезает дым, да исче-е-езнут!.. – слова из псалма 67 (ст. 3).

Стр. 394. Прислужник в длинном кафтанчике – архиерейский служка в подряснике.

Стр. 397. Мерзконоки и Лампурдос – намек на греческое происхождение ряда богатейших откупщиков (см. прим. к стр. 74).

...когда велено было женские училища везде заводить? – См. прим. к стр. 457.

Стр. 404. Наш глуповский полковник. – Печатаемая в 1863 году в «Современнике» главу «Перед вечером» (под заглавием «После обеда в гостях»), Салтыков вынужден был внести в текст ряд изменений цензурного характера. В частности, «глуповский полковник» превратился в «доброе и милое приятеля Семена Михайлыча Булановского». Рукописи очерка и корректурные гранки позволяют восстановить авторский замысел, что особенно необходимо в данном случае, так как замена «полковника» «добрым и милым приятелем Семеном Михайлычем Булановским» по недосмотру цензуры была проведена непоследовательно: и в публикации «Современника», и во всех прижизненных изданиях в двух случаях остался «полковник».

В сатирическом портрете Булановского – главы «губернского надзора» – нашли отражение черты одного из хорошо известных Салтыкову «деятелей» органов политического контроля самодержавия – жандармского штаб-офицера в Твери, полковника И. М. Симановского. Он осуществлял, в частности, негласный надзор за самим Салтыковым и посылал о нем секретные донесения в Петербург. Сатирическое выступление против жандармов – «опричники», «масоны» (стр. 408–409), редкое даже у Салтыкова, – немедленно привлекло к себе внимание III Отделения. Через несколько дней после появления в свет очерка Салтыкова в III Отделении была уже подготовлена специальная «Записка» о нем, датированная 6 апреля 1863 года. В записке сообщалось, в частности, по поводу фигуры Семена Михайлыча Булановского: «Как Салтыков был несколько лет вице-губернатором в Твери, то с первого раза, при чтении этой статьи, родилась мысль, не описан ли тут тверской жандармский штаб-офицер. В самом вымышленном имени Булановского сквозит имя Ивана Михайловича Симановского. Кроме того, в описании наружности, манер, разговора и суждения нельзя не узнать полковника Симановского...» Затем давалась подробная характеристика образа Булановского сопоставительно с его прототипом, а потом следовало раскрытие еще одного «портретного» намека – о начальнике Московского жандармского округа (ему была подчинена Тверь) С. В. Перфильеве: «Между прочим, Щедрин сказал слова два об окружном генерале в Москве. В этих немногих словах почтенный Степан Васильевич Перфильев очеркнут в более неприятном виде, чем Симановский» (Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 109 (III Отд.), оп. 1а (Секретный архив), ед. хр. № 1993). Возможно, до Салтыкова дошли какие-то слухи о недовольстве III Отделения или самого Симановского прозрачностью псевдонима, и, включая очерк в сборник «Сатиры в прозе», он изменил фамилию «Булановский» на «Стопашовский».

Стр. 408. «Надежда, кроткая посланница небес»... – начальные слова прозаического отрывка В. А. Жуковского «К надежде». Приводимые дальше Салтыковым слова: «Надежда утешает царя на троне» – являются перефразированным выражением из того же отрывка. У Жуковского: «Без тебя царь несчастен на троне своем...»

Стр. 409. Послали меня за одним фигурантом... – то есть послали произвести арест.

Стр. 412...приезжаю я в Москву, являюсь к своему старику... – намек на начальника Московского жандармского округа (см. прим. к стр. 404).

Стр. 418...стоял за self-government, а централизацию признавал вредным порождением наплыва французских демократических идей. – Сатирическая реплика на выступления дворянской публицистики. Возможно, что здесь имеется в виду статья В. Безобразова «Аристократия и интересы дворянства. Мысли и замечания по поводу крестьянского вопроса», напечатанная в «Русском вестнике». Выступив пропагандистом самоуправления (self-government), В. Безобразов в то же время отметил, что централизация и бюрократия «весьма обманчивым образом вносят равенство в человеческие общества» («Русский вестник», 1859, сентябрь, кн. 1, стр. 13, 33).

Стр. 424. «Кумир развенчанный всё бог!» – измененная строка из стихотворений М. Ю. Лермонтова «Я не люблю тебя...» и «Расстались мы, но твой портрет...». У Лермонтова: «Кумир поверженный – всё бог!»

Стр. 427. Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей... Если такая перетасовка королей и вальетов может назваться революцией, то... она совершается и на наших глазах. – В 1861–1862 годах в правительстве Александра II был произведен ряд перемен: в апреле 1861 года на место Ланского министром внутренних дел был назначен Валуев, в декабре на место графа Путятина министром народного просвещения был назначен Головин, в январе 1862 года на место

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Княжевича министром финансов был назначен Рейтерн (лицейский однокашник Салтыкова). Смена этих лиц, разумеется, ни в чем не изменяла системы управления и тем более «порядка вещей».

ЛИТЕРАТОРЫ-ОБЫВАТЕЛИ

Впервые – в журнале «Современник», 1861, № 2, стр. 368–408 (ценз. разр. – 20 февраля), с датой в конце текста «1860». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись очерка, текст которой близок к печатному. Конец рукописи утрачен (начиная со слов: «...спрашивает, в свою очередь, гласный Клубницын», стр. 459). Это обстоятельство не дает возможности установить, не был ли отсечен или изменен цензурой самый конец очерка. В печатном тексте финал производит впечатление незавершенного рассуждения о «Морском сборнике» – одном из главных изданий правительственного либерализма.

Очерк написан в Твери, по-видимому, в конце 1860 года, но в нем много рязанского материала (Салтыков покинул Рязань в марте 1860 года, а вступил в должность тверского вице-губернатора в июне того же года). «Литераторы-обыватели», по времени их написания, начинают сатиры «глуповского цикла» (об этом распавшемся цикле см. стр. 583–588), хотя знаменитый «Город Глупов» выступает здесь еще в ряду других частных названий щедринской сатирической топонимики и не имеет пока того обобщающего и центрального значения, которое получит в дальнейшем творчестве писателя.

Главная тема «Литераторов-обывателей» – критика «обличительной литературы», одной из характерных форм либерального движения эпохи. Во второй половине 50-х годов, в период кризиса самодержавно-помещичьей системы, «обличительная литература» являлась закономерной формой и стадией прогрессивной общественной борьбы и приветствовалась демократическим лагерем. Но вскоре, в условиях назревавшей и назревшей революционной ситуации в стране, либеральное движение стало превращаться в опору реакции. Либералы и правительство хотели бы «откупиться» от революции, уже стучавшейся в дверь, «гласностью», «обличительством», направленными на мелочи и случайные явления, а не на коренные пороки русского общественно-политического строя. В развернувшейся в 1859–1860 годах полемике руководители «Современника» Чернышевский и Добролюбов выступили против либерально-обличительной литературы, доказывая, что ее крохоборчество и политическая маниловщина начинают все больше играть роль выгодного правительству и реакционным силам клапана, поскольку они ослабляют напор серьезной критики. Эта позиция, наиболее четко выраженная в статьях Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, №№ 1 и 4), вызвала резкополемическую статью Герцена «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!») («Колокол», 1859, л. 44, 1 июня), в которой он взял под защиту «обличительную литературу». Выступление Герцена, находившегося еще в значительной мере во власти либеральных иллюзий, показывало, что он не замечал опасности вырождения серьезного обличения в обывательское пустословие, могущее принести немалый вред делу народного освобождения.

«Литераторы-обыватели», как и предшествующие, близкие по теме статьи 1860 года «Характеры» (см. т. 4 наст. изд.), «Скрежет зубовой» и «Наш дружеский хлам», свидетельствовали, что в этом идейном споре эпохи Салтыков, вслед за Добролюбовым и Чернышевским, дал образцы революционно-демократического подхода к обличительству. Высмеивая мелочность либерально-обличительной литературы, бедность ее мысли, пустозвонство, Салтыков ведет борьбу за такое обличение, которое исходило бы из понимания связи между отдельными проявлениями произвола и лихоимства и существовавшим в стране «порядком вещей» – тем «болотом», выяснение определяющего значения которого во всех отрицательных явлениях русской жизни и составляет, по определению писателя, «предмет настоящей статьи».

Едва лишь очерк появился на страницах «Современника», как в русской журналистике по поводу этого выступления Салтыкова возникла довольно оживленная полемика, в которую включились «Искра», «Северная пчела», «Указатель экономический...». Обсуждался главным образом вопрос о роли и значении «литераторов-обывателей» в общественно-литературной жизни страны. Резко отрицательную позицию по отношению к провинциальным «обличителям» занял А. П. Пятковский, выступивший в «Северной пчеле» (1861, № 189, 25 августа) со статьей «Провинциальные корреспонденты и г. Щедрин». Как заметил Д. Д. Минаев в «Русском слове» (1861, № 10, Смесь, стр. 10). Пятковский не понял «Литераторов-обывателей» Щедрина и на этом основании «обругал всех провинциальных обличителей». Противоположное мнение высказал К.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Цветков в «Указателе экономическом, политическом и промышленном» (1861, № 73, 17 сентября). Взят под защиту обличительную деятельность мелких провинциальных литераторов, он укорял Салтыкова за его резкость и пренебрежительное отношение к ним. Итогом полемики явилась статья В. С. Курочкина в «Искре» (напечатана под псевдонимом Пр. Знаменский) «Корреспонденты и рецензенты (Гг. Корытников, Цветков, Благолепов и Пятковский)» (1861, №№ 37–39, 29 сентября, 6 и 13 октября). В ней Курочкин выступил в качестве союзника Салтыкова, подвергнув резкой критике взгляды и Пятковского и Цветкова.

Стр. 428. Пчелка золотая!.. – В качестве эпиграфа к очерку взяты начальные строчки из стихотворения Г. Р. Державина «Пчелка».

...находившие себе убежище в «Московских ведомостях». – В 1856–1862 годы, то есть в период редакторства В. Ф. Корша, «Московские ведомости» придерживались либеральных позиций. Если в предшествующие годы разделы газеты о внутренней жизни страны заполнялись преимущественно сообщениями о торжественных обедах, собраниях, об открытии библиотек, клубов и т. д., то во второй половине 50-х годов на страницы «Московских ведомостей» нахлынула волна либерально-обличительных «голосов», «заметок», «вестей», «писем из провинции». Они печатались в специальной рубрике «Внутренняя корреспонденция», которую Салтыков в очерке «Хорошие люди» назвал «особым отделом обывательской литературы» (см. стр. 532).

...«не сын ли это вышневолоцкого готтентота?» – спрашивает анонимный корреспондент. – Начиная с «Литераторов-обывателей» Салтыков особенно плотно насыщает свои сатиры множеством злободневных материалов и намеков. В данном случае Салтыков имеет в виду вышневолоцкого помещика А. П. Козляинова, который в ночь с 16 на 17 августа 1860 года в одном из вагонов пассажирского поезда Москва – Петербург избил ехавшую в Петербург девушку-немку. Скандал, учиненный Козляиновым, нашел отклик в печати (А. Мансуров. Случай на Николаевской железной дороге – «Московские ведомости», 1860, № 185, 24 августа; Л. Камбек. Заметка в разделе «Вести и слухи». – Там же, 1860, № 230, 25 октября, и др.).

Стр. 429...следя за «голосами из Рязани...» – Сообщаемые далее сведения были известны Салтыкову не столько из газет, сколько из личного опыта жизни и службы в Рязани с 1858 по 1860 год. Публичная библиотека была открыта в Рязани в 1858 году, и Салтыков был в числе ее попечителей и жертвователей; женская гимназия начала свое существование в 1859 году, и Салтыков принял участие в хлопотах об ее открытии, как и об открытии «воскресных классов» («воскресных школ») и т. д.

...все шло бы хорошо, если бы, несколько месяцев тому назад, не подпакостили шесть или семь молодых прогрессистов... – Происшествие, которое тут имеется в виду, случилось в Калуге 26 августа 1860 года. Сообщение о нем за подписью «Калужский житель» появилось в № 207 газеты «Московские ведомости» от 24 сентября 1860 года (в рукописи очерка имеется ссылка на этот номер газеты): во время спектакля, устроенного труппой проезжих актеров, появились «шесть или семь в нетрезвом виде молодых людей» – «прогрессистов» – и устроили в театре скандал. Месяц спустя, 25 октября, «Московские ведомости» вновь обратились к вопросу о калужском скандале, поместив под заглавием «Калужский ценитель репутаций» написанное Алексеем Жемчужниковым опровержение на заметку «Калужского жителя».

Стр. 430...полемика между селом Ивановом и Вознесенским посадом. – Спор между селом Ивановом и Вознесенским посадом разгорелся в 1859 и 1860 годах. Причиной его послужил вопрос о том, где должны находиться торговые ряды: в Иванове или в Вознесенском посаде. Печать постоянно уделяла внимание этой полемике: сообщения о ней печатали «Московские ведомости» (№№ 254 и 274 за 1859 год), «Вестник промышленности» (1860, январь) и другие издания. Завершилась полемика объединением села Иванова и Вознесенского посада в город Иваново-Вознесенск.

...Краснорецк, где... рыскает по улицам Рыков... – см. прим. к стр. 266.

Стр. 431...на днях виден был на небе метеор... – Сообщения о появившейся в июле 1860 года комете почти ежедневно печатались на страницах «Московских ведомостей».

Стр. 433. В городе Нововласьевске некоторый фабрикант, благодетельствуя своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю... – Речь идет о деле фабрикантов Хлудовых из города Егорьевска Рязанской губернии, которое было возбуждено Салтыковым в бытность его вице-губернатором в Рязани (см. также комментарий к

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru пьесе «Соглашение»). С защитой аферы Хлудовых выступил некто «Проезжий», поместивший в журнале «Вестник промышленности» (1860, февраль) статью «Косвенные налоги на фабрики (Рассказ проезжего)». Под этим псевдонимом скрывается ближайший помощник Салтыкова по службе, старший советник Рязанского губернского правления Н. Ф. Дубенский. В ответ на его выступление Салтыков написал статью «Еще скрежет зубовой» – она была запрещена цензурой, – в которой подробно рассказал о «хлудовском деле» (см. эту статью в т. 5 наст. изд.). В журнальном тексте «Литераторов-обывателей», а также в тексте первого отдельного издания «Сатир в прозе», комментируемое место было снабжено примечанием, которое отсылало читателя к упомянутой статье «Проезжего» в «Вестнике промышленности».

Стр. 434. «Что сказать вам о нашем городе?.. А пора бы, кажется, и нам!» – Обличительная заметка за подписью «Туземец» представляет собой пародию на корреспонденцию некоего Д. Грачева из Саратова, напечатанную в газете «Московские ведомости» (1860, № 193, 6 сентября, стр. 1524–1525).

Amicus Plato, sed magis amica veritas. – Платон мне друг, но истина – дороже. Первоисточником этого крылатого выражения служат слова греческого философа Сократа из диалога Платона «Федон».

Стр. 436...яко крин сельный. – Как сельская лилия (церковнославянск.).

Стр. 439...глупые девы, погасившие светильник... – Имеется в виду евангельская притча о десяти девах (Матф., XXV, 1–13). Выйдя навстречу жениху, пять неразумных дев, в отличие от пяти мудрых, не запаслись маслом для светильников своих и не попали на брачный пир.

Стр. 444. Хлеб наш насущный даждь нам днесь... – слова из христианской молитвы «Отче наш» (церковнославянск.).

Стр. 446. Сбирр (итал. *sbirro*) – полицейский стражник в Италии. В переносном значении – сыщик, агент.

Стр. 449...это был бы своего рода Катон... – см. прим. к стр. 267.

Стр. 450. Лобзай меня! твои лобзанья / / Мне слаще мирра и вина! – Строки из стихотворения Пушкина «В крови горит огонь желанья...».

Стр. 452...укажу еще на каплунов. – Эта мимоходом брошенная мысль была развита Салтыковым в 1862 году в очерке «Каплуны» (см. т. 4 наст. изд.).

Стр. 454...окупнуться в купель силоамскую. – По евангельской легенде, вода в купели Силоамской в Иерусалиме обладала свойством исцелять больных (Иоанн, V, 2–4).

Стр. 457. Что это за женские гимназии? что это за воскресные училища? – В 1858 году известный педагог Н. А. Вышнеградский напечатал в издававшемся им «Русском педагогическом вестнике» ряд статей, в которых выступил сторонником открытых женских учебных заведений; в том же году в Петербурге было открыто женское Мариинское училище. На основе предложений Н. А. Вышнеградского и опыта работы училища был выработан и в 1862 году утвержден устав первых в России женских гимназий.

Воскресные школы для взрослых возникли в 1859 году в Киеве по инициативе проф. П. В. Павлова и Н. И. Пирогова. В условиях подъема общественного движения воскресные школы быстро распространились по всей России. Обучались в них главным образом рабочие и солдаты, обязанности учителей исполняли студенты, офицеры, чиновники, писатели. Значительную роль в организации воскресных школ сыграла революционная интеллигенция, рассматривавшая их как один из возможных очагов антиправительственной пропаганды. В 1862 году по распоряжению Александра II воскресные школы были закрыты; в 1864 году они были разрешены вновь, но организация их на этот раз оказалась главным образом в руках духовенства, а со стороны полиции за деятельностью их был установлен строгий и постоянный надзор.

Стр. 459. Ночной зефир... – из стихотворения Пушкина, озаглавленного по этой начальной строке.

Стр. 460. Ночь весенняя дышала... – начальные строки стихотворения «Венецианская ночь» И. И. Козлова. Вторая строка перефразирована (у Козлова: «Светло-южную

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru красой»).

Мансанарес – река в Кастилии.

Стр. 462...какой циркуляр насчет этого в Самаре вышел! – В 1860 году в Саратове – Салтыков ошибочно указал Самару – было принято решение о прекращении продажи чистого спирта простому народу.

«Московские ведомости» (1860, № 197, 11 сентября) так излагали сущность этого «циркуляра» саратовского откупа: «...народу не продают уже спирта, а советуют пить так называемую водку душегубку. Спирт отпускают только господам, как говорят сидельцы, и не иначе как по записке, которая предварительно должна пройти несколько инстанции для удостоверения в том, что спирт требуется барину, а не мужику».

А в Саратове... дикости какие-то делаются! – 28 апреля 1860 года в Самару, а не в Саратов, как указывает Салтыков, прибыл пароход «Адашев» с тремя баржами, на которых было две тысячи рабочих, завербованных в приволжских городах и отправляемых в Царицын на строительство железной дороги. Нарушение наемными приказчиками договорных условий, снабжение одним черным хлебом, запрещение сходить на берег за табаком и продажа его на баржах по повышенной цене – все это вызвало возмущение рабочих, задержавших отправку парохода из Самары. Капитан парохода барон Медем обратился к самарскому гражданскому губернатору, заявив, что «рабочие взбунтовались, не дают подымать якорей потому будто бы, что их не спускают на берег, где они хотят пьянствовать...» («Московские ведомости», 1860, № 246, 12 ноября). Лишь после вмешательства полиции, вскрывшей злоупотребления приказчиков и подтвердившей законность требований рабочих, конфликт был улажен.

Стр. 463...читала «Морской сборник»!...»Правительственные распоряжения»... увлекли меня... – Журнал «Морской сборник», руководимый, как и издававшее его морское министерство, вел. кн. Константином Николаевичем, был своего рода палладиумом политики правительственного либерализма.

КЛЕВЕТА

Впервые – в журнале «Современник», 1861, № 10, стр. 661–680 (ценз. разр. – 5 ноября). Подпись: Н. Щедрин. Сохранился черновой автограф. Рукописный текст близок печатному.

Очерк написан летом или осенью 1861 года в Твери. В печать он прошел без сколько-нибудь существенных сокращений и изменений. По этому поводу Салтыков, находившийся в ту пору в Петербурге, писал Некрасову в записке от 6 ноября 1861 года, то есть на следующий день после разрешения к выпуску в свет октябрьской книжки «Современника»: «Цензор так хорошо пропустил «Клевету», что это меня поощряет».

«Клевета» – второй по времени написания и появления в печати очерк из распавшегося «Глуповского цикла». От первого – «Литераторов-обывателей» – его отличает бо́льшая резкость сатирического тона и бо́льшая же широта обобщений в образах «города Глупова» и «глуповцев». Это уже не просто сатирические обозначения провинциального города и его обывателей. Глупов отождествляется в «Клевете» со всеми враждебными и отрицательными сторонами провинциального русского общества периода «ошпаривания» и «возрождения», то есть периода отмены крепостного права и других реформ.

«Социология» Глупова захватывает здесь преимущественно губернскую дворянско-помещичью и чиновничью среду. Этой «страшной среде», этому «болоту» злостной сплетни и клеветы противопоставлен Шалимов – персонификация враждебных «Глуповскому мировоззрению» общественных и нравственных принципов «города Умнова», то есть исторически прогрессивного развития страны. Как указано уже в комментарии к очерку «Наш дружеский хлам» (из сборника «Невинные рассказы»), в образе Шалимова отразились впечатления Салтыкова от личности и общественной судьбы его друга А. М. Унковского, либерального предводителя дворянства Тверской губернии, которого Ленин упомянул, вслед за Герценом и Чернышевским, в ряду тех передовых людей, которые «требовали несравненно большего, чем то, что осуществили «реформы»». [167] Центральный эпизод очерка, давший ему название, – клеветническое обвинение Шалимова во взяточничестве, – восходит к тверским событиям, связанным с именем и деятельностью Унковского. Именно такое обвинение было предъявлено ему ненавидящими его крепостниками-помещиками на заседании

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Тверского дворянского собрания 8 декабря 1859 года. [168] Данное обстоятельство, как и целый ряд других намеков, связанных с борьбой А. М. Унковского и самого Салтыкова с реакционной частью тверского дворянства – местными «Терентьичами», «Трифонычами» и «Сидорычами», – объясняет то отношение, которое встретила «Клевета» в Твери. «Моя «Клевета», – писал Салтыков П. В. Анненкову 3 декабря 1861 года, – взбудоражила все тверское общество и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня. Заметьте, что я не имел в виду Твери, но Глупов все-таки успел поднюхать себя в статье. Рылокошения и спиноотворачивания во всем ходу. То есть не то чтобы настоящие спиноотворачивания, а те, которые искони господствовали в лакейских».

Подтверждением слов Салтыкова об отношении реакционной части тверского общества к его очерку служит донесение жандарма Симановского от 17 декабря 1861 года: «Заслуживает внимания неприятное и не в пользу вице-губернатора Салтыкова впечатление, произведенное на общество статьею его «Клевета», напечатанною в № 10 «Современника». [169]

Подтверждение же заявления Салтыкова о типичности его «Клеветы», о том, что он «не имел в виду Твери» (то есть «только Твери»), находим в письме участника революционного движения Л. Рогозина к Н. Г. Чернышевскому из Нижнего Новгорода от 25 декабря 1861 года: «Я позволяю себе... сообщить Вам, – читаем в перлюстрационной копии письма, сохранившейся в архиве III Отделения, – очень интересное и многозначительное событие. Существует мнение, что «Клевета» Щедрина написана на рязанское (другие говорят – на тверское) общество, и тем самым ограничивают значение «Глупова» отдельной местностью, одним губернским городом, придавая статье этой характер исключительный, случайный. В опровержение такого ложного мнения позволяю себе привести следующее интересное и само по себе событие:...по получении октябрьской книжки «Современника» в Нижнем нижегородские дворяне, собравшись, по обыкновению, в клубе, толковали много о статье Щедрина и пришли к тому результату, что «Клевета» написана на них (на воре шапка горит). Этот вывод был для них до такой степени несомнителен, что они стали искать, кто бы это мог передать их тайны Салтыкову, кто знаком с ним и т. д. – все те же глуповские приемы. Не забудьте, что это дворянство, первое в России заявившее о необходимости освобождения крестьян. Что же в других губерниях?».[170]

Стр. 466...со стола богатого Лазаря. – См. прим. к стр. 73.

Ржаницев. – См. о нем в заключительной части очерка «Наши глуповские дела».

Федька Козелков, Сеня Бирюков – см. прим. к стр. 282.

Стр. 471...распускает слух, что его побили. – Вполне возможно, что тут имеется в виду ложный слух, пущенный о самом Салтыкова ненавидевшими его тверскими крепостниками-дворянами, о чем сохранились сведения в мемуарных источниках. Так, например, кн. Д. Д. Оболенский в своих «Набросках из воспоминаний» приводит рассказ о том, что Салтыков – вице-губернатор будто бы получил оскорбление действием от одного помещика, которому посоветовал «помириться» с побившими его крестьянами («Русский архив», 1895, кн. 1, стр. 64; опровержение этого слуха см. в статье И. А. Митропольского «По поводу воспоминаний князя Д. Д. Оболенского». – Там же, стр. 371).

Стр. 472. Морвёзки – сопливые (франц. *morveuses*).

НАШИ ГЛУПОВСКИЕ ДЕЛА

Впервые – в журнале «Современник», 1861, № 11, стр. 5–42 (ценз. разр. – 7 декабря). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились две рукописи очерка. Черновой автограф содержит полный текст первоначальной редакции. Входящая в очерк «Комедия» (впоследствии под заглавием «Погоня за счастьем» опубликованная в составе «Недавних комедий») композиционно делит его на две части: первая, в значительной мере соответствующая печатному тексту, включает ряд фрагментов, которые позднее в несколько переработанном и сокращенном виде вошли в очерк «К читателю». Финал первой части посвящен застыдившемуся Зубатову и завершается следующим абзацем, вводящим в очерк «Комедию»:

«Но в особенности любезно обращается он с так называемыми «просителями возрождения». С тех пор, как он убедился, что «возрождение, ma chère, совсем

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru мило выходит», с тех пор, как перестал трусить Иванушек, он начал относиться к этому предмету просто и даже отчасти игриво. Вставая утром от сна, он уже уверен, что в передней ожидает его толпа искателей; он неторопливо пьет свой чай, разговаривая с Сеней Бирюковым, называя его своим импресарио и даже слегка подсмеиваясь над всеми этими чающими движения воды.

А в приемной в это время происходит:

Комедия».

Непосредственно вслед за «Комедией» в черновом автографе следует вторая часть очерка (с абзаца «В самом деле...», на стр. 497, до конца). Она также в основном соответствует печатному тексту. Другая рукопись представляет собой перебеленный вариант первой части очерка с незначительными изменениями и дополнениями, внесенными в процессе переписки черного автографа, которая не была доведена до конца. По этой рукописи Салтыков выработывал окончательный текст произведения: он перечеркнул начало очерка, вписал на полях новый вариант, соответствующий печатному тексту; отчеркнул карандашом фрагменты, подлежащие исключению (значительная часть из них позднее вошла в очерк «К читателю»), а также наметил место (оно обозначено крестом и пометой: «на особых листах») для вставки в текст рассуждения о «хороших людях» («Мудрено ли, что глуповцы... утешались, взирая на нас!», стр. 488–491). Это рассуждение, а также включенный в состав «Наших глуповских дел» дневник Ржаницева представляют собой фрагменты из двух очерков, начатых или существовавших сначала отдельно: «Хорошие люди» и «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» (см. в наст. томе раздел «Неоконченное»).

«Наши глуповские дела» – третий по времени появления в печати очерк «глуповского цикла». Написан он летом или осенью 1861 года в Твери, то есть почти одновременно с предыдущим очерком «Клевета». Но образ Глупова получает здесь дальнейшее развитие. Хотя он еще по-прежнему «привязан» к губернскому городу, в нем уже ощутима тенденция к отождествлению Глупова с общероссийскими порядками. Показательны в этом отношении слова о «столичных» и «прочих» Глуповых в первоначальном варианте начала очерка:

«Давно ли, кажется, беседовал я с вами, читатель, о нашем уездном Глупове, как уже сердце мое переполнилось жаждою повести речь о другом Глупове, Глупове – губернском».

Он также лежит на реке Большой Глуповице, кормилице-поилице всех наших Глуповых: уездных, губернских и прочих (каких же «прочих», спросит слишком придирчивый читатель. – Разумеется, заштатных и безуездных, отвечаю я, ибо столичных Глуповых не бывает, а бывают столичные Умновы. Это ясно как день). Он также имеет свою главную улицу, по сторонам которой тянутся каменные дома одноэтажной, полукаменной постройки; он также пересекается во многих местах оврагами, по склонам которых в изобилии разводится капуста и прочий овощ, услаждающий неприхотливый вкус обывателей. Словом, Глупов как Глупов, только губернский».

Один из элементов более широкого обобщения Глупова заключен в раздумьях о его «истории», впервые появляющихся в «Наших глуповских делах», – итог их пока негативен: «У Глупова нет истории», потому что невозможна такая история, «которой содержанием был бы непрерывный, бесконечный испуг». Размышления Салтыкова о трагедии народной пассивности и бессознательности, о гражданской незрелости общества в конце 60-х годов лягут в основу изображения глуповского мира в «Истории одного города».

Стр. 482. «В надежде славы и добра // Идем вперед мы без боязни... – несколько перефразированные начальные строки из стихотворения Пушкина «Стансы». У Пушкина: «В надежде славы и добра // Гляжу вперед я без боязни...»

Стр. 483...благорастворение воздухов... – см. прим. к стр. 26.

Стр. 488. Почему они назывались «хорошими» людьми... – см. прим. к очерку «Хорошие люди».

Стр. 489...получит возмездие в рождество... – см. прим. к стр. 359.

...о распрях, происходивших в Испании между карлистами и хрисиносами. –

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Карлисты» и «христиносы» – две партии, образовавшиеся в Испании в 1833 году после смерти короля Фердинанда VII. Карлисты – реакционная партия сторонников Дон-Карлоса, брата короля и претендента на престол; христиносы – либеральная партия сторонников королевы Христины.

Стр. 492. Иванушки. – Образ Иванушек, под которым разумеется многострадальное русское крестьянство, впервые появился в очерке 1860 года «Скрежет зубовой» («Сон»). В очерке 1862 года «К читателю» Иванушки, ранее стоявшие вне глуповского мира, были впервые введены в него («Вот тебе младший наш Глупов, вот тебе наш Иванушка!» – стр. 288). Ср. также в очерках 1862 года «Глупов и глуповцы» и «Глуповское распутство» (в т. 4 наст. изд.).

Стр. 494. Глуповцы... прислушавшись к речам Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли их даже бунтовскими... – В годы подготовки и проведения крестьянской реформы в недовольных ею помещичье-крепостнических кругах сложилось течение «олигархической» оппозиции. Сторонники его (Н. Безобразов и др.) стремились к дворянско-аристократической конституции. Салтыков не верил в силу ни либеральной, ни олигархической оппозиции, в глуповские «бунтовские» речи – ни справа, ни слева.

Стр. 497...что может значить глуповское возрождение? – Высмеивая «глуповское возрождение», то есть правительственные реформы, проводимые при ликовании либералов, Салтыков противопоставляет ему подлинное возрождение, связывая его с активной борьбой демократической интеллигенции (Умнов) и народных масс (Буянов) за социальные и политические преобразования.

Приводим по рукописи отрывок, не вошедший в окончательный текст очерка и разъясняющий смысл намека на невозможность подлинного возрождения на глуповской почве (в рукописи он следует после слов: «А без этого какое же может быть возрождение!» – стр. 497):

«Жили мы все... очень между собою дружно. Младшие уважали старших, старшие утешали младших. «Плоть от плоти, кость от костей наших», – говорили старшие. «Как прикажете-с?» – доверчиво спрашивали младшие. И все шло таким манером, мирно и добропорядочно, не то, что где-то там за морями, в городе Буянове, где, как слышно, сын отцу намедни сказал: «Не дури, тятка, разобью зубы!»

Позднее этот фрагмент в измененной редакции был введен Салтыковым в очерк «К читателю» (см. стр. 294).

Стр. 500...о прекрасном устройстве Оксфордского университета, о воскресных забавах англичан... – Характерная черта дворянской оппозиции 50–60-х годов – англоманья. М. Катков, Н. Юматов, В. Ржевский в своих статьях на страницах «Русского вестника» и «Современной летописи» настойчиво проводили мысль о внедрении на русской почве социально-общественных образцов и порядков, сложившихся в Англии. Одной из сатирических стрел, направленных против дворянских либералов, и является комментируемый фрагмент (см. также прим. к стр. 265).

Стр. 501. «Письмо из Турина». – Вероятно, имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Из Турина», напечатанная в «Современнике» (1861, № 3, стр. 195–226). Статья, написанная в форме письма из Турина, где тогда находился Добролюбов, посвящена итальянскому национально-освободительному движению, критике итальянской национальной буржуазии, добившейся власти, критике буржуазного парламентаризма вообще.

...Глупов – это *anima vilis*... – В средние века производство опытов над животными оправдывалось тем, что у них *anima vilis*, то есть гнусная душа. Отсюда выражение: трактовать кого-либо или что-либо *in anima vilis*, то есть третировать.

Стр. 505...уволят его по третьему пункту. – По третьему пункту 1239 статьи «Устава о службе гражданской по определению от правительства» чиновников увольняли за неспособность к выполнению возложенных на них обязанностей или за провинности, которые известны начальству, но не могут быть подтверждены фактами. Увольнение по этому пункту, осуществлявшееся обычно без просьбы со стороны увольняемого чиновника и без объяснения ему причин его увольнения, применялось преимущественно как средство удаления из государственного аппарата «неблагонадежных лиц» (Свод законов Российской империи, т. III, СПб. 1857, стр.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru 261).

Стр. 507. «Мистигрис» Беранже – см. прим. к стр. 56, т. 2 наст. изд.

Стр. 508..последняя задача еще до нас весьма удовлетворительно исполнена М. П. Погодиным. – Речь идет о многочисленных работах М. П. Погодина по истории удельной Руси, в которых он опирается на летописи и народные предания. Сведения о деятельности Ярослава, Мстислава или Ивана Берладника он преподносит в том виде, в каком они присутствуют в летописи. Подходя формально к историческим фактам, Погодин не дает их анализа, не раскрывает роли и значения тех или иных исторических деятелей в общем процессе исторического развития. В сатире Салтыкова Погодин фигурирует неоднократно как выразитель *credo* реакционной историографии, рассматривавшей историю России с точки зрения защиты самодержавно-крепостнического строя.

Стр. 510. Приезжал англичанин с фабрики... – намек на дело фабрикантов Хлудовых, чьим управляющим был англичанин Отсон (см. комментарий к комедии «Соглашение» и прим. к стр. 312).

20 ноября. Все сие свершилось. – См. прим. к стр. 295.

В составлении книги большое участие принял Василий Александрович Кокорев... – В «Русском вестнике» 50 – 60-х годов постоянно печатались статьи питейного откупщика В. А. Кокорева на разные экономические темы.

Стр. 511. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. – Православные мужские монастыри на горе Афонской в Греции отличались крайней суровостью своего устава; в них, в частности, было много схимников, давших обет пожизненного молчания.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ К ЧИТАТЕЛЮ

Как сказано выше (см. стр. 595), очерк «к читателю» был послан цензору в корректурных гранках и вызвал у него ряд замечаний. В результате цензурного вмешательства Салтыков внес в текст ряд существенных изменений. Он вынужден был, в частности, пожертвовать двумя крупными и весьма важными фрагментами первоначального текста, которые воспроизводятся здесь по черновому автографу (в окончательном, чтении текста).

Впервые оба отрывка были опубликованы в 1934 году в «Литературном наследстве» (т. 13–14, стр. 12–18).

Когда Салтыков писал обращение «К читателю», он уже понимал, что исторически предопределенная гибель Глупова, которую он предсказывал в первых произведениях глуповского цикла («Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела»), не столь близка, как это казалось ему раньше. Поэтому на первый план выдвигаются теперь размышления о причинах торжествующего сопротивления Глупова, о трудностях борьбы с ним и поиски практических путей этой борьбы. Главнейшее направление этих поисков – как победить равнодушие «толпы» к общественным идеалам, как преодолеть ее пассивность. По силе и глубине мысли, по страстности тона запрещенные цензурой фрагменты «К читателю» принадлежат к числу замечательнейших страниц салтыковской публицистики 60-х годов.

Примечания

1
носовой платок.

2
откупщика.

3
Так вы полагаете, что если бы дали больше простора свободной инициативе помещиков?..

4

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
с полуслова.

5
Вот именно!

6
Значит, сударь, стоите за систему самоуправления?

7
самоуправлении.

8
свободная инициатива помещиков!

9
Карфаген, подлежащий разрушению.

10
О, дети! дети! ради них совершаешь много преступлений!

11
дорогой?

12
вялость, слабость.

13
сокрытии.

14
надо же, в конце концов, быть смелым и иметь собственное мнение! Наберемся храбрости и выскажем свое мнение!

15
холостого обеда.

16
рукопожатия.

17
что положение стало невыносимым.

18
люки.

19
обхождению, тону.

20
Хорошо.

21

Прелестно!

22

вы найдете там превосходные вещи!

23

Позор! позор!

24

Превосходно!

25

И я в Аркадии родился...

26

Позвольте... дверь?

27

Затворите.

28

Говорите по-французски.

29

от кого, от кого узнали?

30

Сказанное исчезает, написанное остается.

31

но зачем об этом... слуга здесь!

32

перестаньте! поляк здесь!

33

Очаровательно! прелестно!

34

по-английски.

35

дорогой мой.

36

дамы!

37

подождите, господа.

38

В самом деле.

39

порядочность, хороший тон!

40

право!

41

Антуан! не грызите ногти!

42

Это все ты виноват, негодник!

43

Да что такое у вас на рубашке?

44

Антуан! вы запачкаете рубашку!

45

Антуан! то, что вы делаете, очень невежливо!

46

Мама! тут нет имени существительного!

47

Антуан! негодник, это кончится для вас плачевно!

48

Оставайтесь здесь и перестаньте смеяться!

49

голубчик!

50

Мило.

51

Прелестно!

52

Знаете ли, генерал ведь очень смеялся!

53

прелестно!

54

дело в шляпе.

55

У вас благородное сердце!

56

Вы заслужили благодарность отечества!

57

Сейчас выйдут!

58

Говорю вам, это дело решенное.

59

и Мокротников председателем...

60

Выбор замечательный.

61

кадриль мировых.

62

Но какая обольстительная женщина!

63

кстати.

64

До свиданья! До приятного!

65

Позвольте, генерал, представить вам моего сына... Антуан! поклонитесь же генералу!

66

Антуан! уйдем отсюда! уйдем!

67

«Помилуйте, сударыня...», «нет, нет, он нас побьет».

68

Эта дама придет завтра в такое же время.

69

Он спрашивает, не может ли он быть кандидатом.

70

«Черноокою девушку!»

71

Перестаньте! Перестаньте!

72
слава богу.

73
чистейший Жюль Фавр!

74
...местах сладкое щебетанье.

75
и это и то.

76
о, отчего не могу я ненавидеть тебя.

77
по моде.

78
вещь, для которой нет названия.

79
безделию.

80
общий смех.

81
Да погибнут!

82
любезных крутогорцев.

83
государство в государстве.

84
любовницами.

85
дорогая.

86
приличие.

87
дети, принесите-ка письмо папе!

88
Что с ним такое?

89
Суп на столе, мама!

90
отставка!

91
барышень.

92
Это непостижимо!

93
бедные малютки!

94
дорогой мой.

95
отдельно.

96
самоуправление.

97
инструкциях.

98
помощника или заместителя,

99
балы в префектуре.

100
Руки в ход пускают только плебеи.

101
до чего мы дошли!

102
Не правда ли, какой скандал? – жалкие старики задирают нос!

103
губернатор пал!

104
Да нет же, дело не в этом! говорю вам: губернатор пал!

105
Вы больше не губернатор!

106

Да что же это такое? да что у них такое, Николай?

107

Да скажите же! да скажите же!

108

соответственно.

109

слишком любопытного.

110

увольте!

111

за и против.

112

тысяча три!

113

в тесном кружке.

114

ныне отпускаешь.

115

в натуре!

116

Господа!

117

дорогой.

118

дорогой мой.

119

прогулки,

120

благовоспитанный молодой человек.

121

говорите по-французски, здесь слуга.

122

друзей-свиной.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

123
старый веселый Глупов.

124
чистокровных.

125
будем петь, пить и... любить!

126
перед вечером.

127
ликер с островов.

128
Милая моя!

129
Лишь бы ты сохранил свое место, мой друг!

130
по-английски.

131
это вещь вполне приемлемая и в данный момент очень модная.

132
Обсудим.

133
живописного и непредвиденного.

134
выпьем.

135
возлюбим.

136
самоуправлении.

137
в сущности, во всем этом есть кое-что верное.

138
ни за что на свете.

139
дорогой.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
140
прелестно!

141
очаровательно!

142
о, глуповские дамы прелестны, ничего не скажешь!

143
остальное.

144
мать-кормилица.

145
великой армии.

146
господа.

147
с птичьего полета.

148
Окнерузам [Н. Н. Мазуренко]. По поводу сатир Н. Щедрина. – «Народное богатство», 1863, № 258, 27 ноября, стр. 1.

149
«Сатиры в прозе» Н. Щедрина. – «Голос», 1863, № 108, 4 мая, стр. 1,

150
«Сатиры в прозе». – «Библиотека для чтения», 1863, № 3, Библиография, стр. 44.

151
П. В. Анненков. Русская беллетристика и г. Щедрин. – «Санкт-Петербургские ведомости», 1863, № 85, 19 апреля, стр. 1–2.

152
См.: Б. Эйхенбаум. История текста «Сатир в прозе». – «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 11.

153
См.: «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 6–8, 12–18.

154
Опубликована Б. М. Эйхенбаумом в «Литературном наследстве», т. 13–14, М. 1934, стр. 8–9.

155
«Библиотека для чтения», 1863, № 9, Современная летопись, стр. 24.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
156 «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 128.

157 «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 128.

158 См.: Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, изд. «Искусство», М. – Л. 1961, стр. 142.

159 Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. IX, изд. «Художественная литература», М. – Л. 1964, стр. 414.

160 См., например: С. Черепанов. Об отставных чиновниках. – «Санкт-Петербургские ведомости», 1859, № 185, 28 августа, стр. 1–2; В. П. Об отставных чиновниках. – Там же, № 236, 31 октября, стр. 1–2.

161 «Народное богатство», 1863, № 256, 24 ноября, стр. 2.

162 См.: Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, изд. «Искусство», М. – Л. 1961, стр. 142–148.

163 «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 129.

164 «Русская мысль», 1913, № 1, отд. 2, стр. 141.

165 Д. Сер-н. Петербургские письма. – «Московский вестник», 1860, № 7, 20 февраля, стр. 113.

166 См.: «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 10–11, и т. III изд. 1933–1941 годов.

167 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 61.

168 Г. А. Джаншиев. А. М. Унковский и освобождение крестьян, М. 1894, стр. 137–141.

169 М. К. Лемке. К биографии М. Е. Салтыкова. – «Русская мысль», 1906, № 1, стр. 38.

170 С. Макашин. О типическом. – «Огонек», 1956, № 12, стр. 22.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

Сатиры в прозе. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!